

Сердце бройлера

Роман-драма для чтения без героя

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Виорэль Ломов

Виорэль Михайлович Ломов

Сердце бройлера

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29600800

SelfPub; 2021

Аннотация

Роман-хроника нескольких поколений трех семей, жителей крупного города. Семейная драма, неотъемлемая часть драмы социальной. В романе показано влияние легкомысленных (и не только) поступков отцов на судьбы детей и их собственные. Рассказано о том, как страсти родителей не только порождают детей, но и порой сжигают их дотла.

Содержит нецензурную брань.

Содержание

Примечание	9
Акт 1. Две Анны (1961—1962 гг.)	10
1. Визит «литераторши»	10
2. Пошла на Втэк, получила втык	19
3. О послевоенных залпах	30
4. Кафедра	38
5. Камарилья	48
6. Петя Сорокин и беременный воробей	58
7. О том, как поссорились Анна Ивановна с Анной Петровной	72
8. Кто не учится у жизни, того учит жизнь	83
Интермедия (1968 г.)	93
Запах портрета	93
Акт 2. «Три товарища» (1970—1978 гг.)	108
1. Такая радостная встреча, что искры сыплются из глаз	108
2. У «задохликов» с «болтунами» нет будущего	117
3. Развитие взаимоотношений	124
4. Защита – лучшее средство от нападения бедности	129
5. Немеет ли от счастья душа, когда чернеет от загара тело	144

6. Как провести день	160
7. Примат логики над чувствами	172
8. Под Горою вишня	177
9. Встречай, Настя, цыган	186
10. Раскаяние Анны Петровны	192
11. Диполь чувств	202
12. Семейное счастье	218
13. Смуглянка-молдаванка	220
14. Сосиски с яичницей	228
Интермедия (1982 г.)	240
Поезд	240
«О регулировании пола у кур»	252
Небольшое добавление о том, что все кончается на свете	261
Акт 3. Цейтнот (1996—2000 гг.)	265
1. Где-то недалеко от Макараибо	265
2. Семен	275
3. Папа, между прочим	283
4. О плановой трансформации административно-хозяйственных отношений в рыночные	292
5. Народный хор	298
6. Сергей	304
7. В «Трех товарищах»	312
8. Полет Дерюгина	319
9. «Сто лет с зерном на коньяке»	323

10. «А светофор зеленый»	332
11. Вагон скользил, как гильотина	339
12. Служение человечеству	373
13. Практика – критерий истины. Сон – истина бытия	382
14. О Коктебеле, нудистах и частичном вегетарианстве	392
15. Темнота	406
16. Восторг души и пламень сердца	425
17. Трехлапый Джон Сильвер	434
18. Настенька	443
19. Чем заняты жены исполняющих обязанности мужей	451
20. Захомутали	462
21. Все мы живем на земле	468
22. Передача	473

Виорэль Ломов

Сердце бройлера

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Михаил Лермонтов

Место действия – город Нежинск и поселок Лазурный на реке Неже, Коктебель в Крыму, Сельцо под Брянском – места, приятные сердцу и приятные уму, где хочется жить и хочется умирать. Места, удаленные от Москвы дальше, чем Москва удалена от них.

Время – наше и чуть раньше, то есть настоящее и прошедшее.

Персонажи:

Аглая Владиславовна – учительница русского языка и литературы;

Нина Васильевна Гурьянова – жена художника Гурьянова, слабая, но во всех смыслах достойная женщина;

Алексей Гурьянов – поэт;

Анна Петровна Суэтина – женщина, всю жизнь прошагавшая в сапогах;

Анна Ивановна Анненкова – женщина, съедаемая «ужас-

ной» тайной;

Настя Анненкова – ее дочь;

Григорий Федорович Толоконников – заведующий кафедрой, «шеф»;

Николай Федорович Гурьянов – плодовитый художник-портретист, «скорочлен» Союза художников;

Евгений Суэтин – друг Алексея Гурьянова;

Анатолий Дерюгин – владелец «Трех товарищей»;

Зинаида Дерюгина – его жена, маляр;

Фрол Ильич Гремибасов – знаменитый оперный певец;

Иван Гора – директор птицефабрики, друг Гремибасова;

Павел Тихонович Аверьянов – начштаба в брянских лесах;

Соня Бельская – буфетчица;

Ира – она же Ирочка, Ирен-Кармен;

Сергей Суэтин – талантливый математик;

Семен Борисов – большой любитель маленьких девочек;

Катя Бельская – буфетчица, дочь буфетчицы Сони Бельской;

Селиверстов – малахольный натуропат;

Оксана Пятак – чертежница, готовая на всё;

Глафира – «соломенная» вдова с немислимой грудью;

Яна – попутчица, 14 лет;

Артур Петрович Никольский – профессор, похожий на грузина;

Нина – раздатчица столовой, центрфорвард «Милана»;

а также – преподаватели и сотрудники Нежинского СХИ, конструкторы и технологи завода «Нежмаш», орденоносный коллектив птицефабрики имени Мартина Лютера Кинга, хористы и хористки народного хора, цыгане, родня на Брянщине, граждане с улицы Лассалья, Живчик в «Сезаме», фигуры с центрального рынка и центрального кладбища, подонки в подъезде, трехлапый пес Джон Сильвер (он же Дружок), генерал Хлудов, Филдинг на столе, женщина с белым букетом роз и светло-серая лошадь из сна.

Где-то вдали то ли поезд, то ли электричка...

И над всем этим – «ис-кюй-ство» и «Черный квадрат» в стороне.

Примечание

Из приведенного выше сложнее всего изобразить время, так как стоит присвоить ему статус настоящего, оно тут же превращается в прошедшее.

Очень сложно изобразить также правду, ибо у каждого из персонажей своя правда, а две правды, соединенные воедино, могут дать одну только ложь.

АКТ 1. Две Анны (1961—1962 гг.)

1. Визит «литераторши»

– Я всегда благоговела перед Лермонтовым. Сколько собрала о нем всего! Редчайшие материалы! – у Аглаи Владиславовны блестели глаза и звенел голос. Она была сильно взволнована собственной речью.

Нина Васильевна Гурьянова молча слушала ее. Поначалу она не разделяла энтузиазма «литераторши» по поводу того, что Лермонтов – это всё, что есть в русской литературе (ей гораздо больше нравился Стефан Цвейг), но когда Аглая Владиславовна забралась в заоблачные выси литературной классики, у Нины Васильевны закружилась голова и она согласилась с этим. Стала бы Аглая Владиславовна так волноваться, будь оно по-другому?! Все-таки знает человек, о чем говорит. Это ее предмет. В конце концов, она пришла к ней не для того, чтобы битый час говорить о Лермонтове, а похвалить сочинение Лешеньки на вольную тему, которому тот дал название «Лермонтов и его демонизм». Самой Нине Васильевне, разумеется, было бы легче справиться с названием «Лермонтов и Кавказ», но говорят же, что дети идут дальше родителей. Видно, хорошо написал, раз взволновал так учительницу.

– А Николай Федорович скоро придет? – спросила Аглая Владиславовна, заметив на этажерке портрет красивого мужчины. Не иначе автопортрет, подумала она, невольно залюбовавшись им.

– Право, не знаю, – ответила Нина Васильевна. – Он так занят.

– Да-да, слышала, выставку очередную организовал?

– Организовал, – сухо ответила Нина Васильевна.

Аглая Владиславовна открыла было рот, чтобы спросить еще о чем-то, но Нина Васильевна извинилась и вышла из комнаты. Когда она вернулась, то увидела мечтательный взгляд учительницы, обращенный в окно. У нее, видно, только о Лермонтове и болит голова, подумала Гурьянова. Однако, какая гордая посадка головы! В «литераторше» чувствовалась «порода».

– Сочинение на пять с плюсом! Да еще собственное стихотворение: «С радостью и грустью ждем приход весны, а она промчится, словно всплеск волны, белой сиренью всё посеребрит и, как в море чайка, снова улетит». Чувствуете теплую грусть? Подражательно, конечно, демонизма нет, но есть чувство.

– Это у него от отца, – вырвалось у Нины Васильевны.

Аглая Владиславовна посмотрела на автопортрет Гурьянова. О походениях художника говорили даже девочки в туалете, но учительница никак не предполагала, что Нина Васильевна вдруг сама заикнется о них. Ей стало немного

жаль эту славную, но простоватую женщину.

– Я, Нина Васильевна, очень благодарна Ираклию Андронникову за цикл передач о Лермонтове. Жаль только, в его красноречии Лермонтов теряется, как парус в тумане. Правда, красиво: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!...»

– Вы, наверное, многое знаете наизусть?

– Многое? Я все знаю наизусть.

Нина Васильевна пересилила минутное раздражение от того, что у нее вырвалась эта фраза о муже, и она спросила:

– Неужели все? А как вы увлеклись им? Я имею в виду Лермонтова.

– Лермонтов ворвался в мою душу, когда мне было три года. Я очень хорошо помню тот день, – у Аглаи Владиславовны мечтательно заблестели глаза. (Ну, теперь надолго, подумала Гурьянова). – Папа позвал меня. Положил мне на плечи свои руки, поправил бантик, вот здесь... Поцеловал в лоб, а потом усадил к себе на колени и взял в руки «взрослую» книгу. Развернул ее, там был портрет... Мои глазенки, которые ничего еще не видели в жизни, уперлись в глаза, которые, казалось, видели в жизни уже всё. Мне почудились в них слезы. Я испугалась, что слезы хлынут и размоют портрет. И в то же время я была почему-то уверена (это в три-то года!), что слезы никогда не хлынут из этих глаз. Глаза, как плотина, удерживали непонятную мне грозную стихию. Эти глаза всю жизнь преследуют меня. Мне кажется порой, что

я их еще раньше видела...

– Когда? – Нину Васильевну неприятно задели подробности, которых не было в ее жизни.

– Тогда. В девятнадцатом столетии...

Нина Васильевна почувствовала себя неловко.

– Хотя в три года и Лермонтов плакал на коленях у матери от жалостной песни. Надо быть великой матерью, чтобы иметь такого сына... Папа стал глухим голосом нараспев читать: «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана; утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя...»

Нина Васильевна подлила гостье чаю. Она смущенно молчала, словно учительница приоткрыла ей свою душу больше, чем того требовали приличия. Но надо отдать должное Аглае Владиславовне, у нее это получилось очень естественно, без надрыва. Если бы я стала рассказывать первому встречному о себе, у меня получилось бы это со слезами и с желчью, подумала Гурьянова.

Аглая Владиславовна, почувствовав настроение Нины Васильевны, спросила:

– Вас ничто не смущает в моем рассказе?.. Я представила себя золотой тучкой на груди у папы-великана, прижалась к отцу и, хорошо помню, взволнованно, по-детски взволнованно, как-то нарочито судорожно, вздохнула. Папа посмотрел на меня, улыбнулся. Я не видела его лица, а улыбку почувствовала. Она как-то согрела мне голову. Вот тут... «Но остался след в морщине старого утеса, – продолжал читать

папа. – Одинокó он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне...»

Нина Васильевна внимательно слушала учительницу. Она отвлеклась от собственных мыслей.

– Леша так похож на вас, Нина Васильевна. Николай Федорович немного другой, – Аглая Владиславовна кивнула на портрет. Истинный красавец, подумала она. Интересно, в жизни он такой же?

Нине Васильевне стало страшно тоскливо. Она с ужасом поняла, что с нею творится неладное. Только бы сдержать себя, стиснула она зубы.

– У меня из глаз брызнули слезы, – продолжала Аглая Владиславовна. – Я долго не могла успокоиться. «Что? Что с тобой?» – обеспокоенно спрашивал меня папа, хотя я знала, что он понимает, в чем дело. После слов «одинокó он стоит...» я вдруг представила, как вдаль по лужицам (мне так представлялась тогда лазурь) бежит тучка Глаша (это я) в нарядном платье, оглядывается, машет ручкой, а ей вслед смотрит старый папа (утес) и плачет. И вот расстояние между ними стало таким большим, что они перестали видеть друг друга (пустыня), и теперь никогда больше не увидятся, никогда, никогда... И лужицы исчезли. И радостный свет померк. Я это видела всё, но, конечно же, не могла передать папе словами. «Что случилось? – зашла в комнату мама. – Почему ребенок плачет?..» А что было дальше, я не помню. Воспоминания померкли, растаяли, как свет, как лужицы.

– Он, наверное, больше никогда не читал вам это стихотворение? – Нина Васильевна справилась с приступом тоски, но в душе разлилась горечь, как из желчного пузыря.

– Напротив. Я много раз просила папу прочитать о тучке и утесе, и каждый раз плакала навзрыд. Папа однажды рассердился и сказал, что не будет больше читать мне это стихотворение, если я буду такой ревой. Я перестала приставать к нему и попыталась прочитать сама. Не помню уже, как я пыталась читать, но как-то пыталась. И когда за буквами научилась видеть слова, когда из букв, как из кубиков, я сложила картину, так поразившую мое воображение, я была немного разочарована. Картина и получилась, и не получилась. Не хватало папиного голоса. Я рассматривала ее и редела в своей кроватке, пока не уснула. Это мои, наверное, самые яркие воспоминания в жизни. О начале ее. А уже ближе к дням сегодняшним... Когда папу хоронили, эта картина со старым утесом и убегающей вдаль беззаботной тучкой вдруг так ярко вспыхнула в моей памяти, что, помню, стало больно глазам и я зажмурилась. Вот такие моменты запомнились мне в моей жизни... Они меня и подвигли на учительство, литературу и Лермонтова...

Учительница замолчала, вновь мечтательно уставившись в окно. Гурьянова с трудом нашла подходящий вопрос:

– Вам, наверное, непросто... с нашими оболтусами?

– Что вы! Какие же они оболтусы? Они все талантливы.

Леша вон в прошлом году одним порывом написал пять сти-

хотворений. Правда, милые?

Нина Васильевна впервые услышала о том, что сын пишет стихи, но она кивнула головой:

– Да-да.

– В них есть даже мысли. И, как ни странно, чувственность.

Нине Васильевне стало очень жаль себя, и у нее вырвалось:

– Простите меня за откровенность... у меня, Аглая Владиславовна, совсем не сложилась личная жизнь. Из-за этого я многого, наверное, не смогла разглядеть в собственном сыне... Того, что разглядели вы. Спасибо вам! – Нина Васильевна часто заморгала глазами.

– Да что вы, голубушка, что вы? У меня же это профессионально, успокойтесь! Думаете, у меня сложилась жизнь? У кого она сложилась, хотела бы я знать? Для этого надо иметь ярко выраженное «хищное начало», чего там – коготок показать, зубки оскалить, глазиком сверкнуть. У меня этого, как видите, тоже нет...

– А ваши родители? – Гурьянова вытерла краем фартука глаза. Нина Васильевна разумела – у них-то хоть сложилась жизнь?

– Не будем больше о них. Не поверите: ученики и творчество Лермонтова дают мне все, чтобы быть счастливой в жизни. Мне кажется порой, что я наблюдаю долину жизни откуда-то сверху его глазами... Я уже семь раз в свой отпуск

возила ребят в Ленинград, Тарханы, Тамань, Пятигорск... А как написал о нем Паустовский!

Послышались быстрые шаги, дверь со стуком открылась. Заскочил Леша, бросил под стол портфель, поздоровался с учительницей. Та улыбнулась:

– Мы с тобой, Леша, сегодня раз двадцать виделись, если не больше.

– Нет, двадцать не виделись. Раз восемнадцать.

Женщины рассмеялись. Нина Васильевна засуетилась с ужином, а Аглая Владиславовна сказала: «Ой, что же это я так засиделась?» – и стала прощаться. Заметив вопрошающий взгляд Алексея, обращенный на мать, она сказала:

– Вот, Леша, хвалила тебя маме. За глаза. Теперь могу повторить и в глаза: молодец, но не зазнавайся.

– Аглая Владиславовна, показать стихи?

– Покажи.

Леша вытащил из-под учебников тетрадочку с портретом Пушкина на обложке. Учительница улыбнулась, полистала тетрадку, прочитала несколько стихотворений. Задумалась. Сказала:

– Что ж, Леша, пиши. У тебя должно получиться. У тебя рифмы – кони, а мысли – вожжи; вот и погоняй рифмы мыслями, не наоборот. У редких поэтов, правда, наоборот, но ты другой. Впрочем, учись.

– Что, и физике с химией учиться?

Аглая Владиславовна рассмеялась.

– Какой лентяй! Будет странно, если ты станешь поэтом.

– Почему странно?

– Да потому что лентяй ты. Лень – мать всех пороков, а отец ее – разум. Лермонтов в твои годы уже написал «...хоть наша жизнь минута сновиденья, хоть наша смерть струны порванной звон...» Так вот. Таких недетских строк мало во всей поэзии.

– Будут! – грозно заверил Леша.

Женщины рассмеялись и распрощались с легкой душой.

– Вы заходите, обязательно заходите еще! – неожиданно сказала Нина Васильевна в дверях. – Вы мне свет в душу внесли!

2. Пошла на Втэк, получила втык

Не правда ли, Новый год напоминает вокзал? Провожают, встречают, а все остается на месте? Как и положено, проводы шестьдесят первого года и встреча шестьдесят второго сошлись в полночь тридцать первого декабря. Кем положено – не важно, когда на столе положено много такого вкусненького, от чего слюнки текут.

Новый год Анна Петровна Суэтина встретила у Анны Ивановны Анненковой. У той был телевизор, который за отсутствием Деда Мороза и полноценной семьи вполне мог отвлечь на пару-другую часов от жизни, в которой нет семьи, деда Мороза и телевизора. Был еще и холодильник, чудо человеческого гения. Двенадцатилетняя Настя сразу после боя курантов положила голову на стол, и Анна Ивановна отвела ее в спальню, а пятнадцатилетний Женя где-то в час пришел со своих гулянок (выпивший, взяла на заметку Анна Петровна), поздравил женщин, взял ключ у матери и ушел домой. Дамы остались одни. Стол славный – праздник славный. Когда Толстой писал, что все смешалось в доме Облонских, он, конечно же, имел в виду запахи. Запах мандаринов со стола и запах курицы из духовки могут смешать даже мысли. Шампанское пили, смотрели телевизор. Отрывки из фильмов. В старых фильмах такие чистые голоса!

Они пригрелись на диване, и у обеих глаза были на мок-

ром месте. Удивительная вещь: жизнь сушит и выкручивает, а влаги в организме все больше и больше! Отрывки были из комедий или про любовь, и обе подумали, что и в сорок, и в сорок пять (Анна Петровна Суэтина была старше Анны Ивановны Анненковой на пять лет) остро чувствуешь аромат чистой любви. Разница лишь в том, что молодой влюбленный выглядит трогательно, а старик смешно. (Почему они себя считали старыми?) Двойное наказание, думала Анна Петровна, не по-армейски: и любовь беспредметна, и сам смешон. Не верится, что по земле Счастье ходит... Под окнами раздались шаги, крики. Расходились граждане из гостей по домам. Каждый нес свое счастье и был счастлив им. Передачи кончились. Сударыни посидели еще, попили чайку и с легкой грустью легко распрощались. Обе устали от отдыха и друг от друга. С годами сильно привязываешься к своему одиночеству. Больше, чем принято думать.

Отдых у Анны Петровны приходился на воскресенье или на праздник и заключался в том, что, проснувшись, она настраивала себя на него так: «Сейчас позавтракаю и... отдыхать! Никуда не идти. Обработать статистику или проверить контрольные. Сразу трех зайцев убью: отдохну, радио послушаю и дело сделаю. Покой, полная изоляция, никакого общения с коллегами».

Анна Петровна пришла домой в четвертом часу. Час, как бы это поэтичнее сказать, накинул синюю шинель со снеговым подбоем... Безнадежно пустой был час. Голова шумела,

как холодильный агрегат у Анны Ивановны. Анна Петровна потихоньку зашла в дом, не зажигая свет, разделась и легла. Ей было светло и тревожно, во рту горечь со сладостью, а на сердце печаль. Анна Петровна чувствовала себя, как забытый всеми томик русской лирики девятнадцатого столетия. Передачи кончились, зрители и актеры спят. Анна Петровна вспомнила вдруг, как она в юности любила театр, как трепетала перед ним, причудливым творением людей, в котором можно десять тысяч секунд спектакля превратить в праздничный салют из десяти тысяч восторженных мыслей, чувств, цветов и слез. Где совершенно нет никакой статистики, уводящей своими округлениями и средними величинами от истины. Округленная средняя величина – завкафедрой Толоконников, «шеф»... Ах, как давно не была я в театре, подумала она. Впрочем, какой театр, когда нет ни туфель, ни платья? А Мольера можно и самой почитать. Так и провалилась в сон Анна Петровна с мыслями о театре, Мольере и отсутствующих туфлях и платье...

Новый год встречают обычно для радости, но обычно он несет новые огорчения. День Новый год прибавляет, а вот денег нет. Когда ползарплаты улетает к теткам в Белую Калитву, да еще в этот Брянск, невольно ужимаешь себя вчетверо.

«Двойное наказание, – вновь подумала, проснувшись, Анна Петровна, – не по-армейски как-то: и любовь беспредметна, и сам смешон. Ну, да не всегда же так?! Не для меня ее,

видно, чары и сомнения, не для меня. Всё в безвозвратном прошлом. Хотя и в прошлом этой святой и нежной любви не было у меня, не было... Впрочем, была. Чистая, возвышенная любовь... К подлецу и пьянице. И вот результат: не верю, что по земле Счастье ходит».

Под окнами опять раздались шаги, крики. То расходились по домам граждане. И каждый нес свое счастье и был счастлив им. Анна Петровна даже встряхнула головой. Словно и не ложилась, а это продолжается вчерашний кошмар ее жизни. Женечка спит, спи-спи, мой хороший. Она укрыла вылезшую из-под одеяла ногу сына.

От первого дня наступившего шестьдесят второго года, в котором Анна Петровна только-только проснулась, поднялась с кровати и уже досадует на то, что столько часов прекрасного утреннего времени пропали зазря, поднимемся на минутку и мы к недостижимым высотам начала всякой жизни. С высоты своего таинственного появления на этот свет человек долго спускается в долину людской глупости, бредет по ней всю жизнь, а перед старостью, когда сил осталось только-только дотащиться до нее, пытается преодолеть маленький холмик здравого смысла, который он почему-то считает высшей (может, потому что своей?) точкой мудрости.

Итак, шестьдесят второй. Что так люди придают столько внимания пустякам? Прошел год – и из-за этого терять еще

один день? Поскольку после бессонной ночи весь этот день будешь разбита, как старая кляча. Так и вышло. Вечером свалилась в постель, не дождавшись, когда Женя вернется с елки.

Покатил и этот год.

Анна Петровна чувствовала себя отвратительно. В последнее время она сильно нервничала. Грипп любит нервных. Вот и оседлал он ее в первую же неделю нового года. Ноги налились свинцом, заложило нос, ангина и прочие прелести. Неудивительно – после восьми часов занятий на «свежем» воздухе, из которых два часа ушли на бонитировку Верхогляда. Два часа на пронизывающем ветру жеребец бесился, вырывался, лягал и вдобавок скалил зубы, как доцент Крылов. Студенты от учебного процесса попрытались в автобусе, оставив с ней старосту группы и отличника Рогова. Молодец, Рогов, правильно: свислый круп, телячьи запястья... Что, Рогов, холодно? А холка как тебе? Дружки-то попрытались? Удастся ли им так же удачно спрятаться от жизни?

Везет же ей с этими выездами в учхоз да племхоз! Как выезд, так отвратительная погода: или ливень с непролазной грязью, или мороз с пронизывающим ветром. Сколько раз уже прохватывало на сквозняке. Горло вечно обложит, голова болит, температура. А надо занятия вести, рассказывать что-то, разьяснять этим бестолочам.

Завтра на собрании должна решиться ее судьба. Господь послал ей, похоже, последнее испытание, но она принимает

его! Она победит, она должна победить, иначе весь божий промысел лишается смысла, чего просто не может быть.

Анна Петровна болела очень часто. Она всю жизнь вела дневники, как Лев Толстой, и, как Лев Толстой, записывала туда не только мысли, но и справки о своем здоровье. Когда потом, в 77 лет, она перелистала всю гору своих записей, она поразилась, что проболела всю жизнь (в том числе и весь шестьдесят второй год), и поняла, почему болела. Когда болеешь, меньше думаешь о будущей жизни, больше вспоминаешь о прошлой. А может, болеешь, оттого что думаешь только о прошлом, в котором одни болезни?

Целеустремленности Анны Петровны можно было позавидовать. Цели у нее были дальние, по ту сторону горизонта, от них шел тонкий особый аромат, и она летела к ним, как пчела. Когда цели не видимы, их видимо-невидимо. И вообще жизнь – увлекательная штука, любила говорить она. Увлечешься целью – увлечешься и жизнью.

Многие мужчины душу бы отдали, да и все остальное, за эдакую цельность натуры. С нею – не хочешь, станешь маршалом авиации.

Хотя Анна Петровна, по меркам того ученого мира, в котором оказалась, достигла далеко не всех «известных степеней». Характер не позволил. Но обо всем по порядку.

Ранний детский труд, который позже заклеят, как крайне вредоносный, закалил Анну на всю жизнь.

Разумеется, очень сильный след оставила в ее характере

атмосфера, царившая в семье. Мама происходила из семьи и не бывших хозяев жизни, и не сегодняшних ее хозяев, ни тогда, ни сейчас не распоряжающихся своей или чьей-то жизнью. То есть той узкой прослойки граждан, которые были равноудалены и от господ, и от холопов. В роду их были учителя и священники, один географ-путешественник, а замуж она пошла без родительского благословения, что тогда не могло не говорить о чрезвычайной силе характера. Мама музицировала и пела. Отец у Анны был военный человек, а значит, приверженец точности во времени и порядка в пространстве. Место свое в строю знал и этого же требовал от подчиненных. Словом, педант. Так вот, атмосфера в доме Суэтиных была всегда ясной, прозрачной, геометрически правильной, наполненной приятными хлопотами и заботой друг о друге и не лишенная некоторого изящества. Разумеется, Анна подспудно и себя готовила к аналогичной судьбе.

В Анне с детства был силен дух практицизма и голос разума. Эмоции, столь же сильные, иногда поднимали вихрь в ее душе, но она железными тисками обуздывала свой нрав.

Быть первой – во всем, за что она бралась. Второй – значит, никакой. Жаль, фамилия не способствовала этому. Она хотела бы и во всех списках идти первой. У Анны плохо складывались отношения с теми, кто был по списку впереди нее. Даже если среди них кто-то и симпатизировал ей. Как один вихрастый парнишка Агалаков. И симпатизировал бы ей с фамилией Шукин, например! Ничего у нее не получи-

лось с Агалаковым, хотя он даже приезжал в Нежинск после войны, чтобы повидаться с нею.

Лидерство в ней сидело глубокими корнями, и она безотчетно следовала за ним вслед. И когда у нее получалось это (а в молодости получалось всегда), она невольно становилась центром любой компании и душой любого общества, хотя не всегда душа и центр совпадают. Приятно, черт возьми, вести за собой людей к одной тебе видимым целям! И люди шли за ней.

У Анны Петровны помимо работы и сына был только один бзик: чай. Чай у нее был всегда только индийский, китайский или цейлонский. Где она его доставала – одному богу известно. Она прекрасно его заваривала. Анна Петровна никогда не позволяла себе окунуть палец в чайник, чтобы проверить, скоро ли закипит вода, и никогда не потчевала вчерашней заваркой.

– Анна Ивановна, подлить вам еще?

– Премного обяжете, Анна Петровна. У вас замечательный чай. Цейлонский?

– Да, по пятьдесят две копейки, не по сорок восемь.

– По пятьдесят две – совсем другой чай.

– Совершенно верно, ни в какое сравнение не идет с тем, что по сорок восемь.

– Ну, что, вы сегодня ходили в поликлинику, Анна Петровна?

– Лучше не вспоминать! Так не хотела идти. Пошла на ВТЭК, получила втык.

Анна Ивановна улыбнулась.

– Я теперь не просто Суэтина Анна Петровна, я теперь – «моя хорошая». Как в блатной песне. Пошла на ВТЭК за справкой для месткома, на курорт съездить, сосуды головного мозга подлечить – кофеин уже не спасает. Хрен! Как бы не так! Подлечишь с этими бестолочами!

Анна Ивановна сочувственно кивала головой, рассеяно думая о своем выступлении на завтрашнем Совете и о том, что только начини болеть – конца не будет!

– Все, как заведенные, «моя хорошая! моя хорошая!» – а справку никто не дает. Да и черт с вами, в конце концов решила я, обойдусь без курорта. Но ногу-то надо идти лечить. Помните, в Ленинграде отнялась, 15 августа? Полгода уже болит, немеет.

– И куда же пошли? – машинально спросила Анна Ивановна.

– Куда? К бездельникам да бестолочам и пошла! Куда же еще? Сперва к невропатологу, а потом к хирургу. Невропатолог – тот хоть за меня не брался, издали смотрел, а хирург прямо с порога: «Спустить рейтузы!» Я ему – а чего это вы собираетесь смотреть? «Чего надо, то и посмотрю».

Анна Ивановна улыбнулась.

– А я к вам с ногой пришла, вот ногу и смотрите. «Вот ногу сейчас и посмотрим. Снимайте-снимайте». Ну, я их при-

спустила, не совсем, конечно, рукой придерживаю, а он прикрикнуть изволил: «Ну, чего стесняетесь, ведь в больницу пришли, не к попу!» Долго он меня ощупывал, вот тут к мослам все руки прикладывал, словно упитанность курицы проверял. И наконец радостно так, со злорадством выкрикнул: «Нет у вас сосудистых заболеваний!» Словно я на них настаивала и требовала их признать. Ну и слава богу, сказала я, натягивая чулки и рейтузы. Он застрочил в карточку. Долго, торопливо так, почерк жуткий. Я стою возле него. Жду, когда отстрочится. Вскинул голову, смотрит удивленно: «Вам что? Я же сказал – нет у вас сосудистых заболеваний, что вы ждете?» Ну, а с ногой-то мне что делать, ведь болит? «Это уже не знаю, идите к невропатологу». Была, направил к вам. «Нет у вас сосудистых заболеваний!» Это я слышала уже. Вы мне что-нибудь новенькое сообщите. Какое там, новенькое! Он свое образование все в институте оставил. Так и ушла ни с чем. То есть со своей болезнью. А все врачи прямо в один голос, как сговорились, заявляли мне: «У меня вашей болезни нет!» Ни у кого нет. Понятно, она у меня! Была и осталась. Моя хорошая!

Главное отличие Анны Ивановны и Анны Петровны состояло в том, что Анне Петровне ничего не надо было от «этого» института. Анне Ивановне же, напротив, от «этого» института надо было всё. Это отличие и привлекло их поначалу друг к другу. Потом как-то само собой получилось, что им обоим действительно на какое-то время от «этого»

института ничего не надо было, кроме друг друга.

Однако, надо признать, те качества, которые притягивали их друг к другу, они терпеть не могли более ни в ком другом. Анна Петровна, например, никогда не лгала, не флиртowała, не терпела взяток и подкупа в форме подарков и суесловий, не терпела фамильярности. А вот Анна Ивановна всё это делала сама и терпела от других, и охотно пользовалась подношениями и лестью. Делала она, правда, это не осознанно, а бессознательно. Делала – и все тут! Без всяких там штучек. Но когда они сходились вдвоем, все это они как бы оставляли за скобками. Чрезмерную прямолинейность одной и чрезмерную изворотливость другой. Геометрия она на то и геометрия, что всё в ней уживается: и прямые с кривыми, и тупые углы с острыми. Словно этого и не было у них, а если и было, то они и знать о том ничего не желали!

3. О послевоенных залпах

Человека гипнотизирует огонь, он любит сидеть и смотреть на костер или закат солнца и думать, как всякий мыслящий человек, ни о чем. Скажем, о том, почему кроты или суслики лучше его обустроивают свой дом.

Анна Ивановна и Анна Петровна садились пить чай вместе с солнцем. Солнце садилось, и они садились. Из кухни был виден золотой закат. Закат был прекрасен, как испанский танец.

Глядя на него, они любили беседовать. Обе квартиры были на западной стороне соседних домов, только из окон квартиры Анны Ивановны была видна степь с рощицей вдали, а из окон Анны Петровны была видна еще и река.

Сколько теплоты во взглядах, словах, мыслях! Сколько теплоты во всем!

– Вот так бы вечно сидел и смотрел на закат, – сказала Анна Петровна.

– Я давно хочу вас спросить, Анна Петровна, почему вы о себе говорите в мужском роде: «сидел», «смотрел»?

– А я всю жизнь, как мужик, в сапогах протопала. Вон с тем чемоданом.

– Я думала, это ящик.

– Нет, чемодан. Из Венгрии. Плотник один подарил. Раз срьд бела дня на вокзале чуть не украли. Сижу на скамейке,

завтракаю. Двое подошли, взяли чемодан и пошли.

– А вы?

– Что я? Я – как всегда. Отняла. У меня от Венгрии самые добрые воспоминания остались. Это чехи венгров не любят, а венгры чехов. А ко мне они хорошо относились. От тифа спасли. В госпитале точно загнулась бы. Сережки, видите? Оттуда. Из особого камня. Может, и драгоценный, не знаю. Видите, красная дорожка за стол бежит? А при луне рубиновым светом горят. Как-то засиделась за бумагами. Приказы, письма... Уже отгремели победные залпы. В Венгрии еще. Я еще семь месяцев была в оккупационных войсках. Стемнело, вышла на крылечко покурить. Ночь чудная. Луна. Сажу на приступочке, курю. Слышу, идет кто-то. Вдруг как резнет. Стреском. И засмеялся сам себе. Мимо идет, меня не видит. А я не дышу, папироску за спину прячу. Неудобно как-то. А он – шашь ко мне! Напугал. Увидел меня, остолбенел. Начштаба Аверьянов. «Что вы тут делаете?» – «Курю, Павел Тихоныч». – «А это что?» – тянется к уху. – «Сережки». – «То-то, смотрю, огонек странный» – и, не прощаясь, ушел. А на повороте засмеялся. Такие вот они, послевоенные залпы...

– Вы это, Анна Петровна, девятого мая студентам расскажите.

– Лучше нашему заведующему расскажу. Ему это ближе.

А еще Анна Петровна любила два-три раза за лето бывать на даче у Анны Ивановны. Приходила она к Анне Ивановне на дачу не ради ягод или яблок, ей хотелось усесться в

скрипучем плетеном кресле под яблоней, пить чай и ничего не делать. Муравьишка по столу бежит, листочек падает в сухарницу... Ветерок шевелит салфетку, и всякие мысли приходят сами собой. И даже если они о бренности бытия, они так успокаивают, так согревают душу. А если в этот момент еще прострекочет сорока, так и совсем хорошо. Анна Петровна любила сорок. Сороки были красивы, как девушки в народном хоре.

Анна Ивановна и Анна Петровна были в том возрасте и состоянии ума, когда могли судить о мире не с чьей-то подачи, а сами по себе. Как назвать двух умиротворенных беседой женщин, чей закат тоже не за горами – богинями мудрости? Закат их будет, разумеется, не так красив, но это не мешает им чувствовать ускользающую красоту.

Молчание не тяготило их. А беседа не раздражала. Так не всегда бывает даже в детстве, а им вот Бог послал такую радость и в зрелые годы. Молчали они обычно, когда солнце на их глазах погружалось за линию горизонта. Это занимало несколько минут. После этого они не спешили зажечь электрический свет, а любовались удивительными оттенками закатного света, напоминающего угасание колокольного звона. Оттенки были неуловимы, как мечты или некоторые воспоминания. Как бы невзначай с их уст срывалось одно слово, второе, третье... И они спешили восполнить минуты молчания, причем каждая из них выкладывала другой не свою боль, а свою радость. Даже если радость и выросла на чер-

ноземе боли. Впрочем, в обычной жизни они не были столь сентиментальны и чутки.

Темы бесед их были естественны, как они сами в эти минуты. Разговор мог идти о чем угодно: от родинки на носу у нового заведующего кафедрой разведения до необыкновенных размеров семенников у быка-производителя бестужевской породы в племхозе.

Чувствовали себя они в эти минуты превосходно, даже если и донимала их с утра какая хвороба или возрастные недуги.

– Подумаешь, Памир крыша мира! Крыша мира, Анна Ивановна, ваша кухня!

– Вы, Анна Петровна, не попробовали еще вот этот пирожок.

– Анна Ивановна, ваше тесто просто изумительное! Во рту тает. В чем секрет?

– Секрета никакого. Готовить тесто некогда, беру его в столовой, добавляю туда яйца, сахар, ваниль, пачку растопленного маргарина...

– Не может быть!

– Да вы сами попробуйте, у вас еще лучше получится. У вас, Анна Петровна, прирожденные способности кулинара. Какой чай у вас! А сливянка!

– Вам, правда, понравилась?

– Скажите, как вы делаете ее?

– Это так же просто, Анна Ивановна, как и ваше тесто.

В Венгрии, кстати, научили. Беру водку, чернослив, сахар. Да, еще ваниль, если достанете. Смешиваю, ставлю в темное место. Изредка взбалтываю. Через пару недель процеживаю и – ваше здоровье!

– Я понимаю, весь секрет в пропорциях?

– Совершенно верно, вкус – это прежде всего пропорции. И щедрость. Чернослива и сахара надо побольше класть.

На время их беседа иногда прерывалась. Анна Петровна, извинившись, поднималась с табуретки, делала круг по квартире – ей нравились копии картин русских пейзажистов прошлого века, расположенные четко на одном уровне и с равными интервалами на стенах, – и скрывалась в ванной комнате, совмещенной с туалетом. Совмещенный санузел напоминал ей кафедру, где всё в одном месте.

То обстоятельство, что туалетная бумага, столь дефицитная в пору превышения спроса над ее предложением, а естественных отправлений над потреблением, была аккуратно разрезана на маленькие квадратики и заботливо уложена стопочкой на полке, а бумажные салфетки для придания им более оригинальной формы были аккуратно разрезаны по диагонали и свернуты кольцом, свидетельствовало не о скопидомстве и скупости домохозяйки, а скорее о ее домовитости и рачительности.

А потом они живо обсудили институтскую сплетню о старом доценте Сивцеве и молоденькой ассистентке Вражской, придумав для нее хорошее прозвище «Сивцева-Вражская».

Анна Ивановна любила показывать Анне Петровне свои фотографии. У нее был громадный альбом из листов плотной цветной бумаги с кружевными кармашками, в которые были вложены черно-белые фотографии по темам, годам и увлечениям. В центре каждой фотографии неизменно была сама Анна Ивановна, а на обороте было подписано, в каком году и каком месте они сделаны, и кто находится на них слева направо или справа налево. Коллективных фотографий на фоне корпуса санатория, горы, водопада или под раскидистым деревом было множество. Чувствовалось, что на подбор фотографий в этом необъятном альбоме большое влияние оказывала центробежная сила самодостаточности его хозяйки и ее связей во внешнем мире. Анна Петровна обратила внимание, что два листа в самом начале альбома были пустые, а в одном кармашке застрял уголок вырванной, должно быть, с ожесточением фотографии.

У Анны Петровны фотографии тоже были, но не так много и они были рассованы по разным конвертам без всякой систематизации, случайно захваченные центростремительной силой ее судьбы. Самой Анны Петровны на многих фотографиях и не было вовсе. Фотографии ей были ни к чему. Некогда их было разглядывать.

– Вы любите стихи? – неожиданно спросила Анна Ивановна.

– Что такое стихи? Это так, полет глупости.

– А почему же тогда он захватывает людей?

– Ну как почему? Все потому же. Почему полет птиц захватывает птиц? Потому полет глупости захватывает глупость.

Анна Ивановна, несмотря на то, что любила стихи, не знала, чем и возразить.

Всякий раз после ухода Анны Петровны Анна Ивановна чувствовала себя обделенной жизнью. Ей не довелось, как той, побывать за границей, хотя бы и воюя. Не довелось испытать жизненных потрясений, которые выдержит не всякий мужчина. Хотя и у меня не все так просто было в жизни, я просто не придавала этому такого значения, думала она.

Словно протестуя против этой мысли, защемило сердце и так вдруг стало тоскливо... Скорее бы Настя из школы пришла!

У Анны Ивановны, как у всякой неординарной женщины, разумеется, были свои тайны, но они так глубоко были спрятаны в недрах ее памяти, психики и совести, что она не позволяла заглянуть туда хоть краем глаза даже самой себе. И в такие дни, когда раздумья приходят не из тебя, а словно прилетают откуда-то, то ли из твоего предсмертного часа, то ли из первого часа мира иного, ей было тяжело, так как она чувствовала тяжесть спрятанных на дне души проблем и воспоминаний и понимала, что с каждым годом их будет все тяжелее и тяжелее нести.

И самый большой груз был невесом, так как он весь состоял из того, чего у нее не было: семьи, родителей, отчего дома,

своих и только своих любимых лиц, имен, игрушек. Ничего она этого не помнила. Не помнила и не хотела вспоминать!

Жизнь обделяет тех, кто боится ее, подумала Анна Ивановна, но не согласилась с собственной мыслью, так как она была противоестественной, то есть направленной против самой себя. Такое допускать нельзя, даже если оно и очевидно. Ведь я все в жизни делала так, как следовало делать, но почему же тогда жизнь не воздаст мне, как следует. Или она вот так и воздала – как следует?

Нет, нет, только не это, только не это, застонала она. Только не возврат к тому, что было у меня!

4. Кафедра

«Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь, – разве не с помощью этих великих качеств тупость управляет миром?..» (У. Теккерей).

Такую записку Анна Петровна нашла у себя в понедельник, после первой пары. Она аккуратно лежала строго посередине стола и, чтоб не снес сквозняк, была придавлена календарем.

– Чьи художества? – спросила она лаборантку Тосю. – Не поленился кто-то печатными буквами изобразить. Каллиграф. Князь Мышкин.

– Что? – не поняла Тося.

– Кто тут был с утра?

– Ой, я не знаю, Анна Петровна. Я только что сама пришла.

Врет, подумала Анна Петровна. Это хорошо, что врет. Значит, эта уже в отсеv. Остались двенадцать. Впрочем, можно не трудиться. Все отсеvки. Эх, вас бы всех туда под Миус, где поливали нас в степи свинцом! Чтоб вы делали там без этих великих качеств? Грамотеи! Сами, небось, даже о «Ярмарке тщеславия» не слышали. Да и черт с вами! Она подчеркнула красным карандашом слово «тупость» и приколотила кнопками листок к доске объявлений. Подумала и написалась под текстом.

– Тося, передайте всем, пусть распишутся. С тем, что ознакомлены.

Возле деканата развернулась и пошла обратно. Тося что-то объясняла по телефону. Анна Петровна услышала слова «она уже ушла».

– Я снова пришла, Тося. Забыла сказать: открой окно, что-то воняет сильно у нас, – она наклонилась к телефонной трубке и громко и четко произнесла: – Да-да, воняет на нашей кафедре старым говном!

После обеда состоялось заседание кафедры, на котором обсуждался один вопрос: учебный процесс. Собственно, и жизнь можно свести к одному процессу – жить, и одному вопросу – как? Ответы будут самые разнообразные. На учебный процесс каждый сотрудник кафедры имел собственную точку зрения и каждый оспаривал ее так, будто кто-то другой оспаривал ее у него. Битый час выясняли разницу между прогулом по уважительной причине и по неуважительной. Анна Петровна воздерживалась от реплик, но наконец не выдержала и взорвалась:

– Зачем разбираться с этим? Это совершенно порочная классификация. По какой бы причине ни прогулял человек, в голове у него одинаково пусто. Надо не причины искать, а отработать прогулы. Я так полагаю, что вам больше говорить не о чем? Пусто?

Намек был явно провокационным. Анна Петровна была готова к бою. Ей очень хотелось сразиться сегодня со всеми

этими пресмыкающимися. Пора переименовывать кафедру. Не частной зоотехнии, а общего пресмыкательства.

– Анна Петровна! – постучал карандашом по графину заведующий. – Что вы себе позволяете?

– Я, Григорий Федорович, к сожалению, не могу себе позволить то, что позволяют себе другие.

– Чего же это?

– Подлости!

Общий шум стих. Слышно было, как в животе доцента Крылова забормотал алкогольный гастрит. Доцент придавил его рукой, отрыгнул и поморщился.

Анна Петровна с отвращением отвернулась от него.

– Вот этот товарищ... – она не глядя ткнула пальцем назад, целясь в Крылова. – Григорий Федорович, дайте ему воды. Его мучит отрыжка. Этот товарищ со знаменитой фамилией баснописца...

– Я бы попросил вас, Анна Петровна, – строго сказал Толоконников, – держаться в рамках приличий!

– Ах, в рамках приличий? Хорошо. В рамках так в рамках. Пусть доцент Крылов объяснит мне, по какому праву и в каких это рамках он наврал своему собутыльнику журналисту «Вечерки» Хорькову о том, что доцент Суэтина развалила всю учебную и воспитательную работу студентов?

– Врут без права, – заметил пересмешник Харитонов.

– С этим я совершенно согласна с вами, Вадим Сергеевич.

– По теме, по теме, Анна Петровна, – постучал каранда-

шом заведующий.

– Что вы все стучите? Я и так прекрасно все слышу. Я и говорю по теме. Разве развал учебной и воспитательной работы студентов не по теме?

– Доказательства? Что вы сотрясаете воздух? – Григорий Федорович встал, видимо, собираясь закрыть заседание.

– Доказательства? Вот они! – Анна Петровна бросила на стол заведующему газету, свернутую в трубку.

Тот, кривясь, развернул ее.

– Ну, что вы, право, так закрутили ее?

– Это вопрос, кто закрутил все это! – парировала Суэтина.

Заведующий вздохнул.

– Ну, где?

– Вы же видите, где. Там красным карандашом обведено.

– Анна Петровна, не надо мне указывать!

– А кто вам указывает? Вы и сами все прекрасно видите.

Читайте, читайте.

Заведующий протянул газету секретарю.

– Толя, прочтите, пожалуйста. Вслух. Где обведено.

«Доцент Суэтина А.П. все лето, вместо того, чтобы заниматься со студентами учебной практикой в учебном хозяйстве института, занималась бонитировкой лошадей в племхозе «Семеновский», а также...»

– Достаточно. Ясно, чтобы составить представление об авторах сей вдохновенной статьи! – воскликнула Анна Петровна.

– Может, все-таки дочитаем? – приятно улыбаясь, спросил Толоконников.

Суэтина махнула рукой. Дальше статья была выдержана в этом же тоне, а в конце был журналистский плач по бедному социалистическому хозяйству, в которое придут специалисты, прошедшие через руки таких преподавателей, как Суэтина А.П.

– Ну, и что же вам тут, Анна Петровна, не нравится? – спросил заведующий.

Похоже, он засучил рукава. Так я думала, отсюда ноги растут, из этой старой задницы.

– Что? Все не нравится! Хорошо. По порядку. Первый абзац. Корреспондент Хорьков, под руководством уважаемого доцента Крылова, изволит ерничать по поводу того, что доцент Суэтина занимается не учебной практикой, а бонитировкой лошадей. Это мог написать (и подсказать) человек, абсолютно не смыслящий не только в коневодстве, а и в животноводстве вообще! Что такое бонитировка? Григорий Федорович, я вас спрашиваю, как заведующего кафедрой частной зоотехнии! Что такое бонитировка, как не комплексная оценка сельскохозяйственных животных? Это что, не практика?

– Но тут же написано: не в учебном хозяйстве института, а в племхозе «Семеновский».

– Вы меня удивляете, Григорий Федорович! Где я вам, вернее, где я студентам в учхозе возьму лошадей? Я ими что,

уток наряжу? Или гусей? Гусь в попоне и с уздечкой! И под седлом!

Харитонов засмеялся. Заведующий строго посмотрел на него.

– Давайте без патетики, Анна Петровна. По сути.

– Тогда уж точно напишут, и не у нас, а в Москве. Лошадь последнюю у нас в сорок первом еще реквизировали, с тех пор не вернут никак. Довожу до вашего сведения, Григорий Федорович, что практические занятия со студентами на живых лошадях, а не на плакатах, как это делает уважаемый доцент Крылов, я провожу еще и в милиции, в конном отряде. Там, кстати, прекрасное отношение к лошадям. Лучше, чем к людям в иных местах.

Заведующий, чувствуя, что ему сегодня Суэтину не свалить, пользуясь правом сильного, усадил Анну Петровну, сказал резюме, совершенно не затрагивая тему газетной публикации, и распустил всех по домам.

Анна Петровна шла домой. Удивительно, она чувствовала себя не разбитой, а словно помолодевшей. Я вам покажу еще сто чертей, подумала она. Однако, как есть хочется!

В этот момент ее окликнул ассистент Харитонов.

– А вы не боитесь, Вадим Сергеевич?

– Чего я должен бояться, Анна Петровна?

– Не чего, а кого. Коллег – не боитесь? Сожрут, не подавятся. Вы бы подальше от меня шли. Заразная.

– Не боюсь, Анна Петровна. У них своя точка зрения, у

меня своя.

– У них своя? Вадим Сергеевич, не будьте так наивны, на кафедре все точки зрения растут из одного горшка, не буду говорить, с чем. Каждая своя точка зрения есть точка зрения ее заведующего. Это аксиома. Ее на первом курсе проходят.

– У меня все точки зрения слились в многоточие.

– Смотрите, как бы многоточие не разодрало вас на части.

– Думаю, не раздерет. Извините, мне кажется, вы мало кого уважаете на нашей кафедре.

– Вы правы, у меня нет сил заставить себя уважать тех людей, которым я никогда не сделала никакого зла, но от них получаю одну лишь подлость.

– Хотя среди них есть хорошо воспитанные люди...

– Когда тебе в лицо говорят одно, а в спину другое, это и называется «хорошим воспитанием»?

– Я не хотел бы сплетничать... Но они все считают вас... как бы это сказать...

– Так и говорите, – насмешливо посмотрела на него Анна Петровна. – Плохим человеком, что ли?

– Да, неудобным.

– Лучше остаться таким плохим, как я, чем стать таким хорошим, как они.

– Мне кажется, человек, даже очень хороший, не ко всем свят, и, несмотря на его непогрешимость, его все равно кто-то ненавидит и хочет сжить со света.

– Это туманно, Вадим Сергеевич. Расплывчато. Зло кон-

кретно. А подлость тем более. Да, человек не ко всем свят, это вы очень точно подметили. Но он всегда свят со святыми.

– Вы хотите сказать, что святости вообще нет?

– Я ничего не хочу сказать, – засмеялась Анна Петровна. – Кроме того, что с волками жить, по-волчьи выть. Другого языка они не понимают. Когда идешь к людям с открытой душой, в нее удобно плевать. Вадим Сергеевич, вот вы хоть и молоды еще, но уже достаточно опытный человек, скажите, как я должна относиться к доценту, к исполняющему обязанности доцента (пока!), который за последние десять лет берется неоднократно за науку, но гусыни, испытываемые ею на яйценоскость, в конце опыта оказываются гусаками, а индюки, как столетние старцы, отказывают в сперме? Но самое печальное – она за десять лет не научилась литры переводить в килограммы. Это в молочном-то деле! Да ее в молочный отдел гастронома нельзя брать, не то что студентов учить! Студенты смеются. Они даже раз бастовали. Это еще до вас было. Пришли в деканат и заявили: не пойдем больше к... Словом, отказались от учебного процесса.

– Я знаю, вы о ком, – засмеялся Харитонов.

– Я тоже знаю, о ком я. Я их всех очень хорошо узнала за эти годы. Кстати, уж сплетничать, так до конца. Душа изнылась. Меня-то, знаю, как треплют. Лет пять назад смотрю, она выходит ближе к обеду из своего дома с женщиной. Не с мужем. Мужа-то я хорошо знаю. Поздоровалась с ними. Мужчина-то тоже наш, общий знакомый. По наивности

спросила – дело какое? Думала, по делу приходил. Квартиру меняю, говорит. Квартиру и квартиру. Только почему с ним? Ну, да не мое дело! А потом еще как-то встретила, еще... Уже пять лет все с тем же делом, все не сменит.

– Вам опасно попасть на язык! – засмеялся Харитонов.

– Мы-то поначалу были с ней в нейтральных водах. Но как не попросишь ее о каком-нибудь пустяковом одолжении (на кафедре, сами знаете, нельзя же без этого – то подменить-ся, то передать что-либо), нет, не может! Считает себя человеком особой судьбы и любые просьбы чего-нибудь сделать воспринимает как оскорбление. Ну, а потом, как вся эта камарилья началась, и вовсе стала моей первой (после «шефа») гонительницей.

– А вы не боитесь, Анна Петровна, что я все это передам ей?

– Не боюсь, Вадим Сергеевич. Я свое отбоялась. Она и так знает все это. Чует.

– Свой запах не чувят.

– Это вы верно! Одно вам хочу сказать – вы мне симпатичны – горек кусок хлеба, а с ним приходится глотать и все непотребное. Мне туда.

– Мне тоже туда. Да, Анна Петровна, я хотел вам сказать спасибо за урок, который преподнесли мне впервые в жизни.

– Какой же?

– Не бояться чужих точек зрения.

– Опасный урок, Вадим Сергеевич. Можете и его свести

к многоточию.

– Нет, его я в рамочку возьму.

– Кстати, Вадим Сергеевич, не знаете случайно, кто мне бумажку с Теккереем на стол подбросил?

– Знаю. Но не скажу. Да вы сами знаете.

– Крылов.

– Я пошел. До свидания. Спасибо вам!

– И вам того же.

5. Камарилья

«Камарильей», если прибегнуть к книжному стилю, почти двести лет назад стали называть придворную клику интриганов, окружавших испанского короля Фердинанда VII и фильтровавших доходы Испании через свой карман. Пример заразителен, но не нов. Этот термин с годами приобрел еще большую актуальность, благодаря скрытым в нем резервам и возможностям его непосредственных участников.

В нашей стране камарилья, как всякое экзотическое растение, разумеется, не прижилась в чистом виде. Потребовалось районирование, то есть участие в «приживании» и распространении этого злака первых лиц государства.

У Анны Петровны был, правда, еще один термин, которым она исчерпывающе характеризовала положение вещей: «бардак», не имеющий никакого отношения к поэтическому творчеству, но ограничимся «камарильей», как более книжным словом. При этом не забудем чисто российский оттенок его – клика не вокруг государя, а клика во главе с государем. То есть государь не описан, а вписан. А в терминах Анны Петровны Суэтиной это еще была не просто сама клика, обстрипывающая свои дела, а и весь сладостный процесс приготовления и расхлебывания служебной заварухи, со собственными всякой кухне гарью, отбросами и прихлебателями.

Камарилью на кафедре затеяли два человека год назад. Почти за два года до конкурса Анны Петровны Суэтиной.

До этого жизнь на кафедре шла своим чередом: вяло, привычно, незаметно, с дрызгами, сплетнями и мышшиной возней. Всё было на своих местах и все были на своих местах. Поскольку коллектив всегда и везде состоит из совершенно разных по характеру и способностям людей, но одинаково желающих кушать, из этого постулата можно сделать вывод о том, что он (коллектив) обкатывает любого. А если нет, то, по выражению Анны Петровны, – в отсев! Жаль, коллектив не отсеешь!

Конкурс должен был состояться через восемь месяцев. Вот тут и все средства стали хороши. Григорий Федорович Толоконников был тертый калач в искусстве управления коллективом. И хотя он был старше Анны Петровны всего на восемь лет, это была очень большая разница. Разница в возрасте руководителя и подчиненного обычно пропорциональна квадрату разницы в их служебном положении. Толоконников себя чувствовал патриархом и вел дела на кафедре, как хотел. Тут ничего не поделаешь, его право. А поскольку года позволяли ему еще лет двадцать с почетом занимать это место, понятно, стремление не упустить эту возможность и подвигало его на всякие мыслимые и немыслимые авантюры. Тыл со стороны ректората, Ученого совета, парткома и прочих организаций у него был прикрыт надежно, поскольку, всем известно, заведующего кафедрой, не угодного ты-

ду, просто не назначают. Имея это, Григорий Федорович, естественно, надеялся на взаимопонимание и во вверенном ему коллективе. Вы мне, я вам, всё пополам. Когда коллектив послушно исполнял отведенную ему роль, пьеса доставляла одно только удовольствие. Хоть глянцевую афишку вешай над входом: «Бенефис профессора Г.Ф. Толоконникова».

Но когда Анна Петровна Суэтина три года назад рьяно взялась за докторскую диссертацию и вот-вот ее добьет, когда она стала, что называется, рыть землю под ногами заведующего и все громче заявлять о своих правах, он этого не мог оставить без внимания. Дело в том, что докторов на кафедре не было, а профессор Толоконников (единственный профессор на кафедре) сам был всего лишь кандидатом сельскохозяйственных наук, хотя и этого было ему вполне достаточно, как говорится, выше крыши.

Год назад, предвидя сложности, заведующий и приблизил к себе вечно исполняющую обязанности доцента (и.о.), но очень шуструю и сообразительную, Веру Павловну Дрямову в качестве консультанта по женской части кафедры. В аспирантуру она попала в сорок восьмом году, когда кафедрой руководил профессор Дробышевский, даже не кандидат (звание ему присвоили за сумму заслуг в деле подготовки первоклассных специалистов-животноводов). От Дробышевского Толоконников научился многому, и многое у него перенял. Старый профессор умудрился руководить кафедрой без перерыва двадцать сложнейших в истории страны и

института лет!

Так вот, «старик Державин нас заметил» и принял в аспирантуру. Она выдержала конкурс не по причине увлечения наукой, а скорее всего по причине увлечения профессора. Диссертацией сам профессор ей помочь, к сожалению, не смог, но, дав ставку исполняющего обязанности доцента, такую возможность ей оставил. Мало ли, года многое меняют, не исключено, что и она незаметно наберет требуемую сумму заслуг и незаметно отбросит эти две букочки «и.о.» Профессора Дробышевского скоро пять лет как нет, но и.о. доцента перешла с рук на руки, не уронив чести и достоинства.

Ее и прочил Толоконников на место Суэтиной. Для этого надо было сделать за год незамысловатую двухходовку: Дрямовой защититься, а Суэтиной потерпеть в чем-либо фиаско. Элементарно, товарищи! Прделано не раз, и не два. Успех произрастает на почве фиаско, а фиаско люди терпят вследствие своего успеха. Для толкового человека здесь открывается бездна возможностей!

Толковых, правда, маловато, усмехнулся профессор Толоконников.

– Верочка, кровь из носа, через три месяца защита! Иначе будет невпротык.

– Гриша, а как же Федоров из ВАКа?

– Федоров Федоровым, а ты давай готовь материал к защите. У Харитоновы возьми, что недостает. Потом ему вернем, – усмехнулся Толоконников. – Промедление смерти по-

добно. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

– Что-то ты афоризмами заговорил.

– Заговоришь тут. Видела, что сегодня устроила?

– Да уж, кто б подумал?

– Подумал-подумал! Вот то-то и оно-то, что никто не подумал. Вспомни, сама что говорила о ней: солдафон, солдат в юбке, «пэпэжэ», еще – не буду уточнять.

– Ну, а Крылов что, не мог проверить, что Хорек написал?

– Это ты у него сама спроси. Напились, наверное, до порсячьего визга, проверишь тут! Надо браться за него, пока на партком не попал. Нечего сор из избы выносить. Организуй обсуждение. Один-два фактика. Опоздал вот двадцатого, прогулял двадцать седьмого... ты смотри, у него система – нарушения ровно через неделю!

– У него уже пять лет эта система, Гриша. По понедельникам.

– Вот и обсудим. Пожурим. Я, кстати, договорился, его полечат. Не все ж с этой Суэтиной балясы точить!

– Ну, а с ней ты что теперь думаешь делать? Статейка-то так, пшик. Больше ей на руку.

– Ничего, мы еще и из статейки этой не все высосали. Ей отлежаться надо, походить по верхним эшелонам, покрыться пылью и печатями. Бюрократия – великая вещь! А там посмотрим. А тем временем надо студентов организовать на какой-нибудь крестный ход, сорвать парочку занятий, что-нибудь подперчить по идеологической части. Тут ты у нас

умница, подумай. Моральный облик, чего там еще, дочерний долг, воспитание подрастающего поколения, хронический алкоголизм...

– Ну, ну! Куда хватил. Ты ей еще шпионаж припиши. Дробышевского вспомнил? Она тут, милый, чисто алмаз, не подкапашься. Я уж наводила справки.

– А чего ж сама о ней трепалась тогда – «пэпэжэ»? «пэпэжэ»?

– Это ты меня спрашиваешь, чего?

– Ладно, поищи-поищи. Кто ищет, тот всегда чего-нибудь найдет.

В этот день у Анны Петровны было восемь часов занятий. После занятий еще битый час помогала освоить оболтусам «зубы». Только собралась домой идти, заходит Толоконников и с иудиной ухмылочкой раскланивается.

– Мы виделись? Ну, здравствуйте.

– Ну, здравствуйте, – поздоровалась и она.

И отвернулась. Кто-то спер справочник... Как мелко! Под пиджаком, наверное, унес.

– Анна Петровна, студенты хвалят, как вы руководите ими, вот тут три дипломника – надо выручать кафедру, берите и руководите. Крылова два месяца не будет, месяц в больнице, потом курорт.

– Заслужил. Мне, что ли, запить? Это, Григорий Федорович, превышает мою нагрузку. Что, других нет?

– Дипломники у всех есть. И у всех нагрузка.
– У меня тоже двое.
– Вот, как говорится, копейка к копейке будет алтын.

– У кого?

– Что у кого?

– Да все вы понимаете. Алтын – у кого будет? У вас?

– Опять вы за старое, – вздохнул заведующий. – Я к вам всей душой...

– Я вижу. Душно сразу стало.

Толоконников развел руками. Эту дамочку трудно переговорить. Ну, где словом нельзя, делом можно. Переделаем. Он мрачно взглянул на хорошо сохранившуюся спортивно-го сложения Суэтину и, не прощаясь, покинул кафедру. Ей только рукава засучить и автомат в руки, подумал он. В дверях бросил:

– Значит, решили. Дипломники ваши!

Анна Петровна в раздражении сломала карандаш. Вот же иуда! Где только может, напакостит! И так как проклятая, ни сна, ни отдыха, еще трех дипломников всучил! Ведь знает, знает «шеф», что я с дипломниками, в отличие от все прочих, вожусь, не считаясь с собственным временем, и выпускаю их на защиту, как на кандидатскую.

Весь следующий день, свободный от занятий, был занят конференцией. Докладов, как всегда, было много, и, как всегда, мало толковых. Все на скорую руку. Абы как. Господи, куда катимся? Куда катимся? Лишь бы отметиться, лишь бы

галочку поставить! Да и не слушал никто доклады. Каждый был занят собой, своим делом или бездельем, каждый тянул до вечера, как тянет подбитый самолет до полосы. Что же, наавтра и взлетать не намерены, господа? Понравилось одно выступление о производстве птицы, хотела задать вопрос, подняла руку, поднялась, стоя подала голос, но Толоконников (он председательствовал) грубо осадил ее, выкрикнув:

– В письменной форме! Пожалуйста, следующий!

И тут же сам стал прерывать докладчика, седого ассистента с кафедры физиологии, и учить его построению доклада. Так вот, товарищ ассистент, дожил до седины, а – никто, не рыпайся! Слушай Толоконникова, он профессор, он знает. Не вытерпела, и когда Толоконников в самом начале следующего выступления перебил докладчика и задал ему вопрос, совпавший с вопросом с места Агоняна, громко на весь зал произнесла:

– Вопросы подаются в письменной форме!

В зале послышался смешок, а у Толоконникова от ярости потемнел даже костюм.

После заседания он кратко подвел итоги. Уделил внимание и Суэтиной.

– На реплику Анны Петровны отвечаю: я задавал по ходу! Суэтина парировала:

– Я ее посылала не только в ваш адрес.

Они столкнулись в этот вечер еще и на кафедре.

– Как же так, Григорий Федорович, при такой чувстви-

тельности вы так легко обижаете других?

– Вы о чем это, Анна Петровна? – сухо спросил заведующий.

– Вас покорило от моей реплики, а ведь я просто вернула ее вам. Надо и к другим быть таким же чувствительным. Или вы полагаете, что вы из другого теста? К тому же, я все не вам бросила реплику, а Агоняну. Так что ваш авторитет я не подорвала. Это выше моих сил.

– Вы о моем авторитете не беспокойтесь! – профессор вышел и хлопнул дверью.

Тося зажалась в углу, как мышь. Только глазки сверкали. Сиди-сиди там, подумала Анна Петровна. Может, не сожрут.

В полночь Анна Петровна взяла ручку и стала писать письмо.

«Как он быстро пролетел, этот день, опять «завтра». Не успел сказать еще «сегодня», не успел почувствовать сладость и свежесть этого слова, как чувствуешь его горечь и труху. Куда спешишь ты, как невзнузданная кобылица, неутомимое время? Куда уносишь ты меня из бытия? Остановись, какое ты есть, дай надышаться тобой вдосталь, дай рассмотреть тебя, запомнить твои призрачные черты. Куда стремишься ты, невесомое, неощутимое, как сон, неповторимое? Где твой привал, где подаришь ты мне вечный покой?»

Впрочем, человек, прожив сто лет, совершенно не очаровывается этим.

Вспомнилось:

– Я давно хочу вас спросить, Анна Петровна, почему вы о себе говорите в мужском роде: «сидел», «смотрел»?

Да, да, «сидел», «смотрел», «не успел». Кому же я написала-то? Некому, что ли? Теткам в Белой Калитве? Так им деньги нужней. Как и Брянску.

И вот, когда она уже почти победила всю эту камарилью, когда ни Толоконников, ни Дрямова не знали, какую пакость придумать еще, а Крылову вместо сна стали являться персонажи басен великого однофамильца, Анна Петровна допустила непростительную оплошность. Прокол, как говорят бюрократы. Она решила вдруг сделать портрет сына. То есть буквально потрет, писанный масляными красками на холсте. Минутная слабость, инстинкт материнства.

Хотя это еще бабушка надвое сказала – победила бы она камарилью или сама легла в этой битве костью? Коллектив победить очень трудно. Везде, всегда и во всем побеждает, как правило, коллективный разум, который равноудален как от индивидуального, так и от мирового сознания.

6. Петя Сорокин и беременный воробей

Анне Петровне очень хотелось иметь портрет сына в масле. Иному сердцу больше говорит отварной картофель в сардиновом масле или тонкие ломтики редьки в прованском, но материнскому – подавай непременно портрет сына в масле. Масло больше подходит для лица, даже детского. Лучше ложится на него, рельефнее лепит образ. И хранится масло подольше акварели. Акварель к тому же жидковата, подтеки дает и портит узнаваемость родных черт. Акварелью пусть сирень да мартовский снег пишут. Скоро Женечке шестнадцать лет. Еще чуть-чуть и станет большим человеком. Его портрет украсит стену музея, экскурсовод станет рассказывать о детстве сына, а заодно вспомнит и обо мне... – расчувствовалась Анна Петровна. – И мы опять будем вместе, спустя столько лет...

Анна Петровна отпуск и командировки проводила с пользой для кругозора: посещала выставки, музеи, картинные галереи, ходила в театры и на концерты. Вследствие этого кругозор ее был достаточно широк, а в самом центре его, как игла циркуля, было собственное мнение в виде острой пронзительной точки, уходящей для придания равновесия в жизни чуть ли не в самый мозжечок. Это мнение позволяло ей судить обо всем на свете, и не всегда тривиально. Надо отме-

тить, что кругозор у Анны Петровны был идеально круглым. В частности, ей нравились портреты, исполненные в классическом стиле. Без всяких там углов и кубиков, которые, чтобы понять, надо рассматривать либо свернув себе голову, как гусь на прилавке, либо издали в подзорную трубу, словно князь Багратион.

Она и сама с детства посещала всякие рисовальные кружки и добилась там определенных успехов.

(Слово «определенные» ей нравилось за четкую привязку к слову «успехи». В те годы определенные успехи были во всем. Оставалось лишь дойти до котлет. На Анну Петровну порой находила злость на жизнь, в которой не осталось котлет. Но котлет купишь два десятка, и злость проходит. Ничего странного в отсутствии котлет не было. В то время, когда все было дешевым, а «дорогим» был лишь Никита Сергеевич, котлеты могли позволить себе все).

В институте Анна Петровна тоже пробовала рисовать, ей даже предлагали поступать в училище, но раз поприще зоотехника выбрано – тут не до живописи. Это поприще живописно само по себе – специалисты не дадут соврать.

Нашелся и художник для Жениного портрета. Не просто, а «скорочлен» Союза художников (он так и говорил: «Я буду скоро членом Союза художников», за что его и прозвали «скорочленом»). Институт был большой и, понятно, в нем был свой соразмерный институту художник. Художник Гурьянов жил неподалеку, на Ипподромской, и они часто

встречались то в магазине, то на улице. Николай Федорович был тоже в годках, которые, полагал, предназначены не для него, имел сына примерно того же возраста, что и Женя. Да-да, вспомнила она, как-то они сидели рядом на школьном концерте. Гурьянов шумно рукоплескал, когда его сын прочитал свои стишки, а потом встал и раскланялся. Общественности было известно также, что Николай Федорович находился под обаянием гоголевских «Мертвых душ», и любимая присказка его была: «Беременный воробей!», которую употреблял он по малейшему поводу. Чем-то ему досадила Елизавета Воробей, та, которую всучил Чичикову Собакевич.

Больше о нем Анна Петровна ничего не знала. Говорили, выпивать любит. Ну, это не новость. Живописцу – да не пить? Гурьянов писал маслом профессорско-преподавательский состав, и за пять лет он у него достиг размеров железнодорожного. В год он писал по двенадцать портретов и уже подумывал, не создать ли цикл под названием «Время учебного года». Если бы им заинтересовалась какая-либо галерея, он мог бы заполнить ее под крышу. В начале учебного года он развешивал картины в коридоре возле деканата зоофака, соблюдая субординацию и пол. Как поднимешься с лестницы, направо от деканата к окну в глубине коридора шли мужские портреты, а налево к лестнице женские. Возле самых дверей деканата располагались изображения декана, его замов, двух профессоров, секретаря парт-

организации. Далее шли портреты менее именитых современников по их значимости. Мало-мальски разбирающийся в технике живописи человек наверняка отметил бы любопытную закономерность полотен мастера: толщина и густота красок была положена на них согласно заслугам человека. Первокурсники со страхом глядели на грозного, как поверхность беспокойного моря, декана и важных, как морская пучина, профессоров, а прочие студенты любили угадывать по портретам фамилии, регулярно подрисовывали декану усы, которые тот сбрил лет двадцать назад, а под портретом молодой ассистентки Александры Шуваловой, чей озорной взгляд не смогла загладить даже кисть художника, возобновляли подпись: «Коля любит Шуру». А последний набор студентов и вовсе оборзел и написал: «Коля Гурьянов любит Шуру Шувалову».

Николай Федорович до этого работал на заводе в одном из основных цехов художником. В его обязанности входило написание объявлений для руководства цеха, цехкома, комсомольского и партийного бюро, всяких организаций и комиссий, включая женские, выпуск всевозможных листов, молний, прожекторов, вырезание трафаретов для маркировки труб, баков, емкостей, громадной номенклатуры изготавливаемых контейнеров, отправляемых по всем уголкам страны и за рубеж, а к праздникам и юбилеям на нем была еще стенная газета, стенды, транспаранты и цветочки с флажками.

Все это, вкупе с удушливо-прогорклой атмосферой гула, ругани и машинного масла, ежедневно травмировали утонченную натуру Гурьянова. При всей дородности Николая Федоровича и богатой природной внешности натуру он имел поистине утонченную, чем и брал за живое представительниц слабого пола. То, что он был эгоист до мозга костей, только усиливало его привлекательность. Дамы полагают, что эгоизм у мужчины как-то связан с его загадочностью, а значит, непредсказуемостью поступков, которые одни только дают остроту чувствам и приносят наслаждение. Что ж, и эта точка зрения имеет право на жизнь. Она лелеет надежду, что не все еще потеряно, если ваш суженый эгоист.

Должность его называлась «аппаратчик шестого разряда», но для всех, и прежде всего для самого себя, он был «художником». Руководству цеха, всем общественным и политическим организациям, просто людям и потребителям заводской продукции нравилась добросовестная работа Гурьянова, и никто ни разу не высказывал ему претензий по качеству его рисунков, трафаретов или ежедневных объявлений. А за стенгазету его несколько раз благодарили и даже занесли в заводскую «Книгу почета».

Гурьянов с завода уволился после того, как однажды в столовой невольно подслушал разговор нового начальника цеха с работником ПТО. Они сидели за соседним столиком, и новый начальник цеха скорее всего Гурьянова не заметил.

– Ну, как встретил цех нового начальника? – поинтересо-

вался за селедочкой «конторский».

– Стоя, долго не смолкающими аплодисментами, – новый начальник шумно хлебал постный суп. – Как из лужи! – он отодвинул тарелку в сторону.

– Вкусы меняешь? Интересное-то было что-нибудь?

– Все интересно... Мастера, токаря, электрики. Очень интересные. А интересней всего план давать. Аппаратчик один, трафареты вырезает – художник...

– Художник? Школа искусств?

– Школа-школа. Приходи, покажу. Во вторник контейнеры отправляли в Венгрию. Гляжу, в слове «ТИП» буква «И» написана, как латинская «N».

– Художник из Рима?

– Из Венеции. Как же так, говорю мастеру, венгры рекламу пришлют, они же вредные! Глядишь, еще пугч один сделают. Мастер руками разводит: ошибся, мол, художник. Я ему: художники не ошибаются – у них свое виденье мира. Озадачил беднягу. В конце смены звонит мне: поговорил с Гурьяновым, так это того, у него точно такое виденье. С Гурьяновым, воскликнул я – азарт меня забрал, не тем ли самым Гурьяновым, которому в школе столько колов вlepили, что он из них потом частокол вокруг дома сбил? Мастер, умора – правда, что ли, спрашивает.

Конторский захохотал:

– Ну, ты, Сан Саныч, юморист. В газетенку тисну. Расскажу ребятам о твоём народном художнике.

Гурьянов не стал дальше слушать, подошел к столу нового начальника цеха и вылил тому в остатки гуляша свой компот, а «конторскому» сказал: «Рот закрой».

После этого Гурьянов, понятно, и уволился. Спустя многие годы «конторский» стал большой шишкой, но его так и называли «Ротзакрой», хотя никто уже и не помнил, почему, а вахтерша в его ведомстве уверяла, что так раньше называлась фабрика «Рот Фронт». Чего только не придумают!

Анна Петровна встретила Гурьянова в очереди за котлетами. В этот год мясомолочный скот опять дал лишь одни котлеты.

– Приходится вот по очередям стоять, – словно оправдываясь за мясомолочный скот, сказал Гурьянов. – Жена неважно себя чувствует.

– А когда вы в очереди, она чувствует себя лучше?

Вопрос получился не совсем тонкий, но Гурьянов просто-душно ответил:

– Лучше.

Анна Петровна, помявшись, спросила в лоб:

– Николай Федорович, не напишете портрет моего сына?

– Сына? – Гурьянов внимательно поглядел на Анну Петровну, как бы провидя в ее лице черты будущего портрета.

– Он, кстати, похож на меня. На совершеннолетие хочу подарить ему.

– Хм. Почему «не напишете»? Напишу, чего ж не написать? К двадцатому завершу портрет Хренова, займусь ва-

шим сыном. Дома, увы, работать не могу, стеснен, знаете ли, жена...

– Не беспокойтесь. Места хватит, и освещение хорошее. Если что, торшер подвинем.

– Это не обязательно, – снисходительно улыбнулся Николай Федорович. – Главное метраж. Квадратный метр полотна хорошо получается на пятнадцати квадратах пола. У вас как? Двадцать два? Отлично. Юноша под торшером – а что, оригинально.

– Торшер немецкий.

Двадцать первого числа Гурьянов пришел к Суэтиным с мольбертом и чемоданчиком, в котором были краски, кисти, тряпки, пузырьки и прочий художнический хлам. Вопреки ожиданиям, связанным с завершением предыдущего портрета, лицо Гурьянова было гладкое, готовое к новым раздумьям над новым полотном. Усы и бородка уравнивали черную с проседью волну волос над широким лбом. Анна Петровна по случаю «закладки портрета» испекла пирог с потрошками по рецепту Анны Ивановны и к нему поставила на стол графинчик сливянки собственного «розлива». Николай Федорович пришел прямо с работы, уставший, и, разумеется, Анна Петровна тут же, как всякого голодного мужчину, усадила его за стол. Пирог имел необыкновенный успех, а сливянка шла, как по маслу. Анна Петровна млела от аппетита Гурьянова и его поучительных и пикантных историй о контрасте жизни парижской богемы и российских передвиж-

ников. Он ей кого-то напоминал, о ком в памяти остались самые приятные воспоминания, но она никак не могла припомнить их. Когда на большой фарфоровой тарелке из остатков трофейного немецкого сервиза от пирога остались два треугольника, а графин опустел, то есть уже в начале девятого, Николай Федорович откинулся на стуле, вынул из коробка спичку и, сыто жмурясь, спросил бархатным баритоном:

– Ну, и где же сын?

– Я тут, – тут же с кухни отозвался Евгений. Признаться, ему наскучило уже «делать уроки». Успел дочитать «Одиссею капитана Блада». Он сидел так, что обеденный стол был виден лучше, чем кухонный.

– Подь сюда, атлет. Дай чувства глазу живописца! Хорош. Хорош! Хороший получится портрет. Евгений? Портрет Евгения. Во взгляде мысль. Черты лица юны, но определены, а главное – вижу – это не последний его портрет, не последний! Но – первый!

– Вы нам льстите, – вырвалось у Анны Петровны.

– Бросьте, это вы льстите мне!

Сливянка, похоже, стала проявлять себя в свойственной ей манере и соразмерно количеству, помноженному на качество, и, судя по метражу комнаты, могла подвинуть художника на полотно размером метр десять на метр сорок.

– День сегодня замечательный! – воскликнул Гурьянов, глядя на торшер. – Немецкий, говорите? Замечательный торшер. Пожалуй, так: портрет юноши под немецким торшером.

– Русский юноша под немецким торшером, – поправил юноша.

– Однако! – воскликнул живописец. – Ироничен!

– Аусгецайхнет. Замечательно, – сказал Евгений. – Отобразайте!

Отобразить иронию, к сожалению, с наскоку не удалось, как и все остальное, поэтому остаток первого вечера был посвящен мысленной лепке образа и ярким словам о творческом порыве, который надо не упустить, но который нельзя и торопить. Из красивых слов можно было, конечно, сшить поэму в триста строк, но на холст их было никак не натянуть. На полтора квадратных метра.

На второй вечер после сеанса, совмещенного с ужином, Гурьянов в начале одиннадцатого не без иронии стал рассказывать о том, как он летом в свой отпуск вместе с приятелем, председателем какого-то РАПО, изготавливал по области бюстики вождя. Бюстики пользовались неслыханным спросом. Как оказалось, они нужны были всюду.

– Я решил, что их изготавливают впрок, – сказал Гурьянов и сделал круглыми глаза и зажал себе рот широкой, испачканной в краске ладонью. Из-под ладони смешно торчала борода.

Каждый бюстик оплачивался от двадцати до пятидесяти рублей за штуку, в зависимости от величины и ракурса. В основном это были бюстики двадцатирублевого и пятидесятирублевого достоинства. Пятидесятирублевые были выгод-

нее, но с ними было мороки раза в три больше, чем с двадцатирублевыми.

– Шубу жене купил и на полмотоцикла денег набрал, – похвастал Гурьянов.

Анна Петровна недоумевала:

– Как можно делать его за деньги?! – звенел ее голос.

– Да кто ж его будет лепить без денег? – бархатисто недоумевал Гурьянов.

– Но зачем столько бюстов?

– Каждому, ка-аждому...

– Что, впрок?

– Будут внуки потом. Все опять повторится сначала, – спел художник.

– Каждому нужны игрушки, – вставил Женя.

После трех сеансов портрет удалился от оригинала, как электричка на три остановки. Женя терпеливо позировал, Гурьянов старался, но у него ничего не получалось. Особенно он не расстраивался.

– С трех раз редко получается, – говорил Николай Федорович. – Это только в сказках все с третьего раза... Обычно к пятому-шестому сеансу только начинаешь схватывать суть образа... Может, юношу, того, отправить куда? К приятелям? В кино? Или к девушкам? А что?

– Зачем? – не поняла Анна Петровна. – Бог с вами! Какие девушки? А как же образ без него?

– Смотрите, – пожал плечами портретист и вполголоса за-

пел густым баритоном: – Уймитесь, волнения страсти! Засни, безнадежное сердце! Я верю, я стражду, – душа истомилась в разлуке; я стражду, я плачу, – не выплакать горя в слезах...

Анна Петровна, с замиранием сердца, прижав руки к груди и закрыв глаза, стояла на кухне и отдавалась на волю звуковых волн композитора М. Глинки на слова Н. Кукольника.

Каждый раз художник наносил на холст толстым слоем краски (густо, как на портрет профессора) и каждый раз их соскабливал. С портрета на мать смотрел глазами праведника не ироничный Женечка, а неизвестный юноша с лицом отличника и круглым, а не острым подбородком. И третий сеанс завершился графинчиком сливянки и пространными рассуждениями на ночь о пользе вдохновения. Женьке это нравилось больше, чем уроки. Гурьянов покидал Суэтиных часов в одиннадцать вечера.

– Жена не будет беспокоиться? – беспокоилась Анна Петровна. Вчера она подвела часы на десять минут назад – Женька видел это.

– Пустяк! – добродушно отмахивался художник. – Ей должно быть хорошо. Сливянка – нечто! Оревуар! Пардон, а-ревуар!

Гурьянов, напевая, уходил, а Анна Петровна, не закрывая входную дверь, стояла в прихожей и прислушивалась, как удаляются тяжелые шаги, как угасают неугасимые слова: «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним

прижаться сейчас губами...» А потом с блестящими глазами убирала посуду и силилась вспомнить, кого же ей напоминает Николай Федорович.

– Петя Сорокин, – сказал Женя, рассмотрев после четвертого сеанса свою очередную копию.

– Что? – не понял Гурьянов, хотя все понял.

– Петя Сорокин, говорю, – мальчик ткнул в подбородок копии пальцем. – Вылитый Петя Сорокин.

– Кто такой? – бодро спросил Гурьянов.

– Никто. Отличник из десятого «Б».

– Беременный воробей!

– Ма, где там у нас была сливянка? Для вдохновения.

– Умница, – похвалил юношу, как собаку, художник и откинул черную с проседью волну со лба.

– Ма, мы тут посоветовались и решили, что Николай Федорович возьмет портрет на выставку.

Анна Петровна с тревогой глядела на сына, на портрет, на художника. Ей ни с кем не хотелось расставаться. Но портрет не хотел совпадать с ее точкой зрения, и она не знала, что теперь делать.

– Деньги-то возьмите, – протянула Анна Петровна двадцать пять рублей, но Гурьянов категорически отказался.

– Нет, это портрет для выставки. Это не для денег. Ар-евуар! Пардон, о-ревуар!

Портрет на выставке побывал. Под ним была подпись «Петя Сорокин». Женю Суэтина на нем было узнать невозмож-

но, а у Анны Петровны с тех пор радужные надежды на портрет сына в музее стали потихоньку таять, а тревога после всякий случайной встречи с Гурьяновым возрастать...

7. О том, как поссорились Анна Ивановна с Анной Петровной

– Я теперь Тимошку перед сном прогуливаю, – сказала Анна Ивановна. – Приходится на поводке таскать – удержу на него нет.

Анна Петровна не переносила собак дома. Она подкармливала их под топольком, но собаку в дом? Увольте! Она уныло выслушала подробности о собачьих потребностях.

– Вчера Гурьянова видела. И позавчера... Из вашего подъезда выходил, – Анна Ивановна вопрошающе глядела на Суэтину. – У вас был?

– Да, Женю рисовал, – сказала Анна Петровна. – Не получилось.

– У профессионала и не получилось? – в голосе Анны Ивановны послышалось злорадство.

Анна Петровна с удивлением взглянула на нее и пожалала плечами:

– Видно, не смог что-то в Жене разглядеть. На это время надо, – вздохнула она.

Анна Ивановна понимающе улыбнулась. Конечно, разве может чужой глаз разглядеть то, что видит глаз материнский?

– Странно, он такой плодовитый портретист! Выставляться любит!

– В общении очень приятный человек. Простой. Но с чувством юмора.

– Юмора ему не занимать. Вы только подумайте! – воскликнула Анна Ивановна. – Снег пошел! Как рано в этом году.

Собственно, пришло время снега. Это, кстати, вчера вечером бросилось в глаза. Уже в сумерки начался буран. Серые листья задергались, закружились, как летучие мыши... Так что белый снег, голубушка, всегда после такого серого бурана выпадает. Анна Ивановна сама затеяла разговор о Гурьянове и что-то вдруг сама и замяла его. И ладно, подумала Анна Петровна. Хотя ей очень хотелось рассказать Анне Ивановне (она уже третий день хотела сделать это), какой тот умный и... да что греха таить, и обаятельный мужчина. Бездна обаяния и вкуса. А голос – чистый велюр! Анне Петровне хотелось говорить о художнике долго и в подробностях, как о заболевшем ребенке. Она вдруг вспомнила фильм, который смотрела месяца два назад у Анны Ивановны. Там тоже был художник, чем-то похожий на Гурьянова, любовь, домик на Волге... Она поняла теперь, кого он ей все время напоминал. И успокоилась. Белые хлопья снега мягко падали на еще черный теплый асфальт и тут же таяли, точно пронизывали асфальт насквозь и терялись в темной бездне. Странно, что падают хлопья, а не сыплет мелкий противный дождь и не порошит. Уже так привыкла к этому. Природе надоели, видно, все эти мелкие раздражители, успокоения захотелось...

– Николай Федорович так забавно рассказывал о том, как он этим летом делал под заказ бюстики Ленина... – не удержалась Анна Петровна.

– Бюстики Ленина? Пф-ф... Анна Петровна, меня этот художник и все его творчества абсолютно не интересуют! Найдём другую тему для разговора!

Анна Ивановна не смогла скрыть раздражение, и это больно задело Анну Петровну. Хорошо, он ей чем-то не нравится, но при чем тут она?

– Хорошо, Анна Ивановна, не будем о нем, – покорно сказала Суэтина. Но в покорности ее слышалось неодолимое упрямство. Анна Ивановна почувствовала это. Свой свояка видит издалека.

– Ну, что ж, – сказала Анненкова. – Пошла ужин готовить. Анна Ивановна собиралась зайти в магазин вместе с Анной Петровной, но то ли забыла об этом, то ли передумала.

Озадаченная Анна Петровна рассеянно осмотрела витрины, увязла в свинцовой очереди за котлетами и, ничего не купив, вернулась домой. Странно, очень странно ведет себя Анна Ивановна. Вожжа под хвост ей этот Гурьянов. Да ну его, в конце концов! Что, на нем свет клином сошелся? Не хватало из-за чужого мужика ссориться с единственным близким по душе человеком!

После ужина она легла раньше обычного на кровать и долго лежала без сна, стараясь не думать ни о чем и думая о Гурьянове. Почему он так неприятен Анненковой? Чего-то

тут не так. И тут же всплыла в памяти, как щепка, свинцовая очередь в гастрономе за котлетами. Вот она, покачиваясь, плывет к выходу из памяти. Значит, вовсе не свинцовая. Странно, что воспоминания о потраченном времени в очередях или на курорте дают абсолютно одинаковые ощущения. Наверное, потому, что и то, и это не стоят самих воспоминаний. Сами воспоминания, все равно о чем, одинаково дороги, как воспоминания, бывшие именно с тобой, и одинаково безразличны, как не имеющие к тебе уже никакого отношения. В очередях, пожалуй, еще интересней бывает. Облают, а то и под бок саданут... «Почему же все-таки Анна Ивановна так не хотела говорить о Гурьянове?» – задала Анна Петровна вопрос кому-то встретившемуся во сне и не расслышала ответа.

В субботу после коллоквиума и трех пар аудиторных занятий Анна Петровна была как выжатая губка и рада была тому, что плелась молчком домой одна. На разговор с кем бы то ни было она не имела никаких жизненных сил. А дома шаром покати, крошки хлебной нет. Неужели тащиться в магазин? Анна Петровна тоскливо глянула через дорогу и, решив, что не помрет без ужина, махнула рукой и пошла домой. Авось и найдется что. «Господи, а как же там Женечка?» – всколыхнулась в ней волна заботы, но тут же и опала, так как с Женечкой-то все сегодня было нормально. Он сегодня весь день был в гостях у Анны Ивановны. У Насти Ан-

ненковой сегодня был день рождения, тринадцать лет. Анна Ивановна сама пригласила его, зная о субботней нагрузке Анны Петровны. Надо бы зайти, нехорошо как-то получается. Жене уже шестнадцать. Как время летит! Уж два года знакомы с Анной Ивановной, а она ни словом не обмолвилась о своем муже. Где он? Был, не был? Анна Петровна подумала о своем муже и тут же успокоилась. Тоже, наверное, алкаш. Помер или у родственников, если не в канаве... Не будем муссировать эту тему. Подарю книжку, заодно и чаю у них попою. Анна Петровна достала из шкафа «Историю Тома Джонса, найдёныша» Генри Филдинга, купленную по случаю в Москве, и пошла к Анненковым.

Там уже все разошлись. Остались две девочки. Они шептались с Настей, хихикали и поглядывали на Женю. Ишь, покраснелись! Правильно, правильно, Женечка, не поддавайся на их уловки. Еще не такое будет! Женя, в стороне от веселых подруг (наверняка он даже не познакомился с ними), пользуясь возможностью, смотрел телевизор. Анна Петровна горделиво посмотрела на него, потом на девчат.

Уселись на кухне и стали пить чай с яблочным пирогом.

– Отменный пирог, Анна Ивановна. У меня сегодня маковой росинки во рту не было. Думала, не дотяну до конца третьей пары.

– Ой, да что же вы не сказали? У меня и салатов сколько, и курица!

И вот кухонный стол ломится от яств, стоит початая бу-

тылка вина, два фужера и легкая грусть в атмосфере кухни, грусть от еще одной вехи в жизни. Грусть, но вместе с тем и недосказанность.

– Вы меня простите, Анна Петровна, я вчера обещала вам пойти в магазин и не пошла. Голова что-то вдруг заболела, – сказала Анна Ивановна.

– Да что вы, какие там прощения? Нашли, за что прощение просить! Так бы вот все на Ученом совете друг перед другом извинения просить стали – то-то была бы потеха!

– Да-да, весь Совет только и извинялись бы!

– Больше проку было бы!

Обе смеялись. Хорошо смеяться, когда ребенку только тринадцать лет, когда он еще не упорхнул из дома. Вспархивает легко, а уже не вернуть.

– Хорошенькая она у вас. Глазенки точь-в-точь ваши, а носик нет.

– О, до паспорта еще три года! Подрастет, – Анна Ивановна явно не хотела развивать тему счастливого детства.

Зашел Женя.

– Посмотрел? Может, хочешь чего?

– Нет, спасибо. Я домой пойду. Устал.

– Устал! – рассмеялись обе женщины. – Он устал!

Женя недоуменно посмотрел на них.

– Иди-иди. Я тоже скоро приду. Дверь на щеколду не закрывай.

Анна Петровна рассказала, как однажды сын уснул и при-

шлось дверь с петель снимать, а он так и не проснулся.

– И стучали! И кричали! И по батарее снизу били! Ничего не слышал! Как убитый спал. А утром глаза округлил: а ты когда пришла, спрашивает.

– Илья Муромец какой-то! – смеялась Анна Ивановна.

– Да, в отца. Тот-то крепкий мужчина. Спился вот. Живет сейчас в своей деревне... У родни. Нищета!

– Я девочек провожу, – Анна Ивановна поднялась с табуретки. – Какую красивую книгу вы подарили, спасибо!

Она взяла ее в руки и вдруг побледнела. Невидящим взглядом посмотрела на Суэтину и вышла. «Что это с ней?» – подумала Анна Петровна.

– Да и я пойду, засиделась, – крикнула Суэтина вслед Анне Ивановне. И в прихожей добавила: – Замечательные у вас пироги.

– Чем богаты, тем и рады, – улыбнулась Анна Ивановна, но как-то сухо. Устала, должно быть, от колготы.

Остаток вечера и все воскресенье Анна Петровна не находила себе покоя. Все валилось из рук. Единственный выходной прошел насмарку. Ничего не подготовила ни к занятиям, ни по своей научной работе! Хоть бы борщ сварила, так и его не удосужилась сделать! Женька пропал где-то! Хоть бы булку хлеба матери принес! Анна Петровна в раздражении пошла за хлебом. Хлеба тоже не было. В воскресенье вечером так часто бывает, что его не бывает. Пришлось та-

щиться в столовку за тестом: может, осталось? В столовой она столкнулась с Гурьяновым.

– Вы тоже за тестом? – спросила она.

– За чем? Нет, я тут портрет пишу. Одной знатной поварихи, – судя по тембру голоса, портрету предшествовали и другие блюда. – А вот и она.

Из подсобного помещения вышли две толстушки, и одна подхватила Гурьянова под руку.

– Коля! – резанул по сердцу Анны Петровны чужой женский голос.

– До свидания, Анна Петровна! Привет Жене... Сорокину! – крикнул, обернувшись, «скорочлен».

Анна Петровна, забыв о тесте, возвращалась домой. Ей не хотелось идти домой. Ей никуда не хотелось идти. Но куда-то же надо было идти, куда-то же надо было нести себя! Себя, никому не нужную, никому не интересную, никому не желанную!

Что это со мной, опомнилась она на пороге своего дома. Совсем расклеилась. Она поднялась к себе и впервые за многие годы отругала сына зазря – шляется где-то без спросу! Тот забился с книгой в угол и просидел там до ночи.

– Темно, глаза испортишь, – не выдержала Анна Петровна.

Сын вздохнул, отложил книжку, сходил в туалет и, не ужиная, молчком лег спать.

Анна Петровна плакала до утра. Неделя рабочая обещала

быть интересной!

А в понедельник – новости сами летят к кому надо – она все узнала о Николае Федоровиче и широкой его душе. Шура рассказала, лаборантка, словно догадываясь о терзаниях Суэтиной. Лаборантки догадливый народ! Тем более старожилы этих мест.

Что привлекает женщин в творческих натурах? Трудно сказать.

Если типичный мужик, скажем, за день может играючи перекидать сотню мешков с картошкой, перепилить пять кубов леса, а потом за один присест умять поросенка с хреном или гуся с яблоками, опрокинув в себя при этом пару бутылок водки и пять литров пива, тут все понятно без слов. Особенно, если после этого он без лишних слов берется делать то, ради чего делал все предыдущее. Но когда типичный представитель творческих профессий, утомленный самим фактом своего существования, пальцем о палец не стукнувший для дома, вздымает очи горе и начинает сетовать на трудности жизни и на то, что его никто не понимает и никто не жалеет (будто эти никто разные люди), тут впору пожалеть женщину, которой он все это говорит, но... Ради Бога, не вздумайте делать этого! Она, как фурия, вцепится вам в горло. Ибо для нее нет никого красивее и сильнее на свете, чем этот бледный, доедаемый сомнениями и остеохондрозом слабак. Если же мужчина совмещает в себе задатки

и мужика и творца, тут туши свет и поскорей проваливай. Тебе там делать нечего, товарищ! Потому что такое бывает только в древнегреческих мифах и древнерусских былинах, где одни и те же герои с разными фамилиями и все они равноудалены от жизни.

В жизни же таким типичным мужиком (при всем при том типичным представителем творческих профессий) был Николай Федорович Гурьянов, и он знал себе цену, как брильянт чистой воды. Женщины, привыкшие к финтифлюшкам, от Гурьянова краснели и вздымали грудь, и ничего не могли с собой поделать. Удушливая волна (из известных стихов) накрывала их с головой. Играя взорами, они предоставляли себя в его трастовое управление, и он во всех случаях проявил себя выдающимся менеджером.

Обо всем этом и о том, что Николай Федорович ошастливил вниманием не только свою супругу Нину Васильевну, Анна Петровна узнала, увы, задним числом, когда волна накрыла уже и ее, закрутила и ушла, а теперь несла на своих гребнях в купальнике пятьдесят четвертого размера выдающуюся во всех местах повариху республики. Узнала она еще и о том, что практически под каждым женским портретом, включая престарелого проректора Софью Игнатьевну, можно было смело написать «Имя рек любит Колю». Такая вот получалась интересная выставка достижений. А еще (под страшным секретом) Шура поведала, что, оказывается, Настя Анненкова его дочь. Точно, конечно, не известно, но го-

ворят. Лет пятнадцать назад (еще при Дробышевском) такая романтическая история приключилась! Весь институт гудел, как улей.

После этого тревога не покидала Анну Петровну ни на минуту. Хоть миф сочиняй об этой тревоге треклятой и запечатлевой его на полотне в три квадратных метра жизни!

Когда во вторник она встретила Анну Ивановну, та спросила:

– Что же вы не заходите, Анна Петровна? Столько всего осталось с именин!

– Остатками не питаюсь, – поджав губы, произнесла Суэтина.

Когда сердце разбито, все разбито и все равно.

Когда разбито сердце, разбивается и судьба.

8. Кто не учится у жизни, того учит жизнь

Анненкова и Суэтина столкнулись в гастрономе – где еще сталкиваться гражданам, их телам и интересам? В гастрономе граждане сталкиваются, как корабли в порту. Было не разойтись. Криво улыбнулись, поздоровались, даже спросили друг друга про дела. Чего спрашивать про дела – как сажа бела, что у той, что у этой.

– Надо бы объясниться, Анна Ивановна.

– Надо, Анна Петровна.

Дома были дети, да и дома объясняться – хуже, чем сор из избы выгребать, в дом заметать придется. Решили, не откладывая, и объясниться на свежем воздухе. Лучше всего для этих целей подходила «кибитка». «Кибитка» привыкла ко всем отправлениям человеческого духа – в ней и целовались, в ней и затевали всякие коварства.

Во дворе под тремя кленами была беседка (или «кибитка»), где жильцы дома любили отдыхать от служебных и семейных забот. Заботы – такая препротивная материя, из которой впору саван шить. Мужчины и женщины, воспитанные в раздельном обучении, и отдыхали раздельно. Если «кибитку» первыми захватывали мужчины, они до глубокой ночи рубились в домино, играли в шахматы, пили пиво, портвейн, вермут, а женщины в это время довольствовались скамейка-

ми возле своих подъездов, под тополями, и разговор их, понятно, не был столь оживлен, как он бывал, когда плацдарм был в их распоряжении.

В этот вечер «кибитку» захватили мужчины.

– А1-А2, – сказал Баранов с кафедры математики.

Филиппов с кафедры разведения недоуменно посмотрел на него.

– Чего?

– Вон идут. Анна Ивановна – «А1». Анна Петровна – «А2». Ладья и конь.

– Ты ходи-ходи, – сказал «разведенец».

– Семеныч, чует сердце, неспроста сюда идут. Смотри, как несет их!

– Тебе шах.

Соперники склонились над шахматами.

– Шах и мат! – слышалось над их головами.

Шахматисты вздрогнули.

– Все ясно! – воскликнула Анненкова. – Следующая пара!

Анна Ивановна села на скамейку, выдавливая Баранова, тоже довольно широкого в кости. Филиппов встал без намеков. Такого еще под сводами «кибитки» не было. «Выдавленные» мужчины молча покинули беседку и направились по тропинке к четырнадцатому дому.

– Нет, я даже не знаю, что и сказать! – сказал Баранов, с удивлением глядя на Филиппова. Тот, как собака, тряс головой.

– Это форменное безобразие! – воскликнул Баранов, так направив свой возглас, чтобы было слышно на скамейках возле дома и не слышно в «кибитке».

– Да! Да! Да! – послал голос в землю Филиппов.

Скамейки выясняли, влияет или не влияет валерьянка на формирование яичек у подростков, а если влияет, то как. Услышав о безобразии, они заинтересовались. Сумерки стали гуще, но женские глаза светились сквозь них, как девичьи, подогретые предыдущей темой.

– Что? Что там? Что случилось? Хулиганы?

– Хулиганки, – тихо молвил Баранов и, не оборачивая головы, ткнул назад большим пальцем. – Анненкова с Суэтиной.

– Шахматы захватили, – пояснил Филиппов.

– А вы?

– А нас поперли! – сорвался на фальцет Баранов.

– Да как же это? – женщины опешили. У них так не получилось ни разу. Досадно было, что и говорить.

А у двух «захватчиц» состоялся крайне интересный разговор. Дамы, оккупировавшие скамейки возле подъездов, много отдали бы за то, чтобы послушать его, а Баранов с Филипповым в очередной раз подивились бы бабьей глупости. Во всяком случае, три клена, окружавшие «кибитку», перестали даже шевелить листьями и прислушивались к словам, от которых пробирал мороз по коре, как в декабре.

– Анна Ивановна, я решила объясниться с вами.

– Я вас слушаю.

– Нет, это я слушаю вас!

– Очень мило – она слушает...

– Анна Ивановна, не будем о присутствующих говорить в третьем лице.

– Не будем. Тогда уж и ничего дурного. Но и от первого лица я не собираюсь выступать здесь. Мы ведь пришли поговорить друг с другом, а не выслушивать мнения сторон. Слава богу, этого на Ученом совете хватает. Сегодня, как с ума все сошли.

– Олсуфьева сняли?

– Нет еще, но снимут. Так как же? Анна Петровна, инициатива ваша была, – Анна Ивановна взяла в руки белую и черную пешку, протянула Суэтиной белую.

– Ваш ход, сударыня. Вот же черт! Сюда, кажется, идут. Расставляйте свои. Быстрее!

Подошли оторвавшиеся от скамеек дамы, на время позабыв волнующий разговор о подростковых яичках.

– Играете? – сладко протянули они.

– Играем. Вам-то какое дело? – неучтиво бросила Анна Петровна, берясь за любимую фигуру коня. Анна Ивановна окинула подошедших взглядом, в котором отразилось недоумение по поводу столь неосторожных слов мастера Суэтиной.

– Нам – никакого, – менее сладко и менее протяжно ска-

зали дамы, но в голосе их появился металл.

– Вот и топайте отсюда! – по-солдафонски отрезала Суэтина. – Не мешайте игре! Жужжите по своим лавкам!

Возмущенные женщины воскликнули: «Это просто неслыханно!» – и с шумом вернулись на старые позиции.

– Анна Петровна, нельзя же так!

– Ой, достали! Чей ход-то?

– Ваш, – учтиво улыбнулась Анна Ивановна.

Суэтину это задело.

– Вот только не будем эти улыбочки ядовитые строить друг другу. Давайте без дипломатий. Анна Ивановна, я понимаю, тема, сама по себе, деликатная, но ее надо действительно закрыть.

– Можно и не открывать...

– Нет-нет, уже открыли. Рубикон перейден.

– О, головы не полетят? Все, я вся внимание.

– Анна Ивановна, – продолжила звенящим голосом Суэтина (Анненкова невольно подавила в себе иронию, поняв нешуточность намерений Анны Петровны), – мне уже две недели не дает покоя мысль, что вы подозреваете меня в неблагоприятном поступке и осуждаете за это! Поверьте, я далека от всяких интриг и не хотела бы, чтобы меня хоть кто-нибудь превратно понял или истолковал! Тем более, когда живем мы все... живем мы все в таком гадюшнике! – она махнула в сторону скамеек.

Анна Ивановна ошарашенно глядела на Суэтину.

– Анна Петровна, голубушка, да ни сном, ни духом! О чем вы? Какие подозрения и осуждения? Успокойтесь. Я-то думала...

– Что вы думали? – как в блице, среагировала Анна Петровна, наклоном головы и горящими глазами не оставляя Суэтиной время на раздумья. – Вы думали, что у меня с этим... живописцем!.. шуры-муры?! Да? – Анна Петровна закашлялась. – Если я одинокая женщина, то кто вам дал право судить меня по себе?

– Ну, знаете, Анна Петровна, я, кстати, тоже одинокая женщина и неделикатно с вашей стороны говорить мне это. И потом, вам, кто вам дал право говорить со мной таким тоном? И потом, что значит, по себе? Она, видите ли, как жена Юпитера, без подозрений, а мы – сами по себе, вали на нас, что хочешь!

– Кто жена Юпитера? Я жена Юпитера? Да он алкоголик несчастный, Юпитер ваш!

– Ваш, Анна Петровна, ваш!

Далее разговор, к сожалению, потерял всякую логическую нить и перешел на заурядную перепалку, лишённую всякого смысла, коими заполнен земной шар по самую крышку.

Не прощаясь, а в душе распрощавшись на всю оставшуюся жизнь, Анненкова и Суэтина разошлись из «кибитки» в разные стороны. Разошлись, как в море корабли. Анна Петровна пошла к двенадцатому дому, Анна Ивановна к четырнадцатому. И если Анна Петровна прошла мимо своей ска-

мейки быстро и молча, то Анна Ивановна возле своей задержалась и, вздыхая, долго объясняла что-то любопытным варварам, к которым подтянулись с вытянутыми лицами сударушки с прочих скамеек, одинаково жестких, как их судьба.

Шестьдесят второй год был в полном разгаре. Анна Петровна была совершенно выбита из колеи и на время забросила свою диссертацию. Вернее, диссертация забросила ее саму. Ведь нам только кажется, что мы то и дело заняты делом. Это дела занимают нас. Не верите? Зайдите в отдел кадров, там есть и ваше.

Стоило Анне Петровне только подумать о завтрашнем дне, институте, кафедре, занятиях, дипломниках, как тут же начинала чувствовать спицу, проткнувшую ее насквозь от левой лопатки. А если мысль устремлялась к заоблачным далям: обработке всей статистики, конкурсу, защите – спица начинала раскаляться и жечь огнем. Мысли же о судьбе и вовсе делали боль невыносимой. Вся грядущая жизнь оборачивалась в этот момент одной только болью, острой, жгучей, злой.

Так нельзя, так больше нельзя, решила Анна Петровна. На ее счастье сработал инстинкт самосохранения.

Она накапала тридцать капель корвалола в стакан с водой, выпила и, стараясь не делать резких движений, легла в постель. Все замерло в ней, даже негодование, даже злость, которые питали ее уже целый год. Неудивительно, что меня

весь день распирала злоба ко всему на свете, все пустяк, все суета, думала она. Порыв ветра, песок в лицо. Забыть и забытья. Пусть они грызут друг друга, пусть они пожирают сами себя, пусть наслаждаются своим триумфом, пусть это будет их триумф друг над другом – там не будет меня.

А ты, милая, подождешь, обратилась она к своей диссертации. Ничего с тобой не сделается. Не девушка. А то придется ложиться с тобой в могилу. Не надо. Полгодика подождешь... Месячишко-другой...

Анна Петровна избрала, быть может, единственно верную в ее положении тактику – не обсуждать ни с кем свои проблемы, а с «коллегами» молчать, как партизан. Она перестала участвовать во всех мероприятиях кафедры, кроме обязательных, ни с кем не разговаривала, не здоровалась (кроме Харитонова) и по возможности старалась на кафедру не заходить, сразу шла в аудиторию. Раздевалась в гардеробе.

Как ни странно, это возымело действие. Сначала сотрудники кафедры не знали, что и делать от обиды, но и потом ничего не придумали. Надоело, и перестали обращать друг на друга внимание. На Толоконникова нашло просветление: он решил, что в такой вязкой борьбе победа может оказаться не на его стороне, и сходил к ректору. Переговорил с ним о штатном расписании на следующий год, о необходимости отправить в московскую аспирантуру способного Харитонова (договоренность с ВАСХНИЛ есть), двух новых спецкурсах и замене ассистентской строчки на доцентскую. Ректор

дал принципиальное согласие, с оговоркой: там посмотрим, сколько денег дадут.

Анна Петровна через месяц возобновила свою работу над диссертацией. По воскресеньям корпела, не вставая, по шестнадцать часов, а в будние дни посвящала ей любую свободную минуту. Поскольку она решила ни на что не реагировать и ничего не брать в голову, она следовала своему решению, и год для нее пролетел незаметно. Она даже толком не обратила внимание на то, что защитилась (с божьей помощью) Дрямова, а ее саму и Толоконникова переизбрали на новый срок. Когда она осознала произошедшие перемены, только подумала с облегчением: ну, теперь оставят в покое года на четыре. До следующего конкурса. Как раз докторскую защиту! Защиту, «мои хорошие», защиту!

– Анна Петровна, поздравляю вас! – обратился к ней на заседании кафедры заведующий. – Мы тут ходатайствовали, можно сказать. Ваш доклад будет представлен на Всесоюзной конференции в Киеве. Мы очень рады! Поздравляем!

Анна Петровна кивком головы поблагодарила его за поддержку. Должен же кто-то пропускать студентов через свои руки и выпускать в жизнь специалистов! Ведь жизнь рано или поздно учиняет с учителей свой спрос!

В московскую аспирантуру поступил Вадим Сергеевич Харитонов (в «Акомедию» наук, на прощание сказал он). И хотя без его острот на кафедре стало совсем серо, на сердце у Анны Петровны было светло: хороший человек не пропал,

как топляк в реке.

Все, решила для себя Анна Петровна Суэтина, не буду больше загадывать далеко наперед – себе дороже получается. И назад оглядываться тоже больше не буду. Буду ощущать себя в настоящем. А то и впрямь перестаешь понимать, что в жизни настоящее, а что нет.

Правильно, видишь только то, что видишь. Дальнее будущее может и не приблизиться или пройти стороной, как в окне вагона, а даже близкое прошлое уже мертво. Когда перед глазами жизнь, а в спину глядит смерть, это и есть настоящее. Поэтому никогда не надо оглядываться, никогда! Надо идти вперед!

Интермедия (1968 г.)

Запах портрета

Гурьянов любил мать и жалел ее. Она была несчастлива с отцом и всю свою невостребованную любовь изливала на сына. Он был для нее всем, светом в окошке, ее надеждой и гордостью. Успехи в школе, а потом и первые успехи в университете, публикация стихотворений наполняли ее гордостью. Когда она рассказывала своим знакомым о сыне, глаза ее светились непостижимым для многих счастьем, и она выглядела много моложе своих сорока девяти лет и достаточно устойчиво при всем своем неустойчивом состоянии. А с Аглаей Владиславовной они стали лучшими подругами и коротали свои одиночества в беседах о Лешеньке и Лермонтове (у Нины Васильевны Лермонтов незаметно вышел на первое место, потеснив Стефана Цвейга на второе).

Алексей посвятил матери свой первый сборник, написав просто и искренне: «Любимой мамочке». Нина Васильевна весь вечер читала стихи и после каждого глядела на посвящение и плакала. Отец вечером никуда не пошел и раздраженно ходил от телевизора к холодильнику. Алексею даже показалось на мгновение, что будь у телевизора дверка, он и ею бы непрерывно хлопал. Он, наконец, подошел к матери,

прочитал посвящение и хмыкнул:

– Ну, и чем ты так тронута? Надписью или стихами?

– А тебе-то что до этого? – воскликнула мать.

Алексея покоробили и задиристо-раздраженный вид отца, и сам вопрос, и тон, каким он был задан. Раздражение – против чего, против кого? Против него или матери? Или против стихов? Что это с ним? Ревнует, что ли?!

«Что они не разведутся?» – подумал Алексей и пожалел мать: всю жизнь мучается с отцом. Отца ему было совершенно не жалко. Поделом. Сам себе выбрал такую жизнь. Вне семьи так вне семьи. Хотя ему эта жизнь была явно к лицу. Как стал выставляться и писать по дюжине портретов за год, словно лаком покрылся и сбросил лет десять с погрузневших именно в эти годы плеч. Забронзовел, батя, заматерел. Пора табличку на дом вешать. Волосы потемнели. Красит, что ли?

«Не женюсь! Ни за что не женюсь! – поклялся сам себе Алексей. – Лучше женщин оставлять счастливыми, чем делать их несчастными».

У отца с женщинами все так естественно, как дыхание. Вдох-выдох. Познакомились-расстались. Как утренняя гимнастика на ночь. Вальсок крутанул по площадке. И все довольны. Даже мать. А на стенке новый портрет висит. Кистью мазнул, глазом моргнул и – я ваша тетя!

У Алексея, впрочем, то же самое получалось еще проще и естественнее, чем у отца. По молодости, наверное. Да и большая часть жизни отца прошла в других исторических

условиях: война, разруха, нищета... Не тот колер был.

Да-да, Аглая Владиславовна, я раньше начал, кончу ранее... Надо ей свой первый сборник преподнести. Моей первой и единственной учительнице, пожалуй, напишу так.

Внешностью, голосом, глазами, скрытной, но прорывающейся в каждом движении страстностью Алексей был очень похож на отца, и Нина Васильевна со страхом ожидала от него повторения и продолжения «художеств» мужа. Они у него будут еще сильнее, если судить по таланту, который отпустил ему Бог.

Так оно и вышло. Девушки летели на свет поэзии, как безмозглые бабочки, и, как безмозглые бабочки, опаляли свои крылышки или с треском сгорали в его огне. Где этот гигантский костер, в котором пылают все творческие натуры и который, пройдя сквозь них, сжигает заодно и всех окружающих?

Женщинам и особенно особам, не успевшим еще стать ими, нравились не столько стихи Гурьянова, а магия выступления поэта, когда он совершенно преображался на сцене, чуть покачиваясь, словно на волнах времени, своим бархатным голосом нараспев читал свои стихи, читал с таким видом, будто сочинял их тут в зале на глазах слушателей.

В этот момент слова-звуки обретали плоть, наполнялись его дыханием, взмахивали невидимыми крыльями согласно ритму стиха, окрашивались бархатным тембром густого голоса и летели по диагонали зала ввысь, согреваемые мечта-

тельным взором поэта.

Ах, как много женщин мечтало укутаться в их облако, как в воздушную божественную шаль, насладиться своим восторгом и всеобщей завистью!

Выступления Гурьянова имели несомненный успех с первого же его вечера, в который он вполне профессионально заявил о себе, как о незаурядном поэте и чтеце.

Как-то на одном из таких вечеров Гурьянов увидел в зале Аглаю Владиславовну. У него екнуло сердце, как на суде. Он ни разу не видел ее на своих выступлениях. После вечера он раздал автографы и, отбившись от жужжавших барышень, подошел к учительнице, поджидавшей его в фойе. Он поздоровался и молча устремил на нее вопрошающий взгляд. Аглая Владиславовна одобрительно улыбнулась.

– Поздравляю, Леша, ты пользуешься успехом.

– Да, Аглая Владиславовна, – слегка смущаясь от похвалы, произнес Алексей, – мне лучше стали удаваться стихи. Особенно четверостишия и двустишия.

– А за трехстишия страшно братья? Нет, Леша, я не совсем разделяю твой энтузиазм. Краткость, она, разумеется, свойственна таланту, но делает его тоже кратким. Краткость идет или от многой мудрости, или от многой желчи. Извини, в тебе больше второго. Не ко времени, кстати. Молод еще. Ну-ну, не бычься, мудрость еще придет к тебе. Никуда ты не денешься от нее. Если, конечно, не будешь убегать специально. Да сам посуди, хотя бы вот это... Да, проводи меня.

Не надо мне текста, я прекрасно все запомнила. Вот: «Как трудно умному в стране, где дуракам закон не писан, где пишут матом на стене, и где подъезд, и лифт записан». Или эти вот, «детские»: «У тети Оли, тети Риты оба мужа паразиты, а муж у тети Кати паразит в квадрате». Ну, что это? Не спорю, остроумно, но где вершины гор, с которых поэзия не имеет права спускаться? А некоторые рифмы? «От почечуя зад не чую», «У еврея диарея»? Извини, пошло. Ведь у тебя есть и такие строчки: «Ночь настала. День куда-то канул. Я читаю Данте. Дождь идет. Я спокоен. Я никем не стану. Жизнь моя, как этот дождь, пройдет». А? Ведь тут в четырех строчках вся твоя жизнь. Да и не только твоя... Или вот, посвященные Лорке, концовка: «По дороге серебристой еще бродят тени мавров, и на цвет зеленый листьев тучей падают жан-дармы». Тут и Лорка, но тут и ты. Пиши пока нормальные стихи, краткие на памятнике напишут. Вон, поэма о Мэри и Перси Шелли, легкая и задорная! «За столом сидела Мэри, на столе стоял портвейн, в парк открыты были двери, в голове был Франкенштейн». Прелесть, хоть и банально! Но, увы, такого не много. Что ж, на три с плюсом, Алексей, справился.

– Может, все-таки четверочку поставите? – протянул Гурьянов.

Аглая Владиславовна засмеялась, наклонила Гурьянову голову и поцеловала в макушку.

– Тьфу, горько!

– От желчи, Аглая Владиславовна.

Учительница легонько стукнула его по затылку.

– Привет Нине Васильевне. На той неделе не получилось, в субботу обязательно приду. А голос у тебя чудо какое-то!

Гурьянов старший, наслышавшись от жены об успехах сына, пожертвовал своим вечером и пришел на выступление сына. Признаться, он был поражен тем, сколько женских глаз с восторгом смотрит на Алексея. Николай Федорович тут же сделал набросок, а потом в первый раз взялся писать портрет сына. За неделю он справился с ним и принес в институт.

Анна Петровна столкнулась в коридоре сразу с обоими Гурьяновыми, отцом и сыном. Художник, видно, решил похвастать сыну выставкой своих достижений. Суэтина поразилась, как они были похожи друг на друга. Николай Федорович раскланялся с ней и, как девушка в танце, плавно и широко повел рукой:

– Вот, Анна Петровна, мой сын Алексей. Поэт.

– Ну, папа, – по-мальчишески сказал сын и с улыбкой поклонился ей.

У Анны Петровны даже застучало в висках – как он был похож на того Николая Федоровича, который рисовал портрет Жени!

Она никак не могла успокоиться и на занятиях ни с того, ни с сего похвалила последний портрет Гурьянова (хотя и не видела его). Среди студентов оба Гурьянова, как люди

искусства, были достаточно известны.

– Я только что видела его самого с сыном. Удивительно похожи! Как две капли воды!

Настя Анненкова поинтересовалась, где портрет.

– Да сразу, как с лестницы поднимаешься.

Анна Петровна задумалась, ловя ускользающую мысль. А тут и звонок прозвенел...

Настя пошла вдоль стены, скользя взглядом по округло-одутловатым, будто только что из-за стола, лицам портретных современников. Возле лестницы она остановилась возле портрета молодого мужчины (одна голова без плеч и без головного убора, вроде чеширского кота), выгодно отличающегося от прочих выразительностью черт и отсутствием упомянутых плеч. Рядом с портретом стоял мужчина, и против света Настя не видела его лица. Мужчина, не обращая на нее внимания, зашел с другой стороны. Настя перевела взгляд с портрета на мужчину и обратно. Ба, с портрета мужик сошел!

– Похожи как!

Гурьянов-младший был приятно удивлен совпадением его представления о цвете голоса крупной красивой черноглазой девушки с самим цветом. Голос был звучный, грудной, мелодичный.

– Вы поете? – спросил он.

– И пляшу, – ответила девушка.

– Так кто на кого похож?

– Друг на друга.

– Вы имеете в виду меня и портрет?

– Я имею в виду вас и вашего отца.

– А-а, мы в самом деле похожи.

– Так это ваш портрет или автопортрет вашего отца?

Гурьянов озадаченно посмотрел на девушку. Такая мысль не приходила ему в голову, даже когда отец рисовал его семь вечеров подряд. «Так он меня рисовал или во мне, как в зеркале, разглядывал себя?» – подумал Алексей.

– Думаю, это автопортрет, – сказал он.

– Я тоже так думаю, – эта реплика почему-то задела Алексея.

– Да? Почему же?

– В портрете нет чего-то такого, что есть только в вас.

– Интересно, чего ж?

– Мне тоже интересно. Не могу понять. Пока на уровне ощущения. Чувствую... нечто родственное, что ли. Трудно объяснить. Как запах. Яблока, например, или сирени. Как передать словами? Да никак. Пахнет яблоком. Пахнет сиренью. Вот ваш портрет не пахнет...

– Чем же это он не пахнет, чем пахну я? – засмеялся Гурьянов.

Ему на ум пришла пара строк, а записать было нечем.

– У вас есть ручка? Или карандаш?

Настя протянула ему карандаш, который вертела в руке. Гурьянов записал что-то на манжете рубашки. Настя ткнула

пальцем:

– Стирать кто будет?

– История. Так чем же портрет не пахнет, чем пахну я?

– Одеколоном «Шипр». Ой, звонок был, что ли?

– Да уж минут пять.

– Да вы что?! Суета убьет! Заметит, что меня нет...

– Не блистайте своим отсутствием!

– Может, прошвырнемся в киношку? В «Гвардейце» «Земляничная поляна» идет. Там, говорят, покойник из гроба встает. В самом начале.

– Как слово. Да что вы говорите? Прямо из гроба? Покойник? Идем!

После кино Настя потащила поэта к себе домой.

– Мама прическу делает, а мы пока чай попьем. Придет из парикмахерской, познакомлю. Полпирога хватит?

– Маловато будет. Целого нет? Слышь, неудобно как-то. Мы и с тобой-то толком не знакомы, а ты уже с мамой собралась знакомить меня, – они за мороженым в буфете кинотеатра перешли на «ты».

– Да я скажу, что учились вместе.

– В одном классе? – насмешливо сказал Гурьянов. – Тебе сколько лет? Двадцать? А мне двадцать три. Три года, Настя, разделяют нас, но и три года нас соединяют. Кстати, «классную» вашу, Аглаю Владиславовну, видел. На мой вечер приходила. Похвалила.

– А я скажу, что ты три года в одном классе просидел. Из-

за меня.

Анна Ивановна раскладывала пасьянс, грызла печенье и разговаривала с Тимошкой. Сколько сменилось у них собак, все они были бездомные, подобранные на помойках, и все Тимошки. И характер у всех один был, и всеядность. И совершенно дурацкий оптимизм. Все в нас, вздохнула Анна Ивановна. Второй день у нее было высокое давление и болела голова.

– Ну что, Тимошка, печенье, наверное, хочешь?

Глаза вечно голодного Тимошки выражали печаль и недоумение по поводу столь странного вопроса. Хвост прополз по полу пару раз туда-сюда.

– Хочешь? Вижу, что хочешь.

Тимошка для убедительности пустил слюну и нетерпеливо взвизгнул.

– На, на, ненасытный. И сколько же влезает в тебя?

Тимошка протянул хозяйке лапку. В глазах его было: все, что в вазочке, влезет.

– Ты эгоист, Тимошка. Ни разу не оставил мне в своей миске ни крошки, ни разу не спросил, хочу ли и я поесть.

Тимошка согласно пустил слюну до пола.

Открылась без звонка входная дверь и вошла Настя с молодым человеком. Тимошка, оглядываясь на вазочку, побежал к ним. Рядом с Настей молодой человек выглядел даже внушительно, а ведь и Настя не мала. Впечатляет, с непо-

нятным ей самой удовлетворением отметила Анна Ивановна, статен и... какой взгляд, какой взгляд! Бог ты мой!.. Анна Ивановна почувствовала, как заколотилось вдруг сердце. Она приложила руку к груди. Взяла себя в руки.

– Ты дома? – воскликнула Настя.

– Как видишь, дома.

– Я думала, ты в парикмахерской.

Анна Ивановна усмехнулась:

– Мне сейчас только в парикмахерскую идти! Не прошла голова, – она приложила ладонь тыльной стороной к виску. – Опять сто восемьдесят.

– Ма, познакомься, – сказала Настя.

Анна Ивановна с деланно вялой улыбкой встала из-за стола и протянула молодому человеку руку.

– Анна Ивановна Анненкова.

– Да он знает, что ты Анненкова, – засмеялась Настя. – мы же вместе учились!

– Зипунолог Гурьянов Алексей, – произнес тот бархатным баритоном.

Анна Ивановна вдруг повела перед собой ладонью, взмахнула рукой и опустилась на стул – благо он был под ней. Уронила голову на стол и застонала.

– Мама, что с тобой? – воскликнула Настя. – Алексей, помоги.

Они перевели Анну Ивановну на диван и уложили ее.

– Может, «скорую» вызвать?

Анна Ивановна внятно произнесла:

– Не надо... Свет выключите.

Настя укурила мать теплым халатом. На цыпочках они вышли на кухню.

– Что ты сказал? – спросила Настя.

– Я? Когда?

– Что ты маме сказал?

– Да ничего я не успел сказать маме! Представился и все.

– Ты перед этим что-то сказал?

– Перед этим? А, зипунолог, сказал. От слова «зипун».

Курсовик пишу по древнерусским обрядам и фольклористике.

– Да? Странно. Ничего не пойму. Почему она так вот водила ладонью? – Настя медленно водила перед глазами своей ладонью из стороны в сторону и задумчиво смотрела на нее. – Почему? Она явно что-то хотела сказать.

– Не надо ее беспокоить, – сказал Алексей, взял ладонь Насти в свои руки и прижался к ней губами. Настя отняла руку и спрятала ее за спину.

– Не надо, Алексей, – сказала она.

– Называй меня Лешей.

– Что-то ты не так сказал. Не правильно.

– Можно, конечно, и правильно говорить, гекзамером, но...

– Ты иди, я справлюсь одна. Иди. Если что, найдешь меня по расписанию.

Гурьянов блеснул глазами, взмахнул своими кудрями, поклонился и молча вышел.

Настя терялась в догадках. Она могла, конечно, спросить у матери, что все это значит, но сначала хотела разобраться сама. Почему мама так странно (болезненно даже) отреагировала на незнакомого молодого человека. Кстати, очень симпатичного. В дверь он к ней не ломился, в окно не лез. Я представила его, как старинного знакомого. И, на тебе, взять и брякнуться в обморок. Причем не натуральный. Актриса. У актрис хоть роль какая-то, сверхзадача. А тут? Но и брякаться ради пустяка, менять не только планы вечера, но и, может, планы на мою дальнейшую жизнь... Стоп, вот оно где! Планы на мою дальнейшую жизнь. Она, выходит, восприняла мое знакомство с Алексеем, как нечто выходящее за рамки приличий или невозможное по своей сути. Ну, на счет приличий, тут все пристойно до тошноты. А вот невозможное по сути – не знаю... Настя задумалась.

Притворство матери бросилось в глаза, когда она ловко подоткнула немощной рукой халат себе под бок, чтоб не дуло.

– Мама, что это значит? – Настя зажгла свет.

Анна Ивановна приоткрыла один глаз.

– Ушел? – спросила она.

– Ма, ты меня напугала. Что за комедию ты устроила? Как маленькая, ей-богу!

– Ой-ой-ой! Не смейся – я напугала тебя! Тебя напугаешь!

Настя была втайне польщена такой оценкой, но продолжала допытываться у матери о причине ее столь странного поведения.

– В кои веки привела кавалера, старинного знакомого, а она бряк в обморок. Как в пьесе. В драмтеатре конкурс объявили. Иди...

– Брось врать-то: старинного знакомого! Где подцепила его, старинного знакомого, в какой такой библиотеке? По его холеной физиономии видно, что он сто лет как дорогу туда забыл. Когда познакомились-то? Неделю, две назад? – в голосе ее за небрежностью слышалась настороженность.

– Сегодня. В институте.

– Поздравляю, – облегченно вздохнула мать. – Гора с плеч.

– Какая гора?

– Большая. Тебе не разглядеть. Дай-ка цитрамон. Третью пью, не помогает.

– Раз не помогает, зачем пьешь?

– Ты поможешь? Воды принеси.

Она знает его. Она знает Гурьянова. Откуда? Или... Или она знает его отца? Его отца... Ну и что?..

Настя во сне открыла глаза и увидела, как перед ними раскачивается, как маятник, ладонь матери, туда-сюда, туда-сюда, и никак нельзя было ее остановить и от нее избавиться. Мало того, под утро она стала раскачиваться под слова: Гурь-

янов... Гурь-янов... Гурь-янов...

С детства Настя видела сны и привыкла, что все они так или иначе у нее сбываются.

Акт 2. «Три товарища» (1970—1978 гг.)

1. Такая радостная встреча, что искры сыплются из глаз

С молодости (особенно до женитьбы) Дерюгин был доволен всем в жизни. Всё хоккей, говорил он. Жил он в своем доме на берегу Нежи, и река была одним из слагаемых его довольства. Не говоря уже о микроклимате, включавшем, разумеется, сам вид водного бассейна и всегда свежий воздух. Река давала Дерюгину рыбу, раков, выгул и выпас трех десятков гусей и уток, камыш и прутья для корзин на продажу, в половодье лес для строительства и отопления и всякую другую дрянь.

День с самого утра выдался на редкость удачным. Еще до первого рейса – трепался о том о сем с кассиршей Тоськой, подходит Емельчук, сторож, вынимает из сумки щенка колли.

– Толян, дарю! – говорит. – Топить жалко. Красивый.

И впрямь – загляденье! Дерюгин любил эту породу собак. У него уже были две. И он любил рассказывать всем своим знакомым, какие красивые это были собаки, какая густая и

пышная у них шерсть. Он и сейчас повторился:

– Замечательные были собаки. Когда умирали, чего-то не прижились, через год померли одна за другой, я из них шапки делал – очень хорошие получались шапки, пышные и красивые. А этого я Артуром назову. Редкое собачье имя!

Где-то он услышал это имя, и оно ему понравилось. Вырастет Артур, опять будет в доме собака, думал он, и на сердце его становилось тепло.

Кассир Смирнова воскликнула:

– Да как же ты мог из собаки сделать шапку!

Дерюгин посмотрел на Тоську и не понял вопроса, но на всякий случай сказал:

– Шапка-то получилась не абы как, красивая вышла шапка! Я вон ее до сих пор ношу, а вторую племяшу дарил – отказался, а зря. Артура буду в ней воспитывать. Должна понравиться – собачья шерсть, родня какая никакая.

После ужина Дерюгин вышел покурить перед сном. Полоска заката на глазах превратилась в полосу. Дерюгин сидел на скамейке у ворот и курил, сплевывая в специально сделанное для этого дела углубление слева от скамейки, скрытое от посторонних глаз выдвигающейся крышечкой. Уже стемнело, но река была еще достаточно светлой. Вдалеке темнели какие-то пятна. Дерюгин сплюнул пару раз и обратил внимание на то, что пятна вроде как переместились слева направо, то есть по течению реки. Никак, плывут, заключил он. И мысль тут же подвигла на дело. Он отвязал лодку и по-

плыл к темным пятнам. Это оказались шпалы. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – воскликнул он. Удача-то какая, и сколько их тут. В аккурат на баньку плывут. Откуда такие? Он быстро стал цеплять шпалы и буксировать их к берегу. Уже совсем стемнело, когда он справился с этим делом. Двадцать пять шпал – такой был подарок вечера. Дерюгин перетаскал их за домик и, уставший, но довольный, сел покурить. Ну, подфартило! Возле ног лежали три шпалы, которые он выловил еще по весне. Они проросли травой, засыпались песком, надо будет ломиком завтра поддеть, подумал он. Хорошо, выходной. От реки доносились звуки жизни. Кто-то плывал на лодке, скрипел уключинами и, похоже, был чем-то недоволен. Во всяком случае, ругался. Кто бы это мог быть, заинтересовался Дерюгин, и прикурил новую папироску от первой. Минут десять еще скрипели уключины, плескала вода, ругался невидимый голос, потом из мглы нарисовалась тень. Пристала лодка, тень подошла к Дерюгину и спросила мужским голосом, тем, что выражал недовольство:

– Не видал тут кого-нибудь, кто таскал шпалы на берег?

Дерюгин даже уронил потухшую папироску на землю.

– Нет, – сказал он, – не видал. Вот лежат три шпалы, так они еще с весны тут лежат.

– Вот же паразиты! – в сердцах сказал ночной голос. – Я с баржи возле излучины шпалы поскидал. То-се, нет шпал! Сказали, кто-то кружил по реке в этом месте с полчаса назад. Не видал?

– Да нет же, только что с работы пришел, – сказал Дерюгин. – Закурить еще не успел. Будешь?

Тень ушла, слилась с тенью лодки, а потом эти слившиеся тени слились и с рекой. Хороший выдался вечер. Сразу на половину баньки шпал хватит! Хоккей!

И надо же, после такой везухи пошла полоса неудач, связанная с женой Зинаидой. У Дерюгина как какая неудача – обязательно от Зинки! Прямо магнитные силовые линии, то засасывают, то отталкивают. На следующий день в десять вечера приперлась какая-то девица. Вчера забыла, мать ее, диплом в его автобусе, а он, нет, чтоб пройти мимо, заметил его и забрал с собой, о чем доложил диспетчеру. Разумеется, девица его нашла, и нашла именно в тот момент, когда он, в свой единственный выходной день, совпавший с воскресеньем, после плотного ужина расположился с Зинаидой на тахте. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – сказал он, встал и отдал студентке диплом. Девица сказала, что уже поздно, не проводит ли он ее до транспорта, а то тут дикие (!) места. Пришлось проводить. Транспорта не было минут сорок. Зинаида устроила, понятно, сцену, после которой на тахту уже не тянуло. Что тоже имело свои последствия.

В понедельник, также на ночь глядя, Зинка при стечении соседей закатила ему форменную истерику по ничем не обоснованному подозрению в супружеской измене с соседкой Валькой, якобы случившейся в реке. Ну, были они в ре-

ке! Пляжик тут от дома неподалеку, мысок, кустики, протока. После работы пошел помыться. Валька там. Ну, побегали, побрызгали друг на друга водой. Ну, задел пару раз за задницу. Так там мудрено не задеть. Откуда ни зайдешь – всюду она. Подумаешь, нежности! На пляже – что делать еще? Что, по жопе хлопнуть – измена?! Принесло же Зинку именно в этот момент! И вообще, при чем тут река? Что, если не вмоготу изменить, на реку переться?

Во вторник того хуже. С утра не встала и не накормила. Попил чайку без всего. Пряник, мышами не догрызенный, специально, наверное, в блюде оставила! С утра то свеча, то зеркальце. Да еще без обеда – колесо, так его растак, менял! Дерюгин трясся от возбуждения, возведенного обстоятельствами в куб. Куб, как известно, символ бесконечности. Чтобы успокоиться, он курил одну папироску за другой. Баранку еще крутить и крутить. На остановке была толпа. Нехай ждут! Еще шесть минут. Отдохнули на дачках? Теперь ждите! Для гармонии чувств. Ишь, елозят от нетерпения. Елозьте-елозьте. Дерюгин вылез из автобуса, обошел его, постучал ногой по шинам. Скорей бы этот чертов институт кончить да куда на завод пойти. Осточертела шоферская дерготня! Покурил, выглядывая в толпе знакомых. Знакомых не было. Пора, кажется... А это что за Дрон! Дрон-выпендрон! В сторонке стоит (гордый!), сигаретки смолит. Болгарские, кажется. Ну, смоли-смоли...

Дерюгин подогнал автобус к остановке. После обычной давки все влезли в «салон» и разместились на креслах и в проходе. Заработал двигатель. «Дрон» последним заскочил на подножку, на ходу сделав еще несколько быстрых затяжек. В дверях обернулся, бросил сигарету и плюнул ей вслед. Сигарета попала в левый глаз, а плевок в правый глаз парню в спортивной кепке, возникшему в дверях. Парень, понятно, озверел. «Дрон» выставил руки и не пускал его в автобус. Несколько секунд борьба шла с переменным успехом. «Кепка» то заскакивал на подножку, то соскакивал и, держась за поручень, бежал рядом. Дверь захлопнулась – в тот самый момент, когда «кепка» был на улице, а «Дрон» в автобусе. Правда, в автобусе он был не весь: его голова торчала снаружи, а руки, просунутые в дверь, спасали шею. Автобус набирал скорость, а рядом с ним бежал «кепка» и бил «Дрона» по лицу. Дерюгин не без интереса наблюдал за этим и – ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – въехал в бетонный столб по правую руку.

Люди в «салоне» посыпались на пол и друг на друга. Двери раскрылись. «Дрон», пошатываясь, спустился на землю. Он крутил головой и тер себе шею. Дерюгин выскочил из кабины и с кулаками кинулся на «кепку». Но, сообразив, что «Дрон» помят, а «кепка» просто оплеван, сменил направление главного удара и в сердцах отвесил «Дрону» такую оплеуху, что того кинуло на столб.

– Безобразие! – сказали граждане. – Напьются с утра!

В участке все трое поостыли. Не сговариваясь, хором ска-

зали, что вышло явное недоразумение. Мол, думали так, а вышло этак.

– Говорить по очереди, – прервали их. – Вопросов не задавать. Друг от друга отойти.

Как пятиклассники, они повторили: так-этак, так-этак, так-этак. Дурацкий, мол, случай, и никаких претензий друг к другу не имеют – боже упаси! «Дрон» с «кепкой», затаив дыхание, наблюдали, как тестировали водителя. О-ох, свеж! Расписались и отпустили.

– Так ты Гурьянов? – спросил «кепка» «Дрона» на улице. – А я Суэтин. Из десятого «Г» в прошлом, параллельно учились.

– О! Встреча! Сколько лет-то прошло? – воскликнул «Дрон» Гурьянов.

– Уже интересно, – сказал Дерюгин. – И чего ж вы тогда плевались и рожи друг другу царапали, а мне бампер помяли?

– Да учились мы в одной школе! – воскликнули оба. – В разных классах, правда, но в один год выпускались.

Благополучно завершившийся день (если не считать двух царапин на лице, помятой шеи и синяка под глазом Гурьянова) они отметили у Дерюгина в гараже. Накупили выпивки, закуски побольше и расположились отдыхать. Все было по уму и, главное – никаких баб!

– Ты где? – спросил Гурьянов.

– На «Нежмаше», в газодинамической лаборатории, – от-

ветил Суэтин. – В прошлом году из Москвы приехал.

– Совсем, что ли?

– Да, совсем.

– Чего так?

– А-а, тут отдельный разговор. От дивергенции ротора перешел просто к роторам. А ты вроде как филфак кончал?

– Да, конвергенцией языков интересуюсь. Сам в свободном полете. Стишатами балуюсь. Вот, третья брошю-юрка на днях выходит.

– Не бросил, стало быть?

– Мне теперь без тропов и апострофов жизни нет. Синекдоха какая-то.

Дерюгин не выдержал:

– Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! Ребята, не надо ля-ля! Чего вы тут пороли сейчас? А? Давай по-простому, по-нашенски! Я сам, правда, на третьем заочном учусь. Но тяжело как-то, когда бу-бу. Давай без интервенций!

– Давай! – тут же согласились ребята. – Извини, больше не будем.

– А я вообще-то классный механик! – сказал Дерюгин, и «кепка» с «Дроном» подняли стаканы за его «Дерюгу», собранную из остатков «Москвича» и всякой рухляди...

Когда Дерюгин в четвертом часу утра добрался до дома, где его уже часа три поджидала супруга, первое, что он сказал ей, пока та не успела раскрыть рта:

– У меня, Зинаида, теперь есть по гроб жизни два коре-

фана, у нас с ними полный хоккей, и ты меня Валькой своей застиранной больше не компрометируй и не доставай! Никаких больше интервенций! С конвергенциями, – вдруг вспомнил он. – Заднице ее еще надо подрасти, ё-пэ-рэ-сэ-тэ!

В сказках жизнь складывается так, что рано или поздно она подходит к столбу, от которого дальше ведут три дороги в разные стороны, и на каждой из дорог хуже некуда, а в самой жизни, как в сказке, бывает так, что к столбу с разных сторон подходят три разные жизни и дальше идут одной общей дорогой. И все у них путём. Бывает такое.

По гаражам стоят такие упоительные российские вечера!

2. У «задохликов» с «болтунами» нет будущего

После третьего курса Настя устроилась на полставки рабочею в учхоз. Проработала лето, а когда начались занятия, все свободное время пропадала там. За это ей ежемесячно платили вначале пятнадцать, а потом двадцать пять рублей. Из них рублей пять уходило на один только транспорт.

Маточное стадо уток насчитывало полторы тысячи голов. «На мясо» выращивалось еще сорок тысяч утят. Век утиный короток, а потому каждый день начинался у них с еды и заканчивался едой. Собственно, как театр начинается с вешалки, так и птицеферма начинается с развешивания кормов.

Все лето Настя была «на кормах». Конечно, ей больше нравилось возиться с утками не в длинных низких помещениях, где от крика закладывало уши, а на водном выгуле, огороженном металлической сеткой. На берегу пруда стояли огромные чаны, в которых готовилась «мешанка», и надо было постоянно что-то таскать, взвешивать, мешать, раскладывать, разносить... Утки были страшно прожорливы (чуть-чуть – и съели бы Советский Союз, как когда-то овцы съели Англию) и каждый день, понятно, требовали свое в громадных количествах. Им, в меру своих сил, помогали еще и воробьи. Тьма их выводилась в застрехах утятника, и все они были сколочены в плотные дружные стайки. Насте нра-

вились воробышки, и она махала на них рукой любя.

За двукратным кормлением птицы влажной «мешанкой» и раздачей зерна утром и на ночь у самой Насти иногда за день макового зернышка не попадало в рот. Одно утешало, что человеку жир менее полезен, чем утке – будь она с яблоками или в том же «бялеше». Мама так вкусно готовит это татарское блюдо! Тесто пропитывается жиром, корочка сочная, хрустящая, а прожаренная начинка из картошки, лука и кусков утки так и тает во рту! Косточки – и те как сахарные! Как есть хочется! А эти – обжоры несчастные!

Утиный рацион был королевский – от витаминов до рыбьего жира. Будто уток готовили не с яблоками, а в палату лордов.

Символически птичнику ближе всего подошли бы песочные часы – сверху глотка, снизу клоака. Впрочем, как и всему остальному человечеству. Как все пройдет насквозь, так и время твое закончится.

Зимой работать приходилось в помещении, и тут мешки и ящики не надо было уже возить и таскать на такие расстояния. За год Настя перелопатила сотни тонн кормов и выкормила десятки тонн жирного утиного мяса. Да и утки охотно шли ей навстречу и старались каждая на своем месте съесть как можно больше, чтобы своим привесом порадовать страну.

Прилежание и трудолюбие студентки не осталось без вни-

мания и со стороны людей. Когда в учхоз приехал заведующий кафедрой частной зоотехнии, профессор Толоконников, ему хорошо отозвались о студентке Анненковой. Толоконников поговорил с ней (он помнил ее по занятиям) и оформил ее на кафедру лаборанткой. Григорий Федорович с дальним прицелом делал это: со временем в кафедру надо было вливать свежую кровь. Ему уже давно приглянулась эта умненькая и, по всему, настырная девушка. Да и мать у нее, того и гляди, в «номенклатуру» заберут.

С осени, на пятом курсе, Настя занялась лаборантской работой. Она приходила на кафедру первая и покидала ее последней. В свободное время она изучала методические пособия, специальную литературу, читала курсовики, дипломные работы, авторефераты диссертаций. Такой энтузиазм, разумеется, вызывал некоторое неудовольствие у старого лаборантского состава, но открыто его никто не выражал. Ничего, год потерпеть можно – да и самим меньше работы: посуда вон вся чистая, блестит! Диплом защитит, а совхоз быстро ее уму-разуму научит!

Григорий Федорович как-то в середине ноября задержался на кафедре, усадил напротив себя Настю и стал объяснять, чем ей предстоит заняться, какую литературу почитать и какие методики освоить.

– А я уже, Григорий Федорович, все это прочитала и освоила.

– Да не может того быть! Когда?

– Да ведь два месяца уже прошло...

– Да? Ну-ка, ну-ка, покажите, как вы меряете, скажем, сопротивление разрыву подскорлупной оболочки?

Показала.

– А, скажем, раздавливанию?

Тоже показала.

– Что, и...

И это показала!

А когда Настя произнесла слова «стандартная методика Когана-Бергмана», неведомые старшей лаборантке Садыковой, профессор, как говорится, и вовсе «отпал».

– Я и биохимию освоила! – не удержалась Настя. Она покраснела, глаза ее горели восторгом.

– Умница! – не удержался и профессор. – Настя, вы уникал! Первый раз такое встречаю! Когда вы успели освоить все это?

– У меня же, Григорий Федорович, целых два месяца было!

– Хорошо, продолжайте в таком же духе. Два месяца! За два месяца иные два раза не почешутся. Я вам завтра дам список литературы. Диплом будете делать у меня, на базе Черноярской инкубационно-племенной станции, инкубатора, одним словом. Знаете, что это такое? Вы все знаете. Займемся благородным делом – выведением утят. Женское, кстати, дело! А нормально пойдет, курами займемся. Бройлерами. Это потом.

Насте стало страшно любопытно, что означало это «потом», но она сдержала себя и согласилась:

– Хорошо – потом!

Толоконников засмеялся. В отличном расположении духа он проводил девушку до ее дома, помахал по-приятельски рукой и, насвистывая, отправился к себе. Он тоже жил неподалеку от института.

Женское дело, выведение утят, было благородно во всем, кроме запахов.

В инкубаторе стояла страшная вонь от протухших неоплодотворенных яиц – их называли по-простому «болтунами», от яиц с «кровавым кольцом», от так называемых «задохликов», от замерших эмбрионов. О жаре в инкубаторе как-то даже не думалось, но вонь Настю здорово доставала. Недели полторы она перемогала себя и свою природную брезгливость к неприятным запахам. Но когда занялась изучением связи морфологических особенностей утиных яиц с их инкубационным качеством и с головой ушла в измерения и анализы с утиными яйцами и эмбрионами, во взвешивания, подсчеты, описания и другие операции, она вонь перестала чувствовать. Вонь осталась снаружи, а мысли ее были ясными и свежими, как горный воздух, как мысли всякого молодого талантливую ученого, занятого только лишь поиском истины. Уже через три месяца Настя обратила внимание на то, что больше всего замерших эмбрионов и «задохликов»

оказывается в яйцах, имеющих удлиненную эллипсоидальную и удлиненную яйцевидную заостренность концов. Толоконникова заинтересовала эта особенность.

– Вот уже готов и диплом, – сказал он, проглядывая данные и подставляя в полученную Настей формулу какие-то одному ему ведомые значения.

– Как готов? Я еще к нему не приступала.

– А вот так и готов. Думаю, многие аспиранты были бы счастливы получить такой результат. Вы, Настя, еще так не искушены в жизни!

– Это плохо? – серьезно спросила Настя.

– Не знаю. Наверное, хорошо. Нет, это удивительно!

– Что? – встревожилась Настя.

– Все точки ложатся на кривую. У вас легкая рука.

– Вы еще говорили: светлая голова, – засмеялась девушка.

– И светлая голова, – профессор задумчиво глядел на дипломницу. Сколько их было у него: студенток, дипломниц, аспиранток – а вспомнить некого! Вот уж верно: понятливу девку недолго учить. По аналогии с «задохликами» и «болтунами», все они поделались в его памяти на две категории отходов, а ученый так ни один и не вывелся!

– У «задохликов» с «болтунами» нет будущего! – как бы сделав открытие, произнес он.

Настя засмеялась. На нее падал свет настольной лампы. У нее были красивые черные глаза и правильные черты лица. Профессор невольно обратил внимание на ее руки, лежащие

на столе без движения. Он раньше не обращал на них внимания – они были у Насти вечно заняты какой-то работой. Руки ее были несколько полные, имели красивую форму, а кожа была удивительно чистая и упругая. Как пленка у яиц, подумал Толоконников.

– Да какое же у них будущее? – поддержала профессора Настя. – Будущее за нормальной полуэллипсоидальной формой!

– Умница.

Толоконников не мог оторвать от девушки глаз и уже на уровне разума, а не случайных проблесков чувственности, сказал сам себе: да, Настя – истинная красавица, кровь с молоком! Все при ней: и ум, и краса, и стать – бывает же такое! А ты, старый пень, ничего другого сказать не можешь, кроме как: «Приготовьте, пожалуйста, биометрические показатели формы и размера яиц пекинских уток – для нормальной формы». Да таких биометрических показателей у самых первых красавиц Москвы и Ленинграда не сыскать! Да с ней только в «Славянском базаре» гулять да с Эйфелевой башни смотреть на Париж! Эх, Гриша, Гриша! Несла баба на базар корзину с яйцами да размечталась!..

Толоконников улыбнулся. Настя заметила это.

– Вспомнили что-нибудь смешное? – по-детски непосредственно вырвалось у нее.

– Очень!

3. Развитие взаимоотношений

После института Анненкову оставили на кафедре, и она стала готовиться к поступлению в аспирантуру к профессору Толоконникову. Настя с блеском защитила дипломную работу. Председатель квалификационной комиссии назвал ее «феерической». За полгода она опубликовала статью в трудах Нежинского СХИ и выступила с весьма содержательным докладом на ежегодной конференции по итогам научно-исследовательской работы. Толоконников на заседании кафедры поставил ее в пример двум своим аспирантам, и у него вырвалось:

– Интересно будет, кто из вас защитится вперед – вы или она?

Стране нужна была птица. Разумеется, домашняя. В живом виде «яичная» да еще та, что на ВДНХ, а в «убойном» вся прочая «мясная», и чем больше, тем лучше. С каждым годом птичьего мяса требовалось все больше и больше, а его становилось все меньше и меньше, будто его пожирала некая социальная раковая опухоль. В те годы много говорили и писали о бройлерах, как некоей панацее от всемирного голода. За рубежом бройлеры произвели сенсацию, с ними начался продовольственный бум. Еще бы: привес по килограмму в месяц!

Толоконников, как и обещал, отдал Анненковой заветный

сектор своих личных пристрастий и интересов. Тем более, на него нужны были силы и запал.

Едва Настя сдала экзамены и ее приняли в аспирантуру, она с ходу занялась проблемой бройлерства. Она знала о ней от Григория Федоровича. Но когда Анненкова ближе познакомилась с достижениями мирового птицеводства, они поразили ее. «Что же это мы занимаемся вчерашним днем?» – подумала она.

Два-три раза в год Анненкова ездила в Москву на ВДНХ, в Ленинку и в Загорский институт птицеводства. На ВДНХ Настя изучала плакаты, планшеты, проспекты, осматривала стены и закоулки павильонов, аккуратно переписывала заинтересовавшую ее информацию в тетрадочку. На Анненкову стали коситься в павильоне, как на ненормальную. Раз даже подошел мужчина в сером костюме, вежливо пригласил ее в служебную комнату и попросил показать документы. Потом с улыбкой извинился за доставленное ей беспокойство.

В Ленинке по письму Нежинского СХИ Анненковой выписали пропуск в научный и диссертационный залы, и она неделями сидела там безвылазно, с досадой отвлекаясь на буфет или пирожковую. В десятом часу вечера выходила на свежий воздух, ошалевшая и радостная от новых фактов и мыслей. Когда Настя возвращалась поездом в Нежинск, она вспомнила вдруг, что молодой человек Вася, который сидел в диссертационном зале за соседним столиком, собирался проводить ее на вокзал, а она совсем забыла о нем!

Григорий Федорович любил говорить с Настей не только на научные темы. Затрагивал он и «высшие» материи, в частности, литературу и искусство.

– Если Союз писателей направить на птицефермы, – говорил он, – хотя бы одно только его поэтическое отделение – сколько же не будет написано стихов! Какая будет экономия бумаги, краски, клея, критических статей, труда наборщиков, читательского терпения! Сколько бессонных ночей, отданных музам, будет отдано сну. Сколько женщин обретут свое земное счастье! Сколько будет не выпито водки на презентациях сборников стихов и насколько здоровее станет нация! Не будет ни диссидентов, ни лауреатов, ни домов творчества, ни съездов, не будет долгих зимних запойных ночей и полураздетой девы на подоконнике при полной луне, не будет тени Пегаса на горизонте и стакана с хорошим крепким вином, а лучше, с водкой в руке. Не будет раздвоения сознания, бреда и шизофрении. Не будет в момент пробуждения от сна шустрых слов, разбегающихся из сознания, как тараканы с кухонного стола. Ничего не будет! И ты знаешь, Настюша, с тобой я пересмотрел даже свой взгляд на женщин и на все, что с ними связано.

– А с ними все связано, – вырвалось у Насти.

Григорий Федорович молодился, но Настя знала, что значит запустить козла в огород. У руководителя глаза блестели, как новые. Хотелось, хотелось Григорию Федоровичу тай-

ком от суровой супруги Натальи Васильевны, а еще пуще от ярой блюстительницы нравов доцента Дрямовой, найти в аспирантке Настеньке не только преданного ученика, но и благодарную ученицу. Но никак не получалось у него с подходом. Не пристать большой барже к небольшому, хоть и заветному причалу! Не половить в тихом омуте на спиннинг чертей. Что ж тут поделаешь: большие суда должны идти фарватером, а не сворачивать налево к заливным лугам.

– Засиделись мы тут с вами сегодня! Что-то мне захотелось, Григорий Федорович, холодного поросенка с хреном, а? Люблю резать его тупым ножом! А то еще сациви из осетрины. Сациви, Григорий Федорович, это и соус, и сама рыба. Они готовятся отдельно, как жених с невестой. На одной плите варится из осетра бульон, на другой в оливковом масле жарится осетр. Хотя это, я гляжу, явно не для мужского уха.

– Это явно для мужского желудка, – проглотил слюну Григорий Федорович. – Особенно в восемнадцать тридцать. Ну, и кто ж тут жених, а кто невеста – среди сациви и осетра?

– Как скажете, Григорий Федорович, так и будет. Вы же, в конце концов, мой научный руководитель или я ваша?

Научный руководитель было протянул руки к своей аспирантке, но та решительно пресекла старческие поползновения.

– Григорий Федорыч! Григорий Фе-едорыч! Ай-я-яй... Что о нас подумают люди?

Какие люди, какие люди?! У профессора тряслись руки, и

не только от старости и употребленного в прошлом алкоголя, но и от грядущих сказочных утех.

Утех, увы, не последовало.

– Договоримся, Григорий Федорыч, на берегу. На котором на нас глядит из окна Наталья Васильевна. Вон она.

– Где? – испуганно отпрянул от аспирантки научный руководитель.

– Вот и я о том же. Когда она перестанет пугать вас своим умозрительным присутствием, тогда и поговорим. А пока обсудим выводы.

Когда перестанет пугать, тогда будет уже поздно о чем-либо говорить, подумал старый профессор. Каждый день на счету!

Вот так однажды строгая Наталья Васильевна и бдительная Вера Павловна чуть не потеряли Григория Федоровича, хотя потерю его, как супруга и высокоморального руководителя коллектива, они бы вряд ли почувствовали, так как давно перестали обращать внимание на такие пустяки. А забота о старости, что ж, она всегда была в почете. Пусть девочка покормит проголодавшегося дедушку сациви из осетрины и обещаниями из жар-птицы.

Впрочем, для Настиной диссертации это имело несомненно положительный народнохозяйственный эффект, так как нерастраченная энергия руководителя позволила сцементировать выводы.

4. Защита – лучшее средство от нападения бедности

Защиты диссертаций проходили в зале заседаний Ученого совета, который располагался в модернизированной пристройке к административному корпусу сельхозинститута. Издали сочетание огромных стекол пристройки с крепостными валами старого здания несколько резало глаз, но осознание того факта, что архитектура – это застывшая музыка, потом этот же глаз и успокаивало.

В зал заседаний можно было войти либо, как триумфатору, центральным входом, завешанным красным плюшем, для чего надо было обогнуть здание по улице и подняться по мраморной лестнице с дубовыми перилами на второй этаж, либо, как своему человеку, более коротким путем прямо из предбанника ректора через уютную потайную комнатку. Из комнатки сквозняком можно было попасть в зал заседаний, а если с поворотом на девяносто градусов – в банкетный зал. Банкетный зал, в свою очередь, имел прямое сообщение с залом заседаний по закону сообщающихся сосудов: чем больше воды было в заде заседаний, тем больше пили в банкетном.

Члены Ученого совета, оппоненты и научный руководитель диссертанта, как свои люди, из административного корпуса попадали в зал заседаний коротким путем, путем ректо-

рата. За потайной комнатой закрепилось название «Сезам». Стоило легонько стукнуть в драпировку на дверце, сказать: «Сезам, отворись!» – и «Сезам» отворился. Появлялся импозантный мужчина, распорядитель банкетов и прочих торжеств. Фамилия его была Живчик и когда-то, говорят, она соответствовала его темпераменту. За многие годы, отданные церемониям, Живчик обрел осанистость и несмываемую никакими невзгодами улыбку на лице. Никто из научной элиты толком не знал его имени и все обращались к нему либо «Вс-вс-вс...», либо «А! хм, н-да, ович!», либо просто по созвучию: «Голубчик!» К слову, звали его Василий Александрович. Словом, он был то, что надо. Старался все эти годы на совесть. С его совести И.Е. Репин вполне мог бы написать картину маслом, размером в полстены «Сезама», под названием «Апогей заседаний Ученого совета СХИ».

В банкетном зале, разумеется, все располагало к радости. Выпивка и закуска, понятно, шли за счет «подзащитного», сервировка и атмосфера творились Живчиком. Бутылок на столах не полагалось. Буылки Живчиком отвергались. На бутылках может быть пыль, микробы. Без дегустации в них самих может оказаться подделка или суррогат, не говоря уж о всяких неожиданностях: джиннах, записках, жемчужинах. Буылки – это порождение плебса, а в этом зале, что вы, были только аристократы духа! Поэтому никаких бутылок! Никаких! Разве что сразу же после защиты – шампанское. Из ведерок со льдом. Только так, настоял некогда Живчик. И

ректор его одобрил.

На столиках в хрустальных графинчиках маслянисто поблескивал ликер, терялся на фоне мебели из натурального дерева, но угадывался коньяк, водка застыла академически холодно и строго. Вкусы были учтены все. Тут же в кувшинах стояли соки и воды, напитки и морсы. Краснела клюква, присыпанная сахарком. В бочоночке таилась моченая брусника. На блюдах в разноцветной теплой гамме лежали нарезанные, свернутые крест-накрест и в трубочку круглые, овальные и квадратные куски завяленного и прокопченного мяса. Впечатляли с морковными цветочками и веточками свежей петрушки заливные пласты языков и студня. На отдельном, похожем на шахматный, столике лежали бутерброды с красной икрой и, отдельно, с черной. В более прохладной гамме тускло отсвечивали рыбные блюда. В центре стола, как бы в назидание теме нынешней диссертации (мол, вот какое можно при желании приготовить блюдо!), в крохотных глиняных горшочках поджидал почитателей изысканной и благородной пищи нежнейший жульен из птиц. Ученые еще до защиты имели возможность из «Сезама» увидеть в полуоткрытую дверь накрытые столы банкетного зала и уронить первую слюну. Слюну хорошо ронять в банкетных залах – она не долетает до пола. Плохо в студенческих столовых – можно поскользнуться.

В «Сезаме» было скромнее, но скромность в предвкушении скоромного это такая мина! В таких же графинчиках

был тот же ликер, коньяк, водка, а из закусок лишь яблоки да бутерброды с икрой. Из представленных напитков прежде других в глаза бросалась водка. Водка – это академизм. Кстати, в магазине неподалеку под вывеской «Элитные напитки» в самом центре витрины располагались именно русские водки. Сразу было видно, что расставляла их родная рука.

Успокоив взглядом графиню с ликером и коньяком – мол, все еще впереди, разлили водочку, опрокинули и тут же руки потянулись к черной икорке. Это уже инстинкт. Обсудили, весело глядя друг на друга, тот удивительный факт, что у такой белой осетрины такая черная икра и, поскольку дам в «Сезаме» не было, что у дам бывает такое же.

Надо отметить, все присутствующие были люди ученые, и в зал заседаний добрая половина из них шла, предварительно тяпнув по рюмке-другой из своих закровов. Все-таки налегать на горячительные напитки до защиты был моветон, бросалось в глаза, а пропустить в «Сезаме» хоть и по пузатой рюмке, согласитесь, было маловато. Все-таки в зале заседаний предстояло сидеть часа три-четыре, а то и все восемь, и слушать, кто на что горазд. И не просто слушать, а еще и задавать вопросы, выносить решение и, главное, не испортить себе последующий банкет долгим и скучным ожиданием. Эти предварительные две-три рюмочки были совершенно как два-три полешка в печурке с изразцами морозным вечером на зимней даче (у кого она есть). Покой в душе и тепло в желудке гармонировали с ясностью мысли.

Путь к сердцу оппонента – известный путь. Оппонент (к слову, не каждый) отличался от членов Ученого совета только тем, что не позволял себе лишней «предварительной» рюмки. Как-никак прокурорская должность. Благодушие оппонента зависит от сочетания в нем природных жалостливости и желчи, удобрений, вскормивших его талант, скрытых достоинств и явных промахов диссертационной работы и, разумеется, от банкетного церемониала. Ректор вуза, тонкий ценитель и гурман, хорошо разбирался в человеческих слабостях, иначе бы он не был ректором. Оппонент обязательно должен не только увидеть, но и слегка «окунуться» в атмосферу банкета до церемонии защиты. Поэтому стопочка в «Сезаме» и вид банкетного зала не повредят! На всем протяжении защиты тонкий аромат и золотистые видения грядущего банкета не позволят забыться оппоненту и резким выступлением перечеркнуть радость последующих минут.

Ну, как тут не помянуть лишний раз знатока и мастера банкетных церемоний Живчика, чье имя многими вспоминается с трудом. За ненадобностью. Василий Александрович принадлежал к тем безымянным, чьими руками выстроено столько дворцов и храмов, столько расписано стен и икон, столько соткано ковров и сшито мундиров, столько выковано булатных мечей и выточено малахитовых шкатулок, что несть им числа! Крепость сильна крепостными. А над нею всегда сильный ректор. Ну, а при нем, понятно, пушки, генералы и маркизантки. Это уже второстепенно.

Настя долго репетировала свое выступление и перед зеркалом, и перед Григорием Федоровичем, и на кафедре. Выступать на кафедре перед преподавателями, которым несколько лет назад сдавала зачеты и экзамены, стучать в дверь дома, в который они готовы были впустить ее, бесстрашно говорить: «Это я!» – было страшно. И Настя очень волновалась. Текст своего выступления она выучила наизусть, но стоило ей открыть рот и посмотреть в зал, как она сразу все забыла, и что говорила, как говорила – потом совершенно не помнила. Ей казалось, что она выглядит наивно, смешно, с претензией, глупо, в конце концов! Настя была в отчаянии и едва не расплакалась, подводя итоги своей работы. Неожиданно все зашумели: «Хорошо! Хорошо! Прекрасно!» и даже слегка поаплодировали. А профессор Суэтина сказала, что «работа явно тянет на докторскую».

Григорий Федорович был доволен. Он сказал, что все будет хорошо, и только посоветовал Насте за двадцать минут до защиты выпить валерьянки. За двадцать минут до защиты Григорий Федорович сам выпил валерьянки, а Настя выпила коньяку и, красная, направилась на экзекуцию. Григорий Федорович по пути заглянул еще и в «Сезам».

– Опоздываете! – с нарочитым ужасом приветствовали там его.

Как проходят защиты, многие знают. Для остальных немногих пробежимся вскользь по главным моментам это-

го ритуала. Зал заседаний – это несколько рядов скрипучих кресел, длинный стол под зеленым сукном, пятнадцать стульев красной обивки, рядом трибуна для выступающих. На трибуне графин с водой, стакан. За спиной совета черная доска, на которой во время дискуссии пишут мелом, пара металлических планок, к которым прикрепляются магнитиками плакаты. В трубочку свернут экран, на который при случае проецируют диапозитивы из переносного диапроектора. На столе в хрустальных вазах розы, за которыми можно пошептаться о том же банкете. Перед каждым стулом стопочка бумаги, бутылка нарзана, стакан и карандаш. В середине и по концам стола три экземпляра диссертации соискателя. На стенах картины Шишкина (копии). Медведи, сосны, рожь. С потолка свисает огромная люстра, упади которая, накрыла бы аккуратно всех собравшихся в зале. Пол натерт и блестит. Окна раскрыты, в них видно шевеление жизни. Каждые две-три минуты проползают рога троллейбуса.

Собрались все. Двери закрыли. Открытая защита диссертации началась.

Сидели, каждый на своем месте: Ученый совет во главе с председателем, секретарь совета, два оппонента, научный руководитель, приглашенные коллеги, малочисленные родственники и друзья, наконец, сам соискатель. С небольшим интервалом – команда второго соискателя. Сегодня было две защиты.

Минута молчания. Секретарь привычно занудно бубнит:

– На защиту представлена диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук аспиранта третьего года обучения Анненковой Анастасии Николаевны. Тема диссертации: «Морфологические показатели качества утиных яиц». Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, профессор Толоконников Григорий Федорович. Ведущая организация – Научно-исследовательский институт птицеводства, город Загорск. Первый оппонент – заслуженный деятель науки и техники СССР, профессор Григорьев Егор Дмитриевич. Второй оппонент – кандидат биологических наук, доцент Семенов.

Секретарь полистал бумажки, подумал и объявил:

– Слово предоставляется соискателю Анненковой Анастасии Николаевне!

Настя подскочила, словно ее ударили в бок. Стараясь идти медленно и ровно, поднялась на трибуну. Ей показалось, что трибуна мелко дрожит. Сухим языком обвела пересохшие губы. Машинально налила воды в стакан, выпила. В зале и в президиуме заулыбались. Первые две-три минуты были привычные, как рога троллейбуса в окне.

Настя откашлялась и выше, чем хотела, произнесла:

– Уважаемый председатель! Уважаемые члены Ученого совета! Основная идея работы заключается в исследовании влияния...

Пока Настя докладывала, члены совета сначала с одобре-

нием убедились, что у соискателя костюм полностью соответствует торжественности и ответственности момента – серый с белым жабо, брошкой, что это действительно очень приятная женщина – крупная и красивая, настоящая русская красавица, что она в меру волнуется и у нее грамотная речь, после чего по очереди стали быстренько проглядывать выводы из ее диссертации, пытаясь уловить смысл. Некоторые, в поисках подходящего вопроса, углублялись даже в середину работы. Когда они переставали листать, замирали и остановившимся взором тупо смотрели в одну точку, это свидетельствовало о том, что вопрос пойман. После этого начинали говорить соседу, например, о том, какие туалеты в Лондоне – блестят, как станции метро! Что ж, на Западе блестящие сортиры, а у нас – умы.

На удивление, Настя волновалась меньше, чем на защите. В начале своего «слова», как это и было положено, она сделала изящный реверанс в сторону генерального птицевода Леонида Ильича Брежнева и всеохватных материалов XXIV съезда КПСС, в основном и целом посвященных (в том числе) проблемам птицеводства, и только затем углубилась в рассуждения более частного плана. После того, как Настя раскрыла основную идею работы, рассказала о законах, регулирующих причинно-следственные связи, представила статистические данные и полученные зависимости, она с облегчением подумала: «Все: остались графики и выводы!»

– А сейчас, товарищи, я вам проиллюстрирую сказан-

ное, – сказала она. – Будьте любезны, закройте шторы.

Закрыли шторы, и в зале сразу же стало глухо и душно. За шумел диапроектор. Члены совета, как гуси, повернули головы в сторону экрана. Внимательный человек заметил бы, что скорее всего они видели не экран, а угол зала, так как на полный разворот шеи и корпуса членам совета явно не хватало гибкости. Впрочем, говорят, все Ученые советы страдают косоглазием. Во всяком случае, диапозитивы просмотрели с интересом.

Выключили диапроектор, раскрыли шторы, несколько секунд был шумок. Настя глотнула воды, незаметно вытерла вспотевшие руки о салфетку и приступила к выводам. Собственно, выводы сами дотянули ее до конца. Настя взглянула на Григория Федоровича. Тот одобрительно кивнул ей. Анна Петровна Суэтина сидела с бесстрастным лицом. Значит, тоже одобряла. Настя инстинктивно чувствовала, что самую верную оценку ее работе может дать только она, Суэтина, или «суета», как они ее называли, будучи студентами.

Секретарь зачитал отзыв ведущей организации. Он был в целом положительный, замечания носили несущественный характер.

После этого первый оппонент с большим чувством собственного достоинства сказал о большом, пионерном вкладе диссертанта в развитие науки. «Это, я бы сказал, прорыв!» – сказал он. (Эх, жаль, не слышал его в этот момент Шопен или Лист!) Разумеется, он считает, что работа выполнена на

отменном уровне, несмотря на некоторые мелкие недочеты, и товарищ Анастасия Анненкова вполне заслуживает искомого звания.

Второй оппонент, как менее заметная в научном мире личность, говорил громче и напористей, демонстрируя свою никому не нужную здесь эрудицию. Его выслушали благосклонно.

Перед дискуссией секретарь зачитал семь положительных отзывов на авторефераты.

Дискуссия носила явно демонстрационный характер, так как, собственно, все уже было ясно. Наиболее типичный вопрос был:

– Будьте великодушны, Анастасия Николаевна, напомните мне, куда ведет кривая A на втором графике?

– Вверх, Анатолий Ефремович.

– Благодарю вас. Я так и думал.

Дискуссионное поле чаще всего захватывают молодые, ищущие известности, ученые – чужая диссертация для них оселок, на котором они оттачивают свои языки. Им доставляет истинное наслаждение резать по живому дрожащего соискателя, совершенно не соображающего подчас, чего от него хотят. В поисках истины заходят порой туда, где ее в принципе не может быть. Но на этот раз не было даже таких. Один только «вечный ассистент» Жмуриков ехидно спросил, а почему на защиту представлены не все результаты блестяще проведенных экспериментов. Жмурикова «подавили»

из президиума.

Пожалуй, самым дельным было выступление Суэтиной, в конце которого она сказала:

– Я позавчера вернулась из Москвы. Членкор ВАСХНИЛ Харитонов просил передать свои поздравления профессору Толоконникову и вам, Анастасия Николаевна. Сказал, что помнит вас вот такую, – показала она на уровне пояса.

В зале заулыбались. Давненько не слышали ничего подобного от профессора Суэтиной!

Председатель подвел итоги дискуссии, и – вот он, торжественный момент:

– Больше нет вопросов?

Какие там вопросы?! Какие вопросы!

– Благодарю вас, Анастасия Николаевна, за полученное удовольствие присутствовать на вашей защите, – произносит председатель. – Приступаем к голосованию.

Совет удалился в «Сезам».

Через несколько минут секретарь объявляет результат голосования:

– Тринадцать «белых», один «черный».

Председатель проникновенно поздравляет Настю. Настя с чувством благодарит председателя и в «последнем» слове приносит глубокую и искреннюю благодарность своему научному руководителю, коллективу Чернойярской ИПС и зоотехнику совхоза «Принежский».

Насте жмут руку, целуют. Григорий Федорович шепчет:

«Это хорошо, это очень хорошо, что есть хоть один «черный» – в ВАКе меньше будет вопросов». Потом ей на шею бросаются родные, друзья, кто-то с усами, как у Дюма, хочет поцеловать ее в губы... Триумф.

Бывший работник института, а ныне представитель областных структур, Анна Ивановна Анненкова, на правах главного родственника, забыв, что в этом зале предстоит еще одна защита, приглашает всех в банкетный зал разделить общую радость. Анну Ивановну благожелательно успокаивают и просят подождать до окончания работы Совета.

Вторая защита тоже проходит успешно, и радость, которую предлагала разделить Анна Ивановна, не просто делится, а суммируется – и банкетный зал наполняется шумом, выкриками и смехом. Живчик удовлетворенно глядит на собравшихся в щелку двери.

Первый тост, как водится, всеохватен: за Анастасию Анненкову, ее успех, ее труд, ее вклад, за состоявшегося ученого, за блестящие перспективы. То же самое – за второго диссертанта. (Далее мы не будем упоминать о нем, за ненадобностью. Главное от него – половина расходов на банкет, и дальнейшее – молчание).

Второй тост – за научного руководителя Толоконникова, вложившего в Настю всю душу, а также за внимание и терпение членов Ученого совета.

Третий – за здоровье и успехи оппонентов.

Четвертый – за коллектив Черноярской ИПС и зоотехника совхоза «Принежский».

Пятый – за помощь и поддержку коллег, за дружный коллектив кафедры частной зоотехнии СХИ, опять-таки под руководством, и прочее, и прочее.

Шестой – за мать диссертанта Анну Ивановну Анненкову, за друзей и всех, кто прямо или косвенно способствовал успеху.

Седьмой – не менее грандиозный, чем первый: за науку ученых, за ученых науки, за их симбиоз, за свет учения и за биологию – царицу наук.

Далее пили уже без разбору, поскольку тосты, не успев сформироваться, безнадежно отставали от пьющих. Практикой выверено: система тостов обычно выдерживает два-три тоста, редко – пять, а уж семь – возможны только в атмосфере парения духа. И если выпивку предваряли речи, закуска шла молча и сосредоточенно. Обрети закуска дар речи – хотя бы те же говяжьи языки – она выразила бы присутствующим громадное чувство благодарности за внимание к ней. Хорошая закуска – это всегда большое взаимное чувство и разделенная любовь.

– Григорий Федорович. Что-то я не вижу Анны Петровны, где она? – спросила после пятого тоста Настя.

– Она не ходит на банкеты! – отмахнулся тот. – Так вот, тогда на защите...

К восьми часам вечера для доставки участников банкета

по домам подали автотранспорт: персонам, шедшим по первому, второму, третьему и четвертому тосту, предоставили четыре институтские «Волги», а участников пятого и шестого тостов демократически загрузили в институтский автобус «ЛИАЗ».

Возбужденная и счастливая Анна Ивановна Анненкова укатила с дочерью, а задумчивый Толоконников не спеша шагал домой, где его выглядывала из-за занавески, уложившая внуков, строгая Наталья Васильевна.

И в зале заседаний, в банкетном зале, в «Сезаме», после того, как было все убрано и вымыто, как были закрыты окна и выключен свет, стало тихо и спокойно, лишь слышался легкий шелест ржи на картине Шишкина, в которой посапывала во сне спрятавшаяся от всех биология, царица наук, почетная участница седьмого тоста. Ей снились песни и пляски ее подданных, и хохмы, которые они тут отчебучивали без перерыва столько часов.

5. Немеет ли от счастья душа, когда чернеет от загара тело

У художника одна краска – кровь. У музыканта одна нота – стон. У поэта одна рифма – любовь. У человека одна жизнь – смерть. И у природы одна симфония – море. В море есть всё: и кровь, и стон, и любовь, и смерть. Впрочем, оно самодостаточно, ничего этого не надо ему. Это мы всё ищем то кровь, то стон, то любовь, то смерть. А надо искать одно лишь море. Найти и не отдавать его никому. Как Грин.

Суэтин смотрел на море. Первый раз в жизни. Где же раньше я был, думал он. В городе пейзаж прост: на плевок не наступить да под машину не попасть. А тут... Глаза его отмечали мельчайшие подробности пейзажа, душа грустила и ликовала одновременно, а мысли были о вечном и ползали по земле, как муравьи. Было пасмурно, и лезть в воду не хотелось. Суэтин захотел мороженого.

У Маркса один товар – деньги, а у мороженицы – еще и пломбир за девятнадцать копеек. Суэтин взял пломбир и сел на камень. У моря – одна вода. И ее так много. Заплатил за билеты Нежинск—Симферополь—Нежинск и любуйся, хошь – захлеб, хошь – с бережка. И я у моря один... Как у моей матери. Мир во множестве плодит одиночества, но как применить к ним теорию множеств? Однако, пора создавать теорию одиночеств, пора. Сердце созрело.

Как хорошо. Первый отпуск на новом месте. Первый день. И я один, совсем один. Один во всем мире!

Справа были горы, слева море. И в стороне сердца женщина отчаянно барахталась в волнах. От нее и ее движений (странно!) исходил некий жар. Суэтину захотелось броситься к ней в воду. Он представил себе, как обнимает это скользкое молодое тело... Сколько пролито слез и крови ради нескольких капель удовольствия! Но ведь эти капли дороже алмаза. И они оставляют рубцы на сердце. Не все. Сторона сердца, которая была повернута к Альбине, осталась «чистой доской». А у нее? – впервые задал он самому себе вопрос.

Мысли, как птицы, летели вслед за взглядом справа налево, садились на воду, качались на волнах и исчезали в пучине. И так всю жизнь, подумал Суэтин: я и тут, у этого камня, и там, где у женщины почва то и дело уходит из-под ног, куда летят мои мысли и где исчезают без следа.

Она все плавает и плавает! Когда же она устанет? Разрушишься тут, ожидая ее! Как вон те горы в ожидании разрушения.

Суэтин сегодня был настроен на возвышенный лад. Это было тем более удивительно, что перед ним была просто женщина, с которой всякого мужчину связывают самые простые отношения. Юность какое-то время еще топчется на возвышенности, а зрелые годы проходят обычно в довольно-таки низменных местах, к которым Суэтин уже начал

свой спуск.

Суэтину захотелось сказать этой женщине о том, что люди всю жизнь задают вопросы и всю жизнь на них отвечают, и ни один еще не воспользовался уже готовым ответом. Вот и у него к ней вопрос, что она чувствует, когда отдается стихии?

Суэтин захотел красиво обратиться к ней, скажем, вот так: «Личность формируется, лишь распадаясь. Гражданка, помогите распаду». Нет, не так. Еще по морде даст. Вот так. «Содержание личности – ее распад, форма личности – ее воля. Нет памятника воле, хотя воля – единственное, что делает из людей памятники». Сказать и красиво застыть перед ней. Как памятник. Нет, длинно и туманно. Ей мужчина нужен, а не памятник. Распад, воля, нет. Бредятина. Лучше по-простому: «Девушка, мы с вами где-то встречались?» О, сразу и тема для разговора. Если нет – почему нет, если да – то где и когда.

К чему он конструировал свой монолог? Принципы архитектуры позволяют из слов проектировать дома. Наметим и мы контуры и высоту грядущих отношений, думал он. Приятно, черт возьми, городить город любви на скалах и на краю пропасти! И потом уже, когда все это будет позади, далеко позади, и почти все позабудется, будут помниться лишь эти изящные конструкции. И останется ощущение высоты!

А вообще-то парню делать было нечего. Мыслимое ли дело, чтобы в обычной жизни граждане конструировали монологи? А потом с достоинством их произносили. Да чтоб

их еще не перебивали. Успеть бы выпалить, что без всякого конструирования пришло в башку. Диалоги вообще большей частью напоминают схватку истребителей. Воздушный бой, покой нам уж не снится...

Как всякого трудящегося, Суэтина по субботам посещали мысли. Нашли они его и здесь, в солнечном, как обещали, Крыму. Нашли за тридевять земель от Нежинска, в его первый день на море, в его первую субботу законного отдыха от трудов.

Только что он с большим трудом отвязался от прилипшей к нему с утра «шалашовки».

– У всех мужчин и женщин без исключения есть единое общее дело, которому обучают с детства, – имел неосторожность брякнуть он, без всякой задней мысли, соседке по очереди, зубками, глазками и общей вертлявостью похожей на мышку.

– Ах ты шалун! – хихикнула мышка.

– Это сельское хозяйство, – Суэтин хотел сказать, что выращивать овощи и фрукты в принципе можно даже на Крайнем Севере и тогда нечего катить черт-те куда в поисках витаминов.

Мышка сделала глазки бусинками.

– Так написал Томас Мор, – пояснил Суэтин.

– Мор? Ты переписываешься со Штатами?

– Да, раз в неделю.

Хорошо, подвернулась та дама, которой Суэтин махнул

рукой, а мышке сказал:

– Хочешь, познакомлю? Это моя половина, без которой я ноль.

Мышку как волной слизнуло. Зато дама подошла и поинтересовалась:

– Вы мне что-то хотели сказать?

– Я? – удивленно спросил Суэтин, а потом пожалел, так как ноги у дамы и все прочее были безупречными.

Женщина отдавалась морским волнам. Раскинув руки и ноги и скользя с волной на берег, она радовалась, как ребенок. Волна несла женщину, закручивала, швыряла ее на берег, таскала там взад-вперед, осыпала галькой, утаскивала опять в воду, крутила и била нещадно, а ей – хоть бы хны! На минуту освобождаясь от напора волны, она радостно прыгала и била руками по воде. Казалось, ей было все равно: утонет она или ее расшибет о подводные валуны.

Суэтин сидел, прислонившись к камню, и смотрел на нее. Прошло уже не меньше четверти часа. Ему было завидно, но и лень раздеться и лезть в холодную воду. Какая она, морская вода? Может, никакая? Как и женщина. К тому же, не было солнца и дул свежий ветерок. Как его? Бриз, кажется... Берег был почти пустынен. Бродили чайки, несколько парочек смотрели на волны, да старик собирал бутылки. Негр расслабленно лежал в шезлонге и напоминал подернувшийся пеплом жар. Откуда взялся? Не иначе, из самой Африки.

И шезлонг оттуда? На юнце, как на осле, хохоча, ехала девица верхом. Прообраз их будущих отношений.

Когда женщина, усталая и радостная, выкарабкалась на берег, удачно вырвавшись из объятий стихии, Евгений подошел к ней и участливо спросил:

– Первый раз на море?

– Ага! – коротко кивнула та и запрыгала на одной ноге, вытряхивая воду из уха.

Ей было лет двадцать пять, а может, и все тридцать. Она успела подрумяниться на крымском солнце, но по цвету тела видно было, что совсем недавно из средней полосы России. Эта средняя полоса особенно хорошо запечатлелась под трусиками. Она была достаточно широкая, эта полоса, но в меру. И в целом женщина крупновата, но ладная. Как говорят на партсобраниях, можно принять за основу и в целом. Все при ней. Суэтин с удовольствием глядел, как она прыгает. Маленькая складочка на животике аппетитно подпрыгивала в такт прыжкам. Суэтин проглотил слюну.

– Издалека?

– Из Нежинска, – запрыгала женщина на другой ноге.

– Да вы что! Земляки! – обрадовался Суэтин. Она ему напомнила кого-то, кого он не мог вспомнить. – Это надо отметить!

– Надо? – складочка продолжала подпрыгивать. – Интересно? – спросила женщина, проследив за взглядом Суэтина.

– Что? У вас ссадина.

– Где?

– Вот, – Евгений погладил женщину по прохладной ноге. – Больно?

– Кому больно, а кому и приятно, – женщина отвела руку Суэтина, послушавила пальцы и приложила их к ссадине.

– Могу оказать неотложную помощь.

– Отложим. На недельку.

– Могу бодягу предложить или мумие...

– Бодягу, Склифосовский, при ушибах прописывают. А тут календулы хватит.

– Есть календула. Пошли!

– Нет, вы лучше даме сюда принесите. Даме идти больно.

– Момент! Я окрылен!

Суэтин сорвался с места и через десять минут вернулся, купив в аптечном киоске настойку календулы.

– Отвернитесь, я переоденусь.

– Не логично: я отвернусь, а вон те пялятся.

– Это для вас не логично, а для них логично. Ну что, Гиппократ, не подскажете, как попасть в Старый Крым? Дом Грина хочу посмотреть.

– Не знаю. Я тут первый день. Впрочем, вон дорога. Пойдем, спросим. Я провожу, – Суэтин впервые глянул ей в лицо и поразился его величавости. Прямо королева! Женщина со спокойной улыбкой смотрела на него.

– К чему бы это: спускаюсь вчера сюда и вижу в небе женскую грудь? – машинально спросил Суэтин. «Где же я ее ви-

дел?»

– К нашей встрече. Я вчера видела в небе мужские ноги.

– И вы не замужем?

– Разве только незамужние видят в небе мужские ноги?

Интересно, почему из-за женских ног вы теряете голову? Я имею в виду не вас конкретно, а вообще мужчин. Впрочем, было бы что терять.

– Женщине этого не понять, – вздохнул Суэтин (видите ли, она озабочена не конкретными мужчинами, а «вообще»). – Я, пожалуй, с вами поеду. Конкретно – не возражаете? Один мой знакомый, поэт, говорит, что здесь на юге все покрыто ложью. Как загар покрывает тело, так ложь покрывает эту местность.

– Ваш знакомый случайно не Лев Толстой?

– Автобус. Наденьте шлепанцы.

В автобусе были свободные места, и они сели рядом.

Женщина глядела в окно. Суэтин видел ее царственный профиль, и у него замирало сердце. Каких красавиц, черт возьми, можно встретить в рейсовых автобусах Крыма! Будь я Потемкин или Петр – ноу проблем, подумал он. День, начавшийся для Суэтина прозаически серо, транспортом и очередями, вдруг заиграл красками.

– Солнышко пробилось, – сказал он.

Женщина отвлеклась от созерцания окрестности и взглянула на него.

– Вы пили с утра?

– Нет, – Суэтин ошарашенно смотрел на нее. – С чего вы взяли?

– Пить охота, – она засмеялась. – А вы что подумали?

– Ну что думают мужчины в таких случаях?

– Вот-вот, то же, что и женщины, когда к ним клеятся попутчики. Не обижайтесь. Я не о вас. Я в общем.

– А-а, – уныло протянул Суэтин. Штучка, кажется, еще та. Собственно, с такой внешностью другого и не следовало ожидать. Не иначе, любовница партайгеноссе Бормана или профсоюзный лидер. Встречал он таких в Москве! Но что ее сюда занесло, на эти камни? Лежала бы себе в шезлонгах Ялты, потягивала через соломинку коктейль, жмурилась и мурчала под пухлой рукой Бормана. Зачем сел с ней? Теперь и на попятный идти – неловко как-то... Чего, спрашивается, сел тогда? Раз сел, значит, судьба. Суэтин зло глянул на царственный профиль. Профиль стал анфас с обезоруживающей улыбкой.

– Кажется, приехали. Перекусим сперва.

В закусочной блюда были разогреты, похоже, еще вчера.

– Еда, прямо скажем... – сказала женщина. – Да что же мы? Анастасия.

– Евгений.

– В европейских ресторанах, если блюдо не востребовано в течение получаса, его сваливают в бак для отходов, – сказала Анастасия.

– С таким подходом в нашей стране начнется голод. Впро-

чем, не хватит баков. Бывали в европейских ресторанах?

– Приходилось.

И чего ради увязался за ней? Ведь понятно было – не твоего поля ягода! Так нет, испробовать захотел. Получай, пробуй... Однако остроумия ей не занимать. Остроумие, конечно, связано с тонкостью ума, но не с самим умом. Ум, как правило, не может проявить себя столь изящным образом. Для женщины это нормально. Даже чересчур хорошо.

– Что смолкли? – спросила «штучка». – Мысли?

– О вас.

– Это хорошо, когда думают о тебе. И что думаете?

– Да вот решил, что вы первая любовница первого секретаря Брянского обкома партии.

– Очень мило! Почему Брянского? И почему первая? Последняя – понадежней будет.

– Только в брянских лесах можно спрятать такую красоту.

– Оригинально вы признаетесь даме в своих высоких чувствах! – засмеялась женщина. – Ну, да ладно! Меня Настей зовут.

– А меня Евгений. По второму кругу пошли. Как на ипподроме.

– Да я вас знаю, Женя. Вы что, не узнали меня?

Вот те раз! Суэтин покачал головой.

– Не могу вспомнить.

– Ну вот, математик! Как же с памятью такой?

Суэтин лихорадочно соображал, где он мог ее видеть. В

ЦУМе? В бухгалтерии? Может, на свадьбе у Белкина? Возле дома, однако, да-да... Пстой-пстой...

– Анненкова Настя. Узнал теперь?

Суэтин стукнул себя по колену.

– Ну да! Так и есть! Во, сейчас у тебя точь-в-точь такое же выражение лица, когда я в последний раз видел тебя. Ты тогда сидела на горшке.

Настя рассмеялась.

– Пить страшно хочется. Не напилась. Возьми еще бутылочку. Кстати, мы тут вдвоем с мамой отдыхаем. Она утром видела, как ты из автобуса выходил. Я-то, может, тоже не обратила бы на тебя внимание. Мужчина да мужчина.

– Обидные слова говорите, барышня. Мне сегодня за завтраком два раза заманчивые предложения делали.

– Ну что ж, опоздала заманить, – опять рассмеялась Настя.

Суэтин почувствовал себя легко, незаметно освободившись от субботних мыслей и субботнего настроения, преследовавших его с утра, от бремени суетливых обязанностей, которые дарит всякое новое знакомство, само ожидание которых вносит в душу такую сумятицу! То, что девушка оказалась знакомой, и даже не просто знакомой, а знакомой с детства, внесло в него мир, который он позабыл где-то в том детстве. Он сам не знал там на берегу, хочет или нет познакомиться с нею. Сидел и ждал, как кот, что получится...

Настя посмотрела на него и улыбнулась. Евгений зажмурился и прошептал:

– День-то какой!

Возле дома Грина какая-то девчужка топала ножкой и капризно восклицала: «Почему у Грина такой маленький домик?» А мама глядела то на нее, то на домик Грина, и в глазах ее был тот же вопрос. Ножкой, правда, о землю она не била.

– А почему с тобой не поехала Анна Ивановна?

– У нее сегодня давление. Утром прогулялась, тебя вот увидела, а потом села в плетеное кресло и сейчас, наверное, все сидит. Держит в руке книгу и спит. С зимы плохо себя чувствует. Приехали, пока сезон не начался. Народу меньше, да и дешевле все. Отоспаться, позагорать... Жаль, солнца нет.

– Ты загорела уже. В отпуске?

– Да нет. Так, отпустили на пару недель. А мама да, в отпуске.

– Где работаешь?

– На кафедре. Тебе что, Анна Петровна не сказала?

– Наукой занимаешься?

– Да, птицей.

– О-о, куриной наукой?

– А ты думаешь, на свете одна математика?

Суэтин молчал. Он именно так и думал. И вдруг почувствовал приступ раздражения и тоски. Раздражения против всего и тоски неизвестно по чему. Может, оттого, что теперь

во всем не было математики и была она неизвестно где. Поглядев Насте в глаза, он так же быстро успокоился.

– Я думаю, что на свете есть одна только Настя, и это более значительное открытие, чем все открытия в математике и курологии вместе взятые.

– Курологии? Нет такой, – засмеялась Настя.

– Сделаем. Вернемся в Нежинск и сделаем. Не открытие, так изобретение. Подадим заявку в ЗАГС.

– Слух был, что вы уже некоторым образом женаты, Евгений Павлович? Или объявлен перерыв?

– Ошибочный слух.

– Слухов ошибочных не бывает. Впрочем, куда нам о слухах судить – от горшка два вершка.

Теперь рассмеялся и Суэтин. Будто из груди заслонку кто вынул, которая мешала доступу кислорода. За последние три-четыре года ему не было еще так беззаботно.

– Чует мое сердце, хорошо мы с тобой отдохнем! – воскликнул он и услышал, как за спиной прыснули две девицы.

– Не забудь, я тут не одна, – улыбнулась Настя. – Слышала, ты насовсем из Москвы?

– Слух, однако. Да, отпущен на вольные хлеба.

Незаметно доехали до Коктебеля.

– Проходи, – Настя пропустила Евгения в низкую дверь маленького домика на склоне горы. – Отсюда замечательный вид. Смотри, как далеко видно. И дешевле, чем возле воды.

Ма, это Женя.

– Добрый вечер, Анна Ивановна.

– Здравствуйте, Евгений, – произнесла Анна Ивановна, не поднимаясь с кресла. – Я вас видела давеча. Вы автобусом приехали?

– Да, я сегодня здесь первый день.

Пострел – всюду поспел, прочитала Настя на лице матери. Осваивает новую роль, драматическую, подумала Настя о матери.

– Чайку, попьем чайку! – воскликнула она.

– Может, вина? Я сейчас, – Суэтину захотелось на время вырваться из капкана лачужки и обдумать ситуацию.

За день он не вспомнил ни разу о контрах, которые были между Анной Ивановной и матерью. В чем там было дело – он, понятно, никогда не интересовался, но сейчас пожалел об этом. Какая кошка пробежала меж ними, как себя вести, думал он. Но потом, со свойственной ему и вообще молодости решительностью, сказал сам себе, повторив невольно слова принца датского: а будь что будет! Так себя вести, как будто до меня хоть потоп был. С «чистой доски»!

– Другого не было, – он протянул Анне Ивановне бутылку вина «Черные глаза». – Да и под цвет ваших глаз. «Ах, эти черные глаза, меня сгубили!» – речитативом произнес он.

Настя в восторге забила в ладоши, а Анна Ивановна, побледнев, вдруг с необыкновенной ясностью вспомнила Николая Гурьянова, как он пел, кружа ее по комнате: «Ах, эти

черные глаза, меня сгубили!» На этажерке горела свеча, тени летали по голым стенам, сосновая ветка в вазе так отчаянно пахла погибелью!

– Какая прелесть, – тихо сказала она, рассматривая этикетку. – Извините, у меня слабость сегодня. Садитесь. Настя, собери на стол. Но я только пригублю. Давление...

Анна Ивановна справилась с бокалом и попросила налить второй. Очевидно, давление нормализовалось, подумал Суэтин, а Настя с настороженным любопытством смотрела на мать. Та, если и поддавалась на чьи-то уловки, то лишь для того, чтобы заманить ловца на свою территорию. Настя тоже за день ни разу не вспомнила о сложных взаимоотношениях матери с Анной Петровной. Да с Евгением как-то и не думалось об этом. Все было ясно и хорошо! Женя достойно выкручивался из непростой ситуации. Математик, просчитал все варианты. Настя была уверена, что Суэтин тоже все вспомнил, понял и хладнокровно просчитал. И сейчас оптимально решает свою задачу. Он оттолкнулся от начальных условий, которые были до него, и ни разу не вспомнил о них. Молодец! Насте нравились мужчины, в которых логика преобладает над эмоциями. Впрочем, она сама такая. А какая же еще, спрашивала Настя у зеркальца, висевшего справа. «Такая, такая!» – подтверждало зеркальце. Настя снова взглянула в зеркало и там увидела себя и Евгения в свадебных нарядах.

Вечер пролетел мило. Анна Ивановна расспрашивала Же-

ню про Москву, про новую работу в Нежинске, о перспективах и возможности защиты диссертации. О личной жизни не спросила ни слова. И он ничего не сказал.

– Он развелся, – сказала Настя матери, когда Суэтин ушел.

– А я знаю, – внимательно посмотрела Анна Ивановна на мечтательное лицо дочери.

На следующий день у нее был приступ, потом еще. Через день Настя увезла мать домой. С Суэтиным она попрощалась достаточно сухо, но последний ее взгляд не был прощальным.

Анна Ивановна, поблескивая глазами, наблюдала, как она себя ведет, и готова была тут же «ухудшить» свое самочувствие.

Суэтин понял, что жизнь занесла его на путь, над которым властвует рок.

Через пару дней он тоже вернулся в Нежинск. Он захватил с собой море, а еще кровь, стон, любовь и смерть.

6. Как провести день

Он не думал еще, как провести ему день: со стаканом глинтвейна возле камина или пойти на скачки. Он не думал об этом, потому что камина у него не было, глинтвейна, кроме водки, тоже, а ближайшие скачки, думай не думай, и так состоятся на работе, где цех опять срывает план.

Сорвет план цех, а свалят опять на лабораторию. И, как водится, крайним будет тот, кто в самом центре проблемы. В самом центре и такой маленький-маленький. Никто. Дырка от ножки циркуля. Никого не интересует раствор циркуля и круг, который он описывает. Все видят только маленькую дырочку. Маленькую, крохотную. Сиди и не рыпайся. Понял? И тут ни ум не поможет, ни изворотливость. Ну, разве что связи. Умный знает, что не избежать того, что избегает мудрый. Ибо все мудрые остаются в Москве.

Он шагал на работу привычным путем. Не имеющим множественного числа и располагающим к одиночеству. Одиночество – оно ведь привычнее всего, и ничего в нем не отвлекает. Кроме творчества. Одиночество и есть истинный Дом творчества.

Но одиночества не получалось. Впереди шли двое и громко делились впечатлениями:

– Более несуразного зрелища в жизни не видел: по центру города подполковник с лопатой идет!

– Это что! Летом у нас в проходной бегемот застрял. Причем со стороны завода. Вот хохма была! На бегемота вахтер залез, тот проходную разнес и дунул по проспекту, вахтер непонятно за что держится, со всех сторон гаишники, менты, вертолет летает... «Скорую» смял и пост ГАИ снес. Снес к чертовой матери!

Бегемот, это, наверное, из зоопарка который сбежал. Мать рассказывала. Провинция!

А вокруг был пронизанный солнцем бор, белизна снега и синева неба, глубокая тишина – и Суэтин вдруг отчетливо услышал, как его душа, точно собака, потянулась, зевнула и стала радостно драть лапами упругую землю...

Такое вот было радостное утро. Но опять отвлекли:

– Муж на пенсию ушел. Лучше бы он к другой ушел, – услышал Суэтин и подумал: «Лучше – вообще в другую жизнь».

Он, как всегда, шел на работу пешком и думал. Когда идешь, думается совсем не так, чем когда едешь. Когда едешь, мысли тоже или уютно сидят (что редко), или (чаще) судорожно цепляются за поручень и отвлекаются на всякие чужие мысли, грязные и сальные. Думалось сегодня легко. Воздух был необыкновенно легкий, и тело пружинисто летело на восток.

Улица, по которой ходишь каждый день, говорит много больше о себе, чем множество людей, с которым встречаешься по сто раз на дню. Люди, как старики, прячутся, скрыва-

ются друг от друга, закрывают створки, крышечки, форточки, а улица настезь раскрывает свои объятия, как ребенок.

Суэтин ходил пешком в любое время года, в любую погоду, при любом самочувствии и настроении. Много позже Суэтин понял, что жизнь для него ассоциируется именно с этой дорогой, да и слагается в чем-то неуловимо главном из часов, проведенных на ней. Путь на работу занимал ровно час. Выйдя из дома, Суэтин пересекал оживленную круглую площадь, на которой асфальт был укатан колесами нетерпеливых автомобилей, пропитан атмосферными осадками, выхлопными газами и безвозвратно потерянным временем. Затем шагал по пронизанной солнцем аллее, на золотом асфальте которой деревья, собаки и люди казались вырезанными из черного картона. Проходил мимо спрятанных в кустах могучих деревьев корпусов горбольницы, в которых, как в накопителях аэропорта, сотни пассажиров готовы были ежесекундно отправиться в вечность, мимо общежитий, переполненных маленькими детьми и большими надеждами. Потом преодолевал лог с забранной в трубу речушкой, источавшей миазмы разложения. Углублялся в наполненный сорочьим стрекотанием сосновый бор. Снова попадал на асфальт и проулками-закоулками, где мысли начинали путаться и рваться, выходил к трамвайному пути, пересекал его – а там уже было рукой подать до «родного» (любимое слово не работающих на нем журналистов) завода.

Этой ходьбой Суэтин убивал сразу двух зайцев, а то и

трех: променаж с утра по свежему воздуху, экономия копеек на транспорте, и, главное, в ритме ходьбы в голову приходят мысли. Что-то мама говорила похожее про свои выходные дни. Собственно, всеми своими мыслями Суэтин был обязан только утренней дороге на работу. Не потому, что их не было в другое время, этих мыслей, они были, но в другое время на них падала тень других людей, оседала пыль чужих мыслей, обволакивала гарь чужих настроений, да и не слышно их было во всеобщем оживлении – все ожидают будущее, как экспресс, галдят и не слышат объявления о его подходе, а когда спохватятся, поздно уже, ушел, тью-тью...

Этот час пролетал незаметно. Его самую малость не хватает на нечто неуловимо мелкое, в чем, однако, и заключается самая главная и сокровенная мысль. Мысли – лучшие собеседники, если раскроешь навстречу им свое сердце. Не думать в пути нельзя. Когда не думаешь – о, путь долог! А если он долог – перестаешь думать совсем. И тогда не придет даже такая простая мысль: зачем вообще этот путь?

За год, что он в Нежинске, на этом пути, естественно, примелькались одни и те же лица. Суэтин знал всех шагавших навстречу. Среди них были приятные люди, были и такие, с кем он не захотел бы встречаться при других обстоятельствах. Собственно, дорога она и есть дорога.

С работы же Суэтин возвращался автобусом. Когда он в первый раз решил вернуться пешком, то поразился: дорога была совершенно неузнаваемая, чужая дорога! Он едва не

сбился с пути и сделал изрядный крюк. И встречные люди были незнакомые, чужие, и чувство в груди было не отрадное, а тревожное, и мыслей не было никаких. Была одна: зря пошел, надо было поехать.

И тогда Суэтин впервые понял, что человеку, оказывается, вовсе не важно, с кем он идет навстречу цели, ему важно, кто идет навстречу ему, против его движения, с кем он вынужден сталкиваться и кому уступать дорогу. И еще он понял, что чересчур увлеченный своим путем человек совершенно не представляет себе обратный путь и не задумывается, можно ли будет им вообще вернуться, если вдруг его прямой путь к цели окажется тупиковым или гибельным.

Если все время лететь на запад, навстречу вращению земли, со скоростью этого вращения, можно за один полный оборот вокруг земли сэкономить целые сутки. Если с такой же скоростью лететь по вращению земли, на восток, сутки эти из своей жизни надо будет выкинуть. Если это делать всю жизнь, можно, соответственно, прожить или две жизни, или ни одной. И вообще, кто сказал, что к цели надо идти прямо? Если все время идти на запад, в конце концов придешь на восток. Вот и делай отсюда вывод, Суэтин: если хочешь что-то ускорить или сэкономить, начинай двигаться не по течению, а против, не согласно, а вопреки. И тогда сделаешь столько, что на две жизни хватит. Если, конечно, хватит на это одной.

Потом мысли пошли фарватером реки воспоминаний.

Необычайно ярко проплыли перед глазами, как корабли в тумане (он столько читал о них), студенческие годы, а на них, как пассажиры, лица, словечки, ситуации, и стало немного не по себе. Они, эти пассажиры, из белого тумана забвения выплывали и в белом тумане пропадали, а на него не обращали никакого внимания. Будто его и не было совсем. Да его и не было с ними почти пять лет! Суэтин пытался всмотреться в очертания прошлого, но тщетно. Казалось – вот они, перед глазами, а начнешь всматриваться – и нет их нигде. Точно так же иногда двоится перед глазами. Кто его знает, отчего?

Окончив университет, Суэтин понял, что не может начать то, к чему, как ему казалось, он шел все пять лет обучения. Он не мог самостоятельно приступить к задаче, овладевшей его воображением еще на первом курсе. Не мог приступить потому, что не знал, как приступить. Знаний, полученных в университете, явно не хватало. Вернее, они имели совершенно иную направленность. В аспирантуру его взяли, так как никто не сомневался, что Суэтин будет большим ученым, – уже с третьего курса. Пожалуй, он был первый в истории факультета, кто на третьем курсе читал пятому курсу два спецкурса, и на его лекции ходили аспиранты и даже два доцента. Прелесть лекций еще заключалась и в том, что лектор по ходу лекции мог увлечься и ненароком (хотя и в ущерб спецкурсу) решить задачу, над которой бились специалисты в этом вопросе. Экзамены ему шли автоматом.

На третьем курсе он зашел как-то к своему приятелю в энергетический институт (тот нахваливал ему в пельменной спецкурс по газовым турбинам) и, сидя на лекции, с ужасом представил себе, как он через пару лет, получи эту специальность, будет каждый день ходить на работу в проектный институт и рассчитывать ступени и лопатки очередной турбины, определять всякие углы и сопротивления. Или (вообще кошмар) каждый день тащиться на завод и изготавливать роторы. Роторы, роторы, и ничего кроме роторов! Нет, дивергенция ротора это еще куда ни шло!

Сколько дней и ночей потратил он на доказательство того, что время, температура, энтропия, сама вероятность подчиняются единому закону перехода от бесконечно больших величин к бесконечно малым и наоборот. Эта мысль ему запала после знакомства с рядом работ Ландау. Причем на переход не надо было тратить ни одного электронвольта энергии, ни одной атомной единицы массы. Он совершался сам собой при достижении определенного порога, который Суэтин назвал «порогом разворачивания ленты Мёбиуса». Суэтин чувствовал, что находится на пороге открытия, ему надо было совсем немного времени на то, чтобы время на страницах его выкладок побежало одновременно в разные стороны и по прихоти автора могло встретиться в любой точке пространства. Как он тогда торопился успеть к первому заседанию! Не определившись даже с единицей времени, которой ему предстоит оперировать. Он не спал пять дней, а на шестой

уснул в трамвае и проспал два полных круга. Он наивно полагал, что его открытие по значимости соизмеримо с открытием ежегодной конференции молодых ученых!

Академик Дринкин, который имел честь присутствовать на секции теоретиков, после доклада Суэтина хмыкнул:

– Уважаемый коллега, видимо, забыл о петле гистерезиса. Ну, да это из разряда «вечной» забывчивости молодых ученых, – небрежно бросил он под добродушный шумок зала. Все в зале знали, что к «вечным» академик относит в первую очередь проблему «вечного двигателя». Впрочем, академик не был оригинален: любой погост весьма красноречиво решает любую «вечную» проблему. Короче, на теории Суэтина был поставлен крест, как на том самом погосте, кстати, лишний раз подтверждающий ее основной вывод: чтобы развернуть устремившуюся ввысь мысль молодого ученого на сто восемьдесят градусов, академику, достигшему своего порога известности, не пришлось потратить ни одного джоуля своей энергии. От небрежения до пренебрежения, кстати, тоже не надо тратить энергии. Она тратится потом у того, кем пренебрегают. Тратится на злость.

Собственно, зачем академику что-то тратить, подумал Суэтин. Академик за свой статус и так отдал жизнь.

Несмотря на свой академический выпад на конференции молодых ученых (а может, и благодаря ему), академик Дринкин предложил Суэтину место в аспирантуре. Суэтин «влёт» согласился. Вечером «после третьей» он пытал друзей, по-

чему академик его пригласил. Друзья объясняли: «Ты наш гений. За гения!» Но он продолжал недоумевать, чем только подтвердил мнение друзей. За гения выпили столько, что не могли потом вспомнить, сколько.

Несмотря на этот жизненный вираж (а может, тоже благодаря ему), Суэтин был настроен к академику весьма недружественно, если привлечь все термины дипломатии. По-другому он и не мог бы относиться к нему, так как чувства его напоминали чувства девушки, над которыми не просто посмеялись, но посмеялись публично. В глубине души он презирал Дринкина, боялся и потому ненавидел. С годами чувство озлобления против академика только укрепилось в нем. Чувство это посеял сам академик, и оно оказалось сорняком с длинными корнями, который никто вовремя не вырвал. И чем уверенней Суэтин продвигался к намеченной цели, чем ближе была заветная мечта – выстроить теорию... нет-нет, не теорию, лишь введение в теорию, чем меньше оставалось неопределенности в решении поставленной задачи, чем больший интерес проявлял к нему и к его работе академик, тем большая брезгливость охватывала Суэтина. Правда, он ее умело скрывал.

Самым же удивительным событием в жизни и карьере Суэтина была опять-таки неожиданная для него самого женитьба на дочери академика. Дринкин, впрочем, отнесся к этому факту благосклонно. А друзья, несколько охладев к Суэтину,

сухо и через губу поздравили его с «блестящими перспективами», но уже ни разу не сказали, что он их гений. И не выпили с ним. Гений в Суэтине для них отцвел. А может, превратился в сорняк. Он как-то спросил их прямо, почему они так переменялись к нему. Они ответили, что взаимоисключающие вещи не могут сосуществовать.

– Наука для того и создана, чтобы доказывать одновременно существование двух взаимоисключающих вещей, – парировал он.

– Вот и доказывай теперь, – ответили те.

Альбину Суэтин не любил. Вроде всем она была хороша. Ее можно было и любить, и представлять людям, ее можно было обставить импортными гарнитурами и даже завести от нее детей... Но оттого, что она была прямым продолжением Дринкина, у Суэтина часто кривился и дергался рот. И Суэтин не мог с собой ничего поделаться. С Альбиной он, правда, с удовольствием предавался утехам, но потом у него язык не поворачивался о чем-либо с нею говорить. И он тяжело молчал, словно в наказание себе и ей за пятиминутную слабость. Видно, не знал, о чем и зачем говорить.

Совсем тягостно ему стало на третий год аспирантуры, когда диссертация была уже на сносях, а брак все еще бездетным. Это, впрочем, было кстати, так как Суэтин не хотел и боялся продолжения академика Дринкина еще и через себя. Хватит того, что он ему душу заложил по молодости, когда давал чересчур завышенные оценки академику, ну да с года-

ми он переоценил их. Ему было плохо от своей злости, он корил себя, негодовал на себя, презирал себя и, тем не менее, любил себя такого. Никаких перспектив на личную жизнь Суэтин не просматривал. Альбина в личной жизни Суэтина стала заметным аппендиксом, наполненным его желчью. Диссертация же, чем меньше оставалось в ней невспаханых земель, все больше превращалась в скалу, преодолеть которую уже не хватало сил. Ноль, устремленный в бесконечность. Апория Зенона-Суэтина.

Как-то раз Суэтину был сон. Будто бы академик Дринкин выходит из подъезда своего дома, из арки. А Суэтин стоит тут с какими-то мешками, сумками, оборванный, грязный. С ним его жена. Вроде бы она – и она и не она, и Альбина и не Альбина, и дочь академика Дринкина и не дочь академика Дринкина. Неряшливо одетая, одутловатая. Платок дуррацкий повязан. Академик не знает, о чем говорить с аспирантом, неловко делает вольт вокруг него. Суэтин представляет ему жену:

– Это моя жена Альбина. А это академик Дринкин... – и не проговаривает «твой отец», так как замечает, что академик Дринкин брезгливо кривит губы.

Суэтин проснулся и понял, что разведется с женой.

Суэтин развелся с Альбиной (если точнее, с Дринкиным), бросил аспирантуру и укатил к матери в Нежинск...

Когда он вошел возбужденно-подавленный в дом и с порога выпалил ей, что развелся, бросил аспирантуру и наве-

гда приехал в Нежинск, мать одобрила его действия.

– Правильно сделал, сынок, – сказала она. – Жена одна, а девок пруд пруди. И городов невесть сколько, а Москва одна. Нечего на ней замыкаться. Ведь ты же не Ломоносов?

Суэтин вдруг пожалел, что покинул Москву. А когда мать сказала, что аспирантура любит целеустремленных, он и во-все пал духом, так как полагал, что у него, если и есть что, так это целеустремленность.

Через пару месяцев он устроился на завод, в лабораторию, где ему пообещали нормальный оклад (больше, чем стипендия аспиранта), научного руководителя и защиту через пять лет по очень конкретной теме, связанной с утилизацией отходов. Там много очень сложных расчетов, сказали ему.

Устроился на завод, где в цехах стоит вечный гул, не меньший, чем в голове от вопросов, оставшихся навсегда безответными. И где некогда думать, как провести день, ибо за тебя уже все продумано как минимум на пятилетку вперед.

7. Примат логики над чувствами

– Всякий примат водку примат. За примат чувства над логикой! – сказал Гурьянов.

Суэтин подумал, что для примата это достойный примат.

– Увы, не всяк его примат, – сказал он.

– Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – воскликнул Дерюгин. – Вы всё в рифмах. А я глухарёл на той неделе. В лес пришел, а он весь на ветвях засел.

– Ё-мое, кто? – спросил Суэтин.

– Глухарь, кто же еще. Рядками, как в цирке. Машину можно было набить!

– Набил? – заинтересовался Гурьянов, большой любитель птичьего мяса.

– Ага, с Грызлой набьешь! Я-то думал, он уже ходил на них, а он впервой. Глухаря бить надо с нижних веток. Тюк его – он бряк и лежит. А ты вверх поднимаешься. Тюк следующего – лежит. И так до макушки. Он же глухой и тупой, глухарь. Его бы правильнее не глухарем, а тупарем называть.

– О, – вскинулся Гурьянов. – Запишем.

– И что под ним, ему... как до той звезды. А этот дурень, Грызло, сразу в самого верхнего бабахнул. На макушке-то цари сидят. Тот шмяк – глухари, понятно, все и снялись. Его один да моих парочка, нижних. Вот и вся охота.

– Да, царя подобьешь, весь народ разбежится, – сказал Гу-

рьянов.

– Пригласил бы на глухаря, – сказал Суэтин. – Или сожрал уже?

– Сожрал, неделя прошла, – сокрушенно сказал Дерюгин.

– Друг называется.

– Друзья познаются в беде.

– Познаются девушки, – сказал Гурьянов. – Ну что, Женя, как твои амуры? Продвинулись?

– Никак, Леша, – хмуро сказал Суэтин.

– Может, помочь чем? Поможем.

– Вы поможете...

– Звать-то как лебедушку твою?

– Леша, не будем о ней! Следи лучше за стаканами. Видишь, пусто у всех.

– Ну, как знаешь, – вздохнул Гурьянов. – Искренне помочь хотел. Думал даже пару стихов тебе подарить, чтобы поддел на них, как на крючок.

– Ее на стихи не подденешь.

– Брось! На стихи все идут. Хорошо идут. Лучше, чем на закуску. Закуски маловато у тебя, Дерюгин. Мог бы лапку глухариную оставить. Хоть посмотреть на нее. Да не обижайся, Толя! На стихи – проверено неоднократно! Особенно на свои. Как узнает, что сам написал да еще и посвятил ей, единственной, так голова и кружится, ноги слабеют, руки совершают хватательные движения. Рефлекс, одним словом. Сам иногда не рад своему творчеству.

– Ладно, ребята, что-то у меня сегодня настроя нет, да и с закуской туговато, – поднялся Суэтин. – Пошел я. Вы как?

– Что? Вот так, без добавки?

– Как хотите. Пока.

Суэтин с тяжелым чувством и непонятной тревогой покинул гараж и отправился домой.

Две недели, как вернулся с юга, а Настю ни разу не видел возле дома. Уж и прогуливался, как школьник, мимо ее дома, мусор по три раза за вечер выносил.

– Что-то ты чистюлей после юга стал, – недоумевала мать.

Зайти же к Анненковым он никак не мог собраться с духом. Он почти физически ощущал на себе две одинаковые невидимые силы: притяжения со стороны матери, не отпущавшей его от себя, и отталкивания – со стороны Анны Ивановны, не допускавшей его до Насти.

На кухне стоял чад от сгоревшего масла. Мать пекла блины.

– Вот хорошо, пока свеженькие! – обрадовалась она. – С чем будешь, со сметаной или с повидлом? Мед вон.

– Со всем буду, проголодался, – порадовал Суэтин мать и открыл форточку. – Настя прошла, – сказал он. – Как она?

– Не интересовалась, – сухо ответила Анна Петровна. – Защитилась. Они теперь друзья с Толоконниковым. Кто ему друг, тот защиту всегда найдет.

– Коневодство-то в институте у тебя проходила?

– Прошла. Мимо меня не пройдешь коневодство.

– И как?

– Чего пристал? Руки вымой. Пил, что ли?

– Слегка.

– Смотри. Отец тоже слегка начинал.

– Не беспокойся.

– И это мы проходили. Года два говорил: не беспокойся.

Пока язык не отнялся.

– Мама! Ну что ты в самом деле!

Анна Петровна швырнула ложку с тестом в тарелку. Тарелка разбилась.

– Ну вот, – сказал Суэтин. – И до тарелок дошло. Я есть хочу!

– Садись, алкоголик несчастный!

– Вкусно!

Анна Петровна расплылась в улыбке.

– Ты вот еще так попробуй. Ах, какой блин, смотри: края поджаристые, хрустят! Вот эти пятнышки – это не угольки, это как орешки, – она сняла со сковородки золотистый блин, разложила его на плоской широкой тарелке, взяла кусочек сливочного масла, повозила им по блину, пока не растопился, сверху намазала сливовое повидло и закатала блин в трубочку. – Теперь рулетик макай в сметану. Ложечку возьми, ложечкой. Как?

Умяв пятнадцать блинов, просто и рулетиком, рулетиком с повидлом и рулетиком с медом, Евгений прислонился к

стене и устался в окно, тяжело дыша. Ублажил мать! Да и себя заодно. Мать мыла посуду.

– Я помою, ма. Отдыхай.

– Сиди уж! – отмахнулась Анна Петровна.

– Ты глянь, Настя опять идет.

– Ты куда? – крикнула Анна Петровна вслед сорвавшемуся с табуретки сыну. – Куртку надень, простынешь!

– Настя! – окликнул женщину Суэтин, когда та уже заходила в подъезд.

– Вы меня?

Это была незнакомая женщина.

– Увидел Настю? – насмешливо спросила Анна Петровна. – Они уж год как переехали в центр. Чего ж ты целый год не интересовался ею? Мать-то ее теперь шишка на ровном месте. Под самым боком у председателя горисполкома. Председатель какой-то комиссии.

– Адрес не знаешь? Или телефон?

– Вот уж чем никогда не интересовалась! – поджав губы, ответила мать.

– А где работает, в институте?

Анна Петровна ничего не ответила.

8. Под Горою вишня

Смешанным народным хором при Дворце культуры имени профессора Силантьева год назад взялся руководить знаменитый Гремibasов из оперного, народный артист под шестьдесят. До юбилея ему оставалось года полтора, всего ничего. С годами ему, как всякому творческому человеку, захотелось еще и поруководить. С годами надо чаще разводить руками, распрямляя грудь и стряхивая сутулость.

Народный хор уже существовал двадцать лет и ему требовался лишь руководитель. Прежнему хормейстеру Серикову уже не хватало сил на руководство. Двадцать лет назад, незадолго до пенсии, он покинул оперный театр с идеей создать в Нежинске достойный его народный хор. Корреспонденту «Правды» он тогда сказал: «Иду в народ. Там одни таланты». Двадцать лет, увы, прошло, и здоровья ни они, ни народные таланты не добавили. Если бы руководить без репетиций – еще куда ни шло, но в семьдесят семь лет заниматься сразу двумя делами было утомительно. Да и слышать плохо стал Сериков, развилась тугоухость.

Собственно, кроме Гремibasова, других претендентов на хор и не было.хлопотливое это дело. Тут и способности нужны, и связи, и непробиваемая ничем человеческая порода. У Гремibasова все это было. И голос бас, и с годами доведенное до виртуозности умение со всеми находить об-

щий язык, и способность, выпив литр водки, реветь на банкетах, как иерихонская труба. (Впрочем, почему иерихонская? Иерихон где? В Нежинске, если кому-то хотели сказать, что он ревет, как иерихонская труба, говорили: что ты реवेशь, как Гремibasов?) К тому же, у него была специальность хормейстера. Что еще надо? Короче, хористы и хористки стали у него за год как шелковые, а хор просто замечательным. Разумеется, среди них были хористы и хористки со средненькими данными, так, для фона, но были просто Кармен или Фигаро.

Гремibasову очень нравилась Настя Анненкова. Голос, в котором от природы была страсть. Даже не цыганская. Больше испанская. Редкий голос. И что удивительно, сама Настя казалась другой. Не Кармен, нет. Более недоступной, величественной, отстраненной от собственной страсти. Это рождало удивительную иллюзию ее многослойности, что ли. А может, оно было так и в самом деле? Нравилась Гремibasову Настя. Глядеть на нее – глаз радуется, а слушать – душа млеет. Еще бы самому лет эдак пятнадцать-двадцать скинуть, вообще можно было все позабыть! Такую Гранаду с Валенсией устроить!

Гремibasова знали далеко за пределами города. А на птицефабрике имени Мартина Лютера Кинга гордились им, как собственными успехами. Дело в том, что Гремibasов родом был из поселка Лазурный на берегу Нежи, что в пятнадцати километрах от города. В поселке и располагалась пти-

цефабрика. Собственно, фабрика и была поселкообразующей структурой. Босоногим мальчишкой Гремибасов ушел из Лазурного в музыкальное училище, а вернулся во фраке сразу на «Доску почета» птицефабрики, где оказался «почетным» членом орденосного коллектива. Два-три раза в год Гремибасов навещался в поселок один или с коллегами и устраивал жителям настоящее шоу. Этой весной познакомил земляков и с народным хором.

Директором птицефабрики пятый год был Иван Гора, сын гремибасовского друга детства Федьки Горы, «Бугая», как его называли всю жизнь. Иван Гора был еще крупнее бати и в делах хват, каких мало. Фабрика при нем процветала, каждый год завоевывала первые места в соцсоревновании и каждый год награждалась всякими наградами из арсенала наград. Гремибасов коротко сошелся с ним. Они любили крепко выпить, закусить, чем бог послал в тот день с птицефабрики, и до глубокой ночи распевать народные песни. У них это выходило просто здорово. Слушать собиралась вся округа. У Горы голос был еще гуще, чем у Гремибасова. Может, только не так хорошо поставлен.

Иван был холост и Гремибасов отечески хотел ему посодействовать в обретении семейного счастья.

– Ваня, – как-то сказал он, – а не жениться ли тебе? Девка есть – сам бы женился.

– Женись, – одобрил Гора.

– Тебе, тебе справиться с ней. Я не осилю.

– Брось? – не поверил Гора, сдирая крепкими белыми зубами упругое мясо с куриной ноги. – Не доварили.

– Не осилю, не осилю. Года не те.

– Какие наши годы, – Гора вытер руки о полотенчик. – Споем?

– Да постой. Ты ее видел. Помнишь хор? Девушек?

– Хорошие девушки, – согласился Иван. – Так как?

– Ну что заладил? Успеется. Ее сразу видно было, ладная, голос, огонь!

– Это что «рябину кудрявую» с «тонкой рябиной» пела?

– Вот-вот, она! – обрадовался Гремибасов.

– Хорошая девка! – припомнил Гора и грянул «Степь да степь кругом», так грянул, что и впрямь показалось, что не поселок это Лазурный на берегу Нежи в июне, а глухая-преглухая степь в январе.

– Вези сюда девку, – кончив петь, сказал Гора. – На катере прокачу! В следующее воскресенье, как? Весь хор вези. Встретим. Только предупреди. Закажу пароход.

– Попробую. В среду позвоню. Автобус за тобой.

Через неделю Гремибасов повез в Лазурный свой хор. Ночью прошел дождь, и всю дорогу от города до поселка радостно блестело солнце в лужицах и на листве.

Перед концертом Гремибасов представил Настю и Гору друг другу.

– Как дела? – спросил Гора.

– Хорошо. Прекрасно. Но я не жалуясь! – ответила Настя. Гора крикнул, а Гремибасов топнул ногой. Знакомство состоялось.

А концерт состоялся в обед. Он был, как положено, в двух отделениях и имел шумный успех. После концерта всем участникам хора преподнесли объемистые свертки с продукцией птицефабрики и тут же спрятали их до отъезда хора в холодильники. А хор посадили на двухпалубный пароход и повезли по Неже. По замыслу устроителей, прогулка была совмещена с трапезой, и так уж получилось, само собой, что Настя оказалась за столиком рядом с Гремибасовым и Горой. Столик был на троих. То есть буквально треугольный, в углу носового ресторана. Настя поймала себя на том, что думает о Суэтине.

– О, – сказала Настя, – таргалетки, волованы!

– Вы знаете эти блюда? – удивился Гора. Гремибасов тоже удивился, так как поедал их, не интересуясь названиями.

– Да, мама у меня кулинар.

– В ресторане, наверное, – сказал Гора и тут же махнул, чтоб несли горячее.

– Вы уж меня извините, – сказал он, – не люблю церемониал: закуски, оттопыренные пальчики, сю-сю о погоде. Люблю сразу и конкретно – горячее. Оно душу греет. А потом прочее. И вы не церемоньтесь. Вам, Настя, может, тоже сразу горячее?

– Сразу! – сказала та. – Чтоб обжигало!

– Ценю! – одобрил Гора. – Только так и нужно есть. Чтоб жгло.

– Надо все так делать, – заметила Настя.

Гремибасов с удовлетворением следил за развитием беседы и подмигнул Ивану.

– Знатный голос у вас, – сказал Гора, – учились где?

– Самоучка.

– Да? От природы, значит. Это самое верное, от природы. А, Фрол Ильич?

– Да-да, – кивнул Гремибасов. – У тебя, Ваня, тоже, кстати, от природы чудный голос. Идеальный вокальный слух. Вы его, Настя, слышали когда-нибудь?

– Три чуда природы, – засмеялась Настя, – за одним столом!

– За кур! – поднял рюмку Гора. – За радость, которую несут они людям искусства!

– За взаимную радость! – добавила Настя. – За резонанс!

– О, вы знаете такие термины? – опять удивился Гора, а Гремибасов подумал: «Ну, теперь точно Ваню зацепило».

– Некоторые другие тоже знаю, – блеснула взором Настя.

– Какие, например? – благодушно спросил Гора. Ему было приятно, черт возьми, очень приятно сидеть за одним столиком не просто с работниками птицефабрики, даже трижды заслуженными, а с народным артистом, гордостью и знаменитостью, можно сказать, всей страны, и с такой замечательно красивой, обаятельной и, что даже странно, умной жен-

щиной.

– Например, существует ли связь, и если да, то какая, морфологических признаков яиц с полом развивающихся в них эмбрионов. Или – в каких яйцах в первую половину инкубации идет более интенсивное развитие зародыша – крупных или мелких.

– И каких? – Гора положил ложку на стол.

– В мелких.

Гремибасов подумал: «Н-да-а...»

– Я бы отдал предпочтение крупным, – сказал он. – Вот картошка, например...

– Вы птицевод? – спросил Гора.

– Скорее птицевед.

– А я птицеед, – неудержимо засмеялся Фрол Ильич, заразив своим смехом сотрапезников.

– Для птицееда вы достаточно крупный, – заметила Настя. – Предлагаю тост за птице-вода, птице-веда и птице-еда.

– Что-то цезарианское, – заметил Гремибасов, – вода, веда, еда.

– Пришел, увидел, съел, – засмеялась Настя.

Прогулка положительно удалась! Гора был сражен, Фрол Ильич потрясен, а Настя подумала, что не так уж и плох директор птицефабрики в качестве... своего количества... Представительный мужик, с голосом, фигурой, да еще такое хозяйство тянет, и тянет, похоже, дай бог каждому. Шутка ли, весь поселок на его широких плечах. Далековато, прав-

да, от города, зато машина своя. А что машина: захотел – целый пароход его! А Евгений – что Евгений? Где он? Хоть бы объявился разок! А тоска – что тоска? Тоску прогоняют весельем!

Когда женщине за двадцать пять, она начинает разглядывать мужчин с высоты пятидесяти.

Когда высадились с парохода, Гора повел Настю и Гремибасова в вишневый сад, где залез на самую большую вишню, верхушку которой украшали уже начавшие созревать ягоды, и стал рвать их в ладонь. Ствол на глазах ушел на два дюйма в землю.

– На горе стоит ольха, под горою вишня, – речитативом выкрикнул он, чуть не свалившись с дерева, – полюбил девочку я, она замуж вышла!

– Под медведем вишня, – засмеялась Настя.

Она вдруг вспомнила, как мать (когда же это было – на третьем курсе, что ли, да-да, они тогда познакомились с Гурьяновым) облегченно вздохнула: «Гора с плеч». Гремибасов подмигнул ей.

Гора тяжело спрыгнул с развилки ствола, протянул Насте огромную пухлую ладонь, в которой было десятка два красных вишен.

– Ты смотри, уже спелые! – она наклонилась и стала губами брать по вишенке.

Гремибасов замурлыкал песенку и деликатно направился вглубь сада. Оглянувшись, он увидел, что Настя с Горой на-

правились к реке, о чем-то беседея. Через каждые два-три шага Настя наклонялась к ладони Горы и брала в рот очередную ягодку. Вот и славно, подумал артист. Дар восприятия у них есть, значит, есть и дар воспроизводства.

А вечером, после того, как хор усадили в автобус и увезли в город, Настя позвонила матери и предупредила ее, что остается по научным делам на птицефабрике. Гора пригласил ее и Гремибасова в свое просторное холостяцкое жилище, и весь вечер они кутили, пели, танцевали под магнитофон; а уже за полночь катались на моторке с дикой скоростью по реке и орали во всю ширину серебристой глади.

9. Встречай, Настя, цыган

Резкий звонок в дверь сопровождался неясным шумом на лестничной площадке. Шумом, похожим на гул. Так гудят стиральные машины в новых прачечных. Настя глянула в глазок и обомлела: там было человек двадцать! Все страшно галдели и размахивали разноцветными тряпками. Новый звонок не оставил сомнения: звонили к ней. Кого это черти принесли! Домом, что ли, ошиблись? Такие воспоминания прервали – о юге, о встрече... Настя набрала воздуха в грудь и открыла дверь.

– А вот и мы! – с ревом в квартиру ввалилась орава. – Встречай, Настя, цыган!

Пять минут ничего нельзя было понять: орали глотки, мелькали ленты, змеились юбки, неуловимо мягко мельтешили шажки, дергались плечи, лопались струны гитар, блестяли зубы, сверкали глаза.

– Жги!.. Жги!.. Рассказывай!.. Лена, прошу тебя!.. Жги!.. Жги!..

Настин кот от ужаса залез в ведро с водой. И не окончила еще пятиминутка, не опала песня, как вскрикнул в другой раз дверной звонок, будто раненый лебедь. Настя на ощупь отодвинула задвижку. В воздухе повисли сады Семи-рамыды. Громадная плетеная корзина с розами благоухала и плыла, как мечта Ассоль.

– Придется выставлять дверь. Не проходит, – прогудел из-за корзины бас «мальчика».

– А выставляй! – разрешила Настя. – Черт с ней! Хоть стену ломай, не жалко!

Цыгане завели новую песню. На этот раз жалостную. Они раскатились по всей квартире, и каждый квадратный метр жилья вдруг пророс упругими цыганскими голосами. Они то хлестали мокрыми ветками осенней глухой хрипотцы, то продирали пронзительной стужей волчьего воя, то сотрясали июльским бабьим плачем навзрыд. Та не смолкла – новая! Лихая да с танцами! Квартира тряслась, как кибитка, даже трубы гудели в клозете.

Корзину пропихнули боком, и она своим кругом едва вписалась в двенадцать квадратов «детской». На минуту голоса стихли. Корзину окружили. У всех вдруг стали детские лица.

И снова песня. Не дошла она еще до верхней планки своей – опять раздался звонок в дверь. Длинно. Коротко. Дзи-и-инь. Дзинь. И еще раз длинно. Дзи-и-и-инь! Настя открыла дверь.

Знаменитый Гремibasов из оперного взревел в лицо Насте: «Пою тебе, о, Гименей!» Плотная звуковая волна, смешанная с запахом дагестанского коньяка и французского одеколona, ощутимо вскинула голову Насте вверх и назад, и оттого осанка ее стала как у Марины Мнишек. За Гремibasовым угадывались ошалевшие соседи по подъезду. Они еще на прошлых выборах лишились голоса, а сейчас и вовсе

онемели и освещали Настину прихожую безумными от зависти глазами. «Гименя» подхватили цыгане, и Настин дом продрало от подвала до чердака. Гимн еще гремел, как раздался властный стук в дверь. И дверь слетела с петель. Настя вскрикнула, едва успев отпрянуть. В проеме, как Мефисто, возник в черном фраке и розой в петлице сам Иван Гора.

– Настя! Встречай дорогих гостей! Эх, Настасья! Отвори-ка ворота! – Гора прошагал по двери, а за ним скользнул отряд вечных нахлебников. – Карета подана, мое золото! Миша! – подмигнул он седому приземистому цыгану. – Жарь!

Миша тряхнул плечами, сверкнул глазом, топнул сапожком, рванул струну – и взвыли цыгане навзрыд. Соседи протиснулись в квартиру. Все стали вдруг плясать не в такт. С антресолей свалились два чемодана. Прибежали из соседнего подъезда. Ничего не поняв, запели и заплясали тоже.

– Заноси! – гаркнул Иван в окно кухни.

Наверх поднялось шампанское. Быстрее, чем пена в бокале. Два человека поднимали, два открывали, два наливали. Захлопали пробки, полилась пена, зазвенели бокалы, забулькало в глотках. Ударило в нос, засверкало в глазах, зашипело в ушах, затопало в ногах, заухало в сердцах. Начался безудержный кутеж. Вызвали милицию. Та приехала, посмотрела, примкнула. К двенадцати часам ночи перед домом пела и плясала улица имени Лассалья, во дворе разминались под танго из открытого настежь окна, на скамейках и в ку-

стах детского сада шли завершающие процедуры...

Разбитый радикулитом Пескарев ругал матерными словами судьбу за то, что она лишила его возможности подняться выше этажом к Насте (эк гуляет, сволочь!) и оттянуться там на полную катушку. Интересно, кто это так расстарался? Пескарев, каркая, прыгал по своей квартире, а жена кричала ему:

– Куда? Куда тебе? Ты погляди на себя! Куда тебе еще пить?! Смотреть страшно!

Пескарев с ненавистью смотрел на спутницу жизни и орал:

– Страшно – не смотри! Шампанского – душа горит!

– А разнесите-ка жильцам по две бутылки! – приказал в это время Гора. И не успел Пескарев сжечь душу дотла, как звякнул дверной звонок.

– Кто там? – прильнула супруга к глазку – в глазке фигура, две руки, в руках по бутылке.

– Не обошли! Не обошли стороной! – прошипел Пескарев. – Чего ждешь? Отворяй!

В дверном проеме возникли две золотоголовые бутылки. Пескарев взвыл от радости, жена взметнула обе руки, но успела перехватить лишь одну бутылку. Другую бутылку перехватил Пескарев.

Гремибасов с Горой в два часа ночи пили шампанское на брудершафт прямо из бутылок. Выпили, крякнули, поцеловались, с восторгом взглянув на всех.

– Где бокал? Налейте мне! – загремел Гора. – За верных жен! В них больше пыли!

– А мне неверные – так больше по душе! – пропел Гремибасов.

– Неверная – кадушка огурцов! За верных, самых верных жен! За Настю!

– Постой! Так Настя же одна?! – речитативом воскликнул Гремибасов. – Насколько знаю, таковой была!

– Была! Да перестала! Теперь мне спутница до гробовой доски!

Гремибасов с Горой, осознав, каким высоким штилем они только что изъяснялись, воскликнули: «Все слышали?!» – и обнялись, уронив друг на друга слезу. И так, обнявшись, не стовариваясь, грянули:

Вот мчится тройка почтовая

По Волге-матушке зимой,

Ямщик, уныло напевая,

Качает буйной головой.

Душу вывернули они наизнанку. Гремибасов пел – не чета всем народным певцам, а Гора – ревел, как трижды народный артист. Когда они вытянули «О чем задумался, дети-на?» – одиноких граждан на ночном перекрестке взяла оторопь, а жильцов дома, не примкнувших к загулу, смертная тоска. Цыгане то ли пели, то ли плакали навзрыд. Седой цыган Миша порвал струны на гитаре и бил ладонями по голенищам и об пол. Настя поняла, что такой ночи в жизни ее

больше не будет. Да ни у кого больше не будет! Это, кажется, чувствовали все. И все пели и плакали в голос. В голос русской безумной страсти – не к кому-то конкретно, а к жизни вообще. Страсти, которая хоть раз в жизни, да захватит каждого!

Ах, милый барин, скоро святки...

Ах, как рвется сердце, рвется на части! Когда же, ах, когда настанут эти святки, когда напьется вусмерть ямщик? Настя, не стеснясь, ревела. Прогоняла тоску весельем. Ей виделась бешеная тройка, а на ней в шубах, под разбойничий посвист ямщика, она с – Евгением! А за тройкой – снежный вихрь, а в вихре том – горит все синим пламенем! Ревели все, включая участкового майора Трепоуха. Эх накатило на всех!

10. Раскаяние Анны Петровны

– Что-то мы с тобой совершенно не думаем об отце! – заявила с порога Анна Петровна, придя однажды из института вообще в одиннадцатом часу вечера.

– Что с тобой? – спросил Евгений. – Чай хоть попей.

– Что с нами, ты хочешь сказать? Родной твой отец где-то в глуши, у чужих людей, без призора и участия, доживает свой век, а мы живем, будто нас это и не касается!

– Ма, у вас что, был вечер поэзии? Сколько патетики!

– Брось издеваться над матерью!

Если она и совершила в жизни ошибку, по молодости (будь она неладна, твоя молодость!), – это вовсе не означает, что ее должен в старости попрекать собственный сын!

Началось, подумал Суэтин. Пошло-поехало.

– Отец – кстати! – сказал он. – Не позабыт и не позаброшен. У него там своя семья. Дом.

– Да какая семья! Какой дом? Тут его дом! Мы – его семья!

Вот те раз! С чего это? Угрызения совести? Раскаяние? Да она-то при чем? Спился человек. Спился и укатил в свою губернию. К первой своей жене и первому сыну. Суэтин впервые осознал, что у него где-то в брянских лесах еще есть отец и брат. Что он про Брянск знает? Шумит сурово брянский лес. Да волки воют зимними ночами... Грибы с глаза-

ми? Нет, то в Рязани. Он попробовал про себя проговорить слова «отец», «брат», но они были сухие и шершавые, не родные слова. Отца Суэтин практически не помнил, а брата и вообще не знал.

– Значит, так, – решительно заявила Анна Петровна. – Берешь отгул, прогул, чего хочешь, и катишь в Сельцо. Это под Брянском. Находишь там отца и привозишь его сюда. Адрес есть. Как добраться, тоже.

– Ну, спасибо за сказку. «Спокойной ночи, малыши». Ма, может, до утра с поездкой подождать? Утро вечера мудренее.

– Тебя никто на ночь глядя из дома не гонит.

– Благодарствуйте. А мой голос как-то учитывается?

– Как совещательный.

– Тогда спокойной ночи!

Утром Суэтин хмуро пил чай, как бы забыв о вчерашнем разговоре на сон грядущий. Анна Петровна перебирала листочки с лекциями.

– Ну, я пошел, – сказал Евгений.

– Лучше возьми неделю в счет отпуска. Или за свой счет. Не обнищаем. Там поживешь хоть пару дней. А то неудобно приехать и сразу увозить. Родственники какие никакие, – смилостивилась Анна Петровна.

– Ты это серьезно? Ма, да меня никто сейчас на неделю не отпустит. Отчет кто будет писать?

– Подождет твой отчет. Отец важнее! Вот адрес, дай телеграмму, чтобы встретили. Там надо добираться от вокзала.

Суэтин хлопнул дверью, но, придя на работу, остыл – и снаружи, и внутренне. Может, и права мать, отец важнее? Поговорив на высоких тонах с Булкиным, он добился-таки недели и укатил под Брянск.

Встретил его сводный брат Николай и по дороге долго и как-то мелко рассказывал про свое невыносимое сельское житье-бытье. «У вас там, в городе!..» – то и дело восклицал он и глядел на Суэтина настороженным взглядом. Было ему лет сорок, и был он широкий и плоский, как лепешка, точно все эти сорок лет ездила по нему тяжелая скалка. Суэтин не произнес ни слова и только думал, что за то время, что он жалуется на жизнь, можно было бы выправить ее не один раз. Да и у нас в городе, как у вас тут в огороде, одна холера!

– Надолго? – настороженно спросил Николай.

– На пару деньков. Отец как?

– Да так же.

Суэтин не стал уточнять, как. И так было ясно, что плохо и все с ним намучались. Теперь будем мучаться мы, со злорадством представил он растерянность и раздражение матери, когда он вывалит папеньку на ее чистую постель. Ох, что-то я злой стал, подумал Евгений. Нехорошо.

Отец спал. В комнатенке его пахло залежалым и кислым.

Сидели в зале с низкими потолками и маленькими окошками, пили водку, макали пирожки в сметану, перекусывали. Николай перестал говорить, а Суэтин так и не начал. Нина,

жена его, возилась с едой. Ксения Борисовна, первая жена отца, молча сидела за столом и изредка вытирала платком то ли рот, то ли глаза. Она отворачивалась в этот момент. Ей было тоже где-то под семьдесят. К вечеру должна была собраться остальная родня, из которой Суэтин не знал никого, и предстояло веселье.

– Плохой отец наш, – наконец произнес как бы через силу Николай. – Очень плохой. Немного осталось мучиться.

Ксения Борисовна встала из-за стола и вышла из избы. Она с трудом передвигалась. У Суэтина сжалось сердце.

«Мучиться кому?» – подумал Суэтин. Его покорила эта деловитая информация, но, взглянув на лицо Николая, состоящее из морщин и теней, понял, что тому не совсем гладко в жизни и не так уж светло.

– Я приехал за ним, – сказал он.

– Какое там! – махнул рукой Николай. – Его шевелить-то страшно.

Когда водку допили, Суэтин достал из сумки бутылку коньяка.

– Плакал отец, – сказал брат, – как же так, помру, а ни Женьку, ни Анну не увижу больше. Хорошо, хоть ты приехал.

– Мать не приедет, – сказал Суэтин, чтобы поставить точку на возможном развитии разговора. – Сама болеет.

– Серьезное что-то? – спросил Николай.

Суэтин не ответил.

Зашла Нина.

– Проснулся. Сказала. Заплакал, ждет. Я посадила там его, управилась одна. После паралича приходится таскать, – с осуждением, как показалось Суэтину, добавила она.

На кровати сидел, сгорбившись, опухший старик. Бог ты мой, сколько же ему лет? Все сто, наверное. Где-то семьдесят, вспомнил он слова матери. Чтобы не упасть, старик вцепился желтыми пухлыми пальцами в кровать, голову держал прямо, а глаза косил к двери. Суэтин с болью отметил, что он небрит и, очевидно, давно не мылся. Голову отца ровно покрывал седой стриженный волос. Он не мог повернуть шею, кривил рот и из груди его рвался хрип.

– А-а-а-х!.. – он повалился навзничь на подушку, раскрыл беззубый рот и из него засипел то ли смех, то ли плач, какого Суэтину отродясь не доводилось слыживать.

Суэтин стал беспомощно суетиться возле отца. Нина занесла тому опухшие ноги на кровать и прикрыла одеялом. По пухлым щекам круглого, незнакомого, широконосового лица ползли огромные желтые слезы, а рот все сипел и сипел, точно изнутри кто-то проколол пузырь с застоявшейся тоской.

– Не плачь, не плачь, – гладил Суэтин отца по мягким седым волосам. – Не плачь. Не надо, я тут.

– Да не плачу я, – с трудом, но достаточно внятно произнес отец. – Разве я плачу? Разве это плач? Сами они текут, накопились, не спрашивают. А-а-а-х... На чем приехал?

Колька привез?

Нина стояла в дверях, все еще с осуждением, как показалось Суэтину, глядела на них, но – кусала губы. Заметив, что Суэтин обратил на это внимание, повернулась и ушла.

Только минут через десять Суэтин стал признавать в этом грузном туловище с несуразно большой головой отца. Что сделалось с ним, что сделалось! Ему показалось, что он что-то припоминает. Это, скорее всего, в нем припоминала что-то отлежавшая бока совесть.

– Как ты тут... папа?

– Что?

– Как ты тут, спрашиваю, хорошо живешь, папа?

– А-а. Хорошо, лучше некуда, – пробовал улыбнуться отец. – Дышу вот еще. Дышу вот только нет. Так мой отец говорил когда-то: дышу. Давно! Живу пока. Всем надоел уже.

– Ну что ты так, папа...

– Надоел, надоел. Да и мне-то надоело все, если б ты знал! Я уж и зову ее, зову – не идет! Не берет меня, не хочет.

– Кто? – спросил Суэтин, но отец не услышал. Он закашлялся. Кашлял долго, с треском, точно у него рвалось что-то внутри. Вот так и дорывается жизнь, с тоской подумал Суэтин. Ему было невыразимо жаль старика, в котором он и хотел, но не мог увидеть своего отца, которого помнил остатками памяти, в котором не было чего-то такого, что должен был обязательно ощущать в себе он, как его сын. Этого – наверное, уже в нем и не осталось, подумал Суэтин. Значит,

скоро, и правда, конец. Отец тянул голову к краю подушки и сплевывал в тазик с водой.

– Что оно такое? Душит и душит. А напоследок так придушит... Уж хочется, чтоб придавило, да и закопали потом, – вяло махнул он рукой. – Раньше внутри, точно кошка, собака или другой какой зверек залезет и поет там, поет на свой лад, а то свистит, как суслик. Чуть кашлянешь – орет там благим матом. И что ей надо?.. Колька-то переменялся, переменялся. Редко тут у меня бывает. Оно – и работа у него, понимаю, трудная, и время все забирает. А невестушка – третий год вот лежу...

Как третий, – оторопело подумал Суэтин, – неужели третий – вот так?

– Не зайдет, не спросит: папа, может, вам желательно чего? Третий год лежу, и ничего мне не надо. Позавчера думал: всё, помру. Опять не забрала.

Суэтин подумал: как странно, отец, в общем-то интеллигентный человек, учитель географии, не только в мыслях, а даже в словах скатился чуть ли не на самый низший уровень мыслей и слов. Что это я, смерть надо встречать просто, ведь проще ее ничего нет.

– Оно и хорошо, – продолжал с подобием улыбки отец. – С тобой свиделись. Жаль, мать не привез. Мы-то с ней в Венгрии еще познакомились. Я начальником штаба был. Помню, иду как-то вечером, а она на крылечке сидит. Вот тогда она и приглянулась мне. Эх, пил тогда! После войны. В войну-то

особо нечего было. Да и как не пить? Столько горя вокруг... Ну, да ладно. А она-то боится, что ли, меня? У меня уж и сил не будет дать ей в морду...

Суэтин невольно отодвинулся от отца, так как подумал, что тот говорит о матери, но потом понял, что у того есть более важный предмет для рассуждений – смерть.

– ...да и желания. Это молодых да здоровых ей остерегаться надо... Три года вот это окно!.. А у всех свои дела, у одного меня ничего, ни-че... – и вновь засипело у него в груди.

– Ты хоть телевизор-то смотришь?

– Да не вижу я! Слушаю, когда громко включают. Я хоккеем больше люблю. Николая Озерова. Концерты люблю. Софью Ротару... Они оба веселые.

Отец взял Суэтина за руку большой ладонью не учителя-географа первой половины своей жизни, а плотника – второй, и попробовал встать.

– Фу ты, Женя, посади-ка меня. Вопрекл весь.

Суэтин усадил его. В дверях молча возникла Нина.

– Это что там за человек? – скосил отец глаза.

– Это я, папа.

Он накренился набок. Суэтин поправил его, за спину подложил подушку.

– Хорошо?

– Хорошо-то хорошо, плохо не скажешь. Да и хорошо не бывает плохо.

Слабые руки все-таки не удержали его, и он вновь повалился на спину.

– Ой! В костреце больно.

Суэтин с Ниной уложили его.

– Ксения где? – спросил отец.

– Спит мама, – ответила сноха. – Слаба она.

– А я силен! – хихикнул отец. – И борд... бодр... бодрствую!

– Вот видишь, какой он, – сказала Нина тихо, – измучалась я с ним. Он же тяжеленный. А у меня уж и у самой-то сил никаких. Спина отнимается. Саму бы кто тягал по двору. А свекровь сама божий одуванчик, ветром носит. Сейчас-то он еще ничего, а весной был... А на двор вздумается, так... А-ай! – махнула она рукой.

И все, что она не сказала еще, сказали красные опухшие глаза. Много сказали. И ничего злого. От злого другой цвет у глаз. Пепельный.

– И врач говорит: болезнь моя идет в независимости от никакой пропорции, – вдруг ясно, без сипения произнес отец.

– Папа, хочешь конфетки? Я привез разных...

– Спасибо тебе, Нина, спасибо, родная, – вырвалось у Суэтина за столом. Нина положила свою теплую руку поверх его руки и сказала только : «Чего уж там...»

– Ну, и как там наш отец? – спросила Анна Петровна. – Козликом всё? Хорохорится? Раз не приехал.

Глаза ее поблескивали, но в них был и вопрос.

– Почти что никак, – сказал Суэтин.

Он хотел скрыть от матери то, что смерть уже занесла свою ногу в дом отца, а значит, и в их дом, но не смог, и рассказал все, как оно было: неприглядно, страшно и безжалостно.

– Лежит небритый, немывтый, забытый! – вырвались напоследок богатые рифмы жизни. Где ты, Леша Гурьянов?

Анна Петровна впервые видела его таким жестким и осунувшимся. Он не обвинял ни ее, ни себя, но в словах его, тоне и еще сильнее в опущенных глазах были гнев и боль.

11. Диполь чувств

Страстного человека страсти и погубят, ибо сколько страстями он ни насыщается – они его не насыщают. Они его в конце концов раздерут на две части и вместо спокойного поля души будет диполь из противоположных зарядов. И в одной части будет в чистом виде ненависть, а в другой – любовь. Спасти такого человека может разве что другой такой же разодранный страстями несчастный. Встретятся они – притянутся друг к другу, соединятся и будут в блаженном покое недоумевать, как это иных раздирают страсти, – если встретятся.

По старинному русскому обычаю молодые на свадебном пиру обязаны некоторое время находиться в шубах. Лучше, конечно, когда пир приходится на зиму, а если в июле – приходится попотеть. Да за ради любимого, за ради обычая, за ради людей – чего не сделаешь!

Иван приодел Настю в горностая, а сам был в медвежьей шубе до пола.

– Пара – зашибись! – раз семь произнес Гремибасов.

– Князь! Молодая княгиня! – восклицал Гурьянов. Знал бы кто, сколько кошек грызли его сердце!

– Эх, баня! Ну, баня! – орал, обливаясь потом, Гора. – Вот пропаримся так пропаримся! Пива! Холодного пива! Настя, ну-ка вжарь нашу! А потом ты, Гремибасов!

И Настя вжарила: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!»

А Гремибасов, чтоб не отстать: «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам!..»

Гора скинул с себя медвежью шубу и бросил ее под ноги Насте. Брякнулся на колени и протянул «молодой княгине» руки. Настя выскользнула из горностаевой шубы и тоже встала на колени перед «князем». Гремибасов, а следом все, заорали: «Горько!» – и молодые погрузились в горький для многих поцелуй.

– Царственно! Царственно и величаво! – шумел знаток фольклора и старинных русских обрядов Гурьянов. – Кто блюдет старину – у того всё по уму! Еще бы бабью кикку княгине и красный пояс князю! Есть?

– Это ты пригласил? – спросила Настя Гору.

Тот пожал плечами и сказал:

– Пфф!

Гурьянов, как истинный поэт, не просто сам затесался в компанию, а еще и привел своего друга Суэтина.

– Это Женя Суэтин, – представил его Гурьянов, – будущая союзная знаменитость.

Уточнять Гурьянов, правда, не стал, чем именно будет тот знаменит. Настя сказала:

– А мы знакомы. Здравствуйте. Как поживаете? – и отвернулась. Дрожащей рукой налила себе бокал лимонада – пересохло во рту.

Суэтин открыл было рот, но жизнью его, похоже, здесь мало кто интересовался. Что же сердце так бешено бьется в груди?.. Не забыть подарить эту строчку Алексею.

Гурьянов продолжал шуметь о том, что свадебный наряд нельзя ни продавать, ни дарить – иначе продашь или подаришь свое счастье. Что это он так набрался сегодня, подумал Суэтин. Будто тоску заливает. Как шумно, однако, то и дело думал Евгений.

– Не сносить вам теперь этих шуб! – пьяно кричал поэт.

– Сносить бы головы! – крикнул Гора.

Не считая случайных людей от искусства и искусства случая, одних приглашенных было триста пятнадцать человек! Только со стороны жениха их было двести пять: многочисленная родня Горы (одних сестер с братьями десятеро, а с семьями – сорок пять) да орденоносный коллектив птицефабрики – полтора человека. С Настиной стороны было куда скромнее: семь родственников, шесть соседей, одиннадцать человек с кафедры, две подруги, да из хора двадцать три человека. Человек шестьдесят было приглашенных цыган, артистов из оперного театра, журналистов с радио и телестудии и еще непонятно кого.

Пир кто-то из журналистов ехидно назвал «куриным», хотя он и без всякого ехидства был таковым. «Куриный пир» помнят на птицефабрике и по сей день. А сам Гора свою женитьбу, со звоном, кутерьмой, телеграммами и телефонными

звонками, долго еще называл «звенитьбой». И должен был длиться этот пир со звенитьбой целых три дня и три ночи.

Поскольку пировали непосредственно на птицефабрике – на столах все было с птицефабрики. Курицы, говорят, перевыполнили задание по яйценоскости, а в честь молодоженов, сохранились предания, ученый Акулов с кафедры разведения СХИ выпустил из клетки, как на день птиц, двух «ястриц» – гибрид ястреба с курицей. Ястрицы взмыли в поднебесье и от резкого перепада давления воздуха замертво свалились наземь.

Одни только холодные блюда и закуски, приготовленные из яиц и из кур умельцами поварами, в состоянии были свести с ума любого гурмана. Взять хотя бы румяные канапе с хрустящей корочкой со слоем куриного паштета и гарниром из ломтиков яиц, украшенных маслом, выпущенным из корнетика.

А первые блюда: густая домашняя лапша с курицей под рубленным укропом и полтавский борщ из копченой курицы с галушками под сметаной – о, далеко не последние блюда!

Свадьба красна, понятно, молодыми, а еще пуще столом. Столы ломились сами по себе, да на них еще налегли так, что у них подламывались ножки. Два часа жующую публику увеселяли роняющие слюну артисты и тамада.

Гурьянов стонал. Он чутко реагировал на любую еду. Большинство людей в мире реагируют на запах еды, как со-

баки, или на изысканность блюда, как испанские гранды, соотечественники же больше пускают слюну от цены. Гурьянова волновала еда сама по себе. Он никогда не жаловался на отсутствие аппетита. Аппетит, бросив к черту Рабле, подался к Гурьянову. Долгое холостяцкое существование, мыканье по общагам, чужим подушкам, да еще писание стихов на кухне или вокзальной скамейке сделали Гурьянова всеядным, а еда и любовь стали для него важнейшими категориями бытия. Если для кого-то они кажутся милыми пустячками, что ж, – для того, чтобы в жизни добиться успеха, надо жизнь свою одаривать, как женщину, всякими милыми пустячками.

Сегодня же Гурьянов ел просто яростно, словно хотел набить себя жратвой и лопнуть. Он ел, пил, пел, плясал, болтал, кричал, дурачился – лишь бы не слышать самого себя, лишь бы не выпустить из себя утробных воплей души!

Суэтин был поражен, встретив здесь Настю, да еще в качестве чужой невесты! Надо же, в одном городе живем, а то на юге, то в поселке встречаемся! То я развожусь, то она замуж выходит. Анна Ивановна шишка теперь. И женишок, наверное, из ее новых закровов. Какой женишок? Муженек, Женя. Для дружбы нужны встречи, для любви расставания. Что-то не уходит из памяти тот южный проклятый день! Справа горы, слева море, со стороны сердца. Что-то никак не стихает в той стороне гулкий стук. И что же я не узнал тогда их новый адрес? Мог бы просто в институт сходить. Не

узнал, не сходил. «Нечо» и пенять тогда....

Как воскресенье, так настроение – хуже некуда, все из рук валится. Хорошо, сегодня с утра Гурьянов зашел. Пивка попили, потрепались, от сердца отлегло.

– Айда на свадьбу со мной! На халяву. И подарка не надо. Там целая птицефабрика подарки готовит. Директор птицефабрики женится на моей подружке, в хоре поет. Приятная баба. И голос красивый...

Подружка – хорошо, а в хоре – вообще замечательно. И имени не назвал. А что мне в имени твоём?

Когда она успела стать его «подружкой»? Трепло.

Чтобы снять стресс, Суэтин, по примеру Алексея, налег на закуску. На исходе второго часа почувствовал себя каплуном, лишенным всяческих способностей. Он даже на время забыл о Насте.

– Леша! Я больше не могу! – простонал он.

Поэт деловито покачал головой:

– Женя, запасайся! Когда еще перепадет такое? Раз в жизни бывает. И не со всяким. Рубай, не околеешь! Вон заливные пупки – такая закуска!

– Не могу!

– Да ты что! День первый, еще гулять и гулять – свадьба-то три дня! Тут и спать есть где, и с кем, думаю, не проблема. Можно и не спать! Вон «курочек» сколько! Ко-ко-ко. Я петушок! – подмигнул он соседке справа.

Та прыснула и в одно касание паснула подружке мысль со-

седа. Обе стали строить друзьям глазки и слегка откинулись на спинки стульев, чтобы придать рельефность груди.

– Вот и пары образовались, – потер Гурьянов ладони. – Выпьем, девушки, на брудершафт!

К девушкам подбежал фокстерьер и встал на задние лапки.

– Ах, какая прелесть! – запричитали обе и стали кормить собачку всем подряд.

Гурьянов встал и, наклонившись над песиком, произнес с чувством:

– Мадам, а с ней эрдельтерьер. Мадам, а с нею фокстерьер. Терьер, терьер! Какой терьер? Мадам – вот это экстерьер! Это я о вас, барышни. О каждой в отдельности!

Чувства, захлестнувшие Гурьянова, для Суэтина в этот момент были чрезмерны.

– Все, Леша, мне нужен перекур. Резко взял. От форсажа перегрузки. Пойду к реке.

– «Курочку» захвати.

Суэтин резко покачал головой. Проходя мимо молодых, он поклонился им. Гора махнул Суэтину рукой. Подозвал, налил водки, нанизал на вилку кусок белого куриного мяса, кружочек малосольного огурца, протянул ему:

– Поздравь нас, мил человек!

Суэтин поднял рюмку:

– Чтоб не нашлось в мире сладости слаще вашей долгой любви, чтоб не нашлось в мире горечи горше вашего самого

краткого расставания! Горько!

– Ай, молоток! Имя! Как твое имя?

– Евгений его зовут, – сказала Настя. – Спасибо, Женя. Дайте я вас тоже поцелую!

– Тамада! – крикнул Гора. – Хочу пить здоровье Евгения! Он мне теперь ближайший друг! Как Гремибасов!

Поскольку официальная часть была завершена, Иван подомашнему расстегнул рубашку до пупа, и даже самый близорукий мог разглядеть, какое у него могучее, загорелое и волосатое тело. Он обнял Суэтина. Евгению на мгновение показалось, что его обвил питон.

С трудом вырвавшись на волю, Суэтин лег на траву и с наслаждением раскинул руки. Чем больше мы едим еды, тем больше она ест нас, лениво подумал он. По небу пролетел коршун, проплыли два облачка, задрожали воспоминания о Коктебеле. Среди них нарисовалась пьяная и довольная физиономия Гурьянова.

– Же-еня-а! – бархатисто пропел он. – Нас жду-ут. «Курочки» хохочут, ибо сильно хотят. А вечером будут грибочки, уха из осетра, катер на подводных крыльях, тройки с бубенцами. И ис-кюй-ство – кинооператор, оркестр и пленэр с бабами.

– Я приду. Приду-приду, – отослал Суэтин поэта. – Не оставляй их одних. А то простынут.

Сколько жратвы и никакой очереди. Растянуть бы все это

на месяц, чтоб в очереди в столовке не стоять. Впервые в жизни он вспомнил про столовку – и где? Поистине на царском пиру. Вот и хорошо, что вспомнил про очередь. Это лучше, чем про... Лучше-лучше... Длина очереди не зависит ни от лунного, ни от солнечного календаря, ни от дня рабочей недели, ни от времени суток, ни от праздников, ни от зарплаты, она зависит только от прожорливости масс. Некое волновое поле, волновой пакет, с центром во мне. Зная пакет, можно прогнозировать объем закупаемых продуктов и количество заготавливаемых блюд. Вряд ли кто этим занимается. А если и занимается, то не думая. Занятия и мысли – две взаимно перпендикулярные прямые, пересекающиеся в калькуляции затрат. Если идти в точке пересечения по линии мыслей – не сделаешь ничего, а если по линии занятий – все будет бессмысленно. Вот так и получается, что главное во всем – калькуляция затрат... Интересно, какой функцией описывается любовь?.. Как хорошо... Один... Суэтин задремал.

Гора в «обеденный перерыв» пошел выяснять что-то с братьями, съехавшимися со всего Союза, а Настя, поболтав с подружками, вышла на свежий воздух. Свадебный церемониал изрядно ее утомил, и она пошла к реке. Хорошо, никто не увязался следом. Выдержать бы еще два дня, думала она. Увидев давеча Суэтина, она вдруг поняла, что ни на день не забывала о нем все это время, и первым ее порывом было броситься ему на шею. Что удержало ее? Новый статут неве-

сты, еще не ставшей женой? Когда они с матерью вернулись с юга, она месяца два делала крюк по пути в институт мимо двенадцатого дома – Евгения так ни разу и не встретила. Настю била дрожь. Она поняла: столкнись она сейчас с Евгением – и все пропало, и она пропала! А как же тогда отметка в паспорте, подарки, родня, вся эта «звенитьба» – коту под хвост? День сегодняшний вдруг предстал перед Настей эдакой двуглавой горой, как Эльбрус: гора курятины и гора Горы. И весь он заполнен одним только мясом. Что, это и есть светлое будущее? Никак не получается вздох полной грудью. Не хватает воздуха – то ли оттого, что в горах его мало, то ли оттого, что она оказалась под этой горой. Под Горой вишня. Я – вишня? Она подошла к реке, бросила плоский камешек. Потом скинула туфли и зашла в воду.

– Выдержишь! – сказали позади хриплым голосом. Настя вздрогнула от неожиданности. – Я говорю: выдержишь! Вон ты какая красивая и сильная! Выдержишь все и хорошою ясною грудью дорогу проложишь себе!

– Не хаами, Женя.

Суэтин спокойно смотрел на нее и улыбался.

– С тобой удивительно спокойно, – сказала она.

– За чем же дело? Может, еще раз поцелуешь меня?

Настя посмотрела на него и поцеловала. И почувствовала, как у нее подгибаются колени. «Вот те раз! – опешила она. – Вот те и куриная гузка в сметане!»

– До этой свадьбы я и не подозревал, что из курицы можно

приготовить столько блюд! – сказал Евгений, но Настя в его глазах увидела только себя.

– Вот видишь, как я расширила твой кругозор! – засмеялась она, не отводя своих глаз от его глаз.

И когда они оба перестали видеть друг друга и одновременно опустили глаза, им обоим стало страшно, и они невольно потянулись друг к другу руками. Соприкоснувшись пальцами, они вздрогнули, словно ждали именно этого прикосновения всю жизнь, ждали именно этого восторга, который пронзил их сейчас и перехватил дыхание.

– Настя! Иван кличет! – крикнули издали.

– Жаль, – сказала Настя. – Надо идти.

– Где ты его нашла?

– Под забором. Под забором у оперного встретила. Это гора с горой не сходятся. А бабе с Горой – сам бог велел.

– Не одному же Магомету к горе идти. А второй кто, с которым он в обнимку ревел?

– Гремibasова не знаешь? Народный из оперного. У нас хор ведет. Он и познакомил с Иваном. Ты пил с утра?

– И ел. Достаточно плотно.

– Во рту что-то пересохло. Я, как ни встречу тебя, страшно пить хочу!

Евгений смотрел ей вслед, и она обернулась один раз, перед тем, как зайти в кафе. Именно в тот момент, когда он загадал: оглянется – будет моей. Русская классика: раз загадать и всю жизнь разгадывать. Суэтин подумал: «А ведь она

не ответила на мой вопрос, где нашла его. Где нашла, там и потеряю – такой должен быть ответ!» Суэтину очень хотелось, чтобы Настя ответила так. Что это он? Под забором она его нашла! Под забором, как свинью.

Эх, Леша! Где ты? Так хочется поговорить с тобой! Ведь ты счастливец, Гурьянов. Ты поэт. Тебе манна небесная сыплется прямо в рот. А я мгновения удачи ловлю как дар судьбы. Хотя небесные дары – опасные дары! Поймавший каплю дождя на язык счастливее захлебнувшегося в луже. Но сколько же жаждущих припадает к луже, в которой сразу столько капель! Тебе дан дар, а ты, чудак, не хочешь понять этого. Что ты вцепился в атрибуты славы, как в ручки плуга? Олимп плугом не вспахать. Для этого надо оторваться от земли. На которой столько куриных пупков и ляжек «курочек». Да, они несут поэтическое безумие. Но безумие поэзии, Леша, будет только тогда, когда не женщины станут липнуть к тебе, как лак, а ты начнешь рваться к ним вверх, раздирая душу в клочья.

А Гурьянов лежал на другой полянке и, положив руку на голый живот пьяной «курочки», пьяно бормотал:

– Мы все бутылки... в погребах у Бога... у каждого свой вкус... своя терпкость... свой градус... свой аромат... там стоим мы... наполненные до краев... в холоде и темноте... до поры до времени... покрываясь пылью... до той поры... когда нас возьмут... встряхнут... выбьют пробку... или отобьют горло... и мы пенясь... или густо как масло... изольем

свою жизнь... и испивший нас... скажет «Хм!»... и будет какое-то время... нами слегка опьянен... Настя, Настя, что же ты наделала?!

Вечером Гурьянов нашел Суэтина на том же месте у реки. Алексей, как ни странно, протрезвел и был печален.

– Перебрал? – насмешливо спросил Суэтин. Сам он вздремнул и даже проголодался. Мысли о Насте стали похожи на голубое небо с тучкой вдали.

Гурьянов молча вздохнул.

– Барышень что же не взял?

Гурьянов прошелся по родословной барышень, завершив стандартной присказкой: «Прости меня, господи!» Вечер душный. Комаров в этом году на удивление мало. Одинокий писк даже приятен. Особенно, когда прерывается резким шлепком. Чем-то напоминает звук излетающей из камикадзе души.

Одновременно взошли две луны – на небе и в реке, причем в реке луна более яркая и естественная. Суэтин вспомнил, что и в луже небеса кажутся более чистыми и высокими, и подумал, что небо по-настоящему можно увидеть не тогда, когда пялишься в него, а когда краем глаза, замирая, охватываешь вдруг всю его громаду в луже, в чьих-то глазах, в собственной душе. Вспомнил он и рисунок на стене, неизвестно кем и когда нарисованный, напоминающий игральную карту. Белый собор на берегу спокойного озера зеркаль-

но отражается в воде. То, что луна в реке казалась более яркой и естественной, лишний раз свидетельствовало скорее в пользу земной, нежели небесной, красоты. Но по здравом размышлении все же ясно, что земной красоты не было бы без красоты небесной.

Похоже, об этом же думал и Гурьянов. Иначе бы они оба не молчали об одном и том же. Говорят обычно тогда, когда говорить нечего, а небесной красоте негде отражаться.

– Как тебе хайку? – спросил Гурьянов. – Я недавно открыл их для себя. Чтобы понять чужую культуру, надо понять ее в малом. Вот. Так и не понял я, где раньше взошла луна: на небе или в реке?

– В душе, – ответил Суэтин. – В душе не взойдет – и на небе не увидишь.

– Душа и есть небо, – изрек Гурьянов и сам удивился прозрачности своей мысли. – А если вот так? То ли из воды луна поднялась на небо, то ли с неба луна пустила луну по воде.

– Это уже не хайку. Цезарь хорошо сказал: «Пришел. Увидел. Победил». Вот это хайку! «Мне бы так», – подумал он о Насте.

– У меня сегодня, Женя, тоска на душе. И, похоже, не одна. Две, как луны.

– Тогда понятно. Вторая – моя. Если я сейчас разденусь, залезу в воду, переплыву на тот островок, там коряга, вскарабкаюсь на нее, – сказал Суэтин, – между нами будет течь река, но мы с тобой будем одинаково воспринимать этот ве-

чер и все равно останемся...

– Друзьями не разлей вода – хочешь сказать?

– Да, я это хочу сказать. Знаешь, иногда надо фиксировать свои мысли словами, особенно если они хорошие. В математике без этого невысказано.

Гурьянов запустил в сторону островка камень по воде. К теще на блины. Тот долго прыгал, всё мельче-мельче, чаще-чаще, как перед всяким концом, и исчез в тени берега.

– Зафиксировал, – сказал Гурьянов. – Сонетом. Кстати, это расстояние камень может преодолеть всего в три касания. Это и будет хайку.

– Зачем? – спросил Суэтин. Взял камень и запустил его что было сил к противоположному берегу. – Пожалуйста – моностих.

– Македонский!

– В стихе должна дрожать струна. Как паутина, в которую попала муха. В стихе должна быть видна смерть. Как у Лорки. И тогда неважно, поэма это, сонет или одна строчка.

– В стихе должна быть любовь, – сказал Гурьянов.

В стихе должна быть не только любовь, подумал Суэтин, а еще и стон, кровь и смерть. Впрочем, сам он предпочитал прозу.

– Кто из вас Женя? – послышался вдруг женский голос.

– Я, – поднялся Суэтин.

Женщина отвела его в сторону и что-то сказала.

Суэтин сломя голову кинулся бежать... Остановился, вер-

нулся к Гурьянову, выпалил:

– Леша, не беспокойся. Со мной все в порядке. Не ищи меня. Дам телеграмму. Пока.

Гурьянов не успел вымолвить и слова, как приятеля след простыл. Он размахнулся и бросил камень.

– Раз, два, три... как ясно видна... и раз, два, три... тень одиночества... и раз, два, три... при полной луне...

И из этих белых слов одиночества в ритме вальса соткалась в синем воздухе белая пара и, увлекаемая вальсом, понеслась к луне. И кружило, кружило их, пока не затерялись они в снежных далях луны...

12. Семейное счастье

– Ты очень ласковый, – только и сказала Настя. – Я дурею от твоих рук.

А потом она возилась с едой и пела вполголоса «Белой акации гроздья душистые невозвратимы, как юность моя». Этот романс Евгений слышал недавно по радио. Настин голос завораживал. Что за женщину подарил мне Господь, думал он. За какие такие мои заслуги? Или женщины достаются не по заслугам?

– Я ничего не хочу вспоминать, я ни о чем не хочу думать, меня не интересует будущее, – то и дело повторял Евгений.

Настя слушала его блаженные речи, улыбалась, а через неделю сказала:

– Если нас не интересует будущее – мы ему не нужны. Нам с тобой, Женечка, диссертации надо делать. Тебе кандидатскую, мне докторскую...

– А детей? – растерянно спросил Суэтин. – Их когда делать?

– В перерыве! – расхохоталась Настя.

Счастье банально.

Точно так же, как есть гроздья бананов, банановые сады или рощи, банановые республики, где каждый может сорвать банан и наслаждаться им или утолять голод, так есть и гроздья банальностей, леса и рощи банальностей, республики ба-

нальностей, где каждый может сорвать любую банальность, сказать ее, сделать и жить, получая от жизни наслаждение и утоляя голод жизни. Из банальностей состоит жизнь. Как это: родился, сделал первый шаг – сделал первый шаг к смерти; король умер – да здравствует король. И на них прочнее, чем дом на сваях, чем земля на китах, чем Вселенная в эфире, держится мир.

Влюбленные теряют под ногами землю и теряют представление о времени, потому что они не владеют им. Они и собой-то не владеют. Они напоминают фигурки, которые передвигают на доске пространства и времени боги.

Любовь это капкан богов.

13. Смуглянка-молдаванка

Когда сын, без ее ведома, укатил с Настей на юг, а она тут с ума два дня сходила, так как Гурьянов тоже ничего не знал (весь в отца!), а потом прислал телеграмму, что он в Коктебеле, Анна Петровна тут же взяла и покатила в противоположную сторону – на север. За мужем.

– Каждому свое... Каждому свое... – твердила она всю дорогу. – Тебе семью. И мне семью. Тебе юг. И мне север. Ты за женой. И мне за мужем. Тебе молодуху. И мне старика.

А все-таки он молодец, в меня, была у нее за чаем и такая радостная мысль. Взял девку, со свадьбы уволок! Нет, каждому свое, каждому свое... Раз мать не нужна, может, хоть жена пригодится? Впрочем, одна уже в отсев пошла!

Перед самым Брянском Анна Петровна вдруг опомнилась, встрепенулась – что же я делаю! Только из-за того, что сын с ее дочкой на юг уехал? Только из-за этого? Так же нельзя! Ведь Настя умница!

Но поезд остановился, надо было выходить.

Анна Петровна спустилась на перрон. Расспросила, как проехать в Дятьковский район. Автобус будет теперь только через три с половиной часа, сказал диспетчер. Анна Петровна уже пожалела, что скоропалительно выехала из дома, не дав телеграммы, так бы хоть на машине встретили. Исправлять что-либо было уже поздно, и она по фронтовой при-

вычке пошла голосовать на грейдер. «Зилок» докатил ее по пыльной неровной дороге до места, а шофер, который тоже от Дона дошел до Дуная, не взял с нее ни копейки.

Тяжелое чувство и нерешительность, охватившие было Анну Петровну в поезде, оставили ее в тряской поездке, напавшей о фронтовых дорогах, и она уверенно и быстро нашла дом Аверьяновых. Вон пригорок, клен, дом под шифером, шест для флага... На заборе проветривались валенки, треух, перина, ватные штаны. Отворила хорошо подогнанную калитку, зашла во двор, крикнула:

– Есть кто?

Никто не отозвался. По утопанному двору, повизгивая, носились два тугих пятнистых поросенка да бегали серые цыплята, похожие на хулиганов. На поваленном плетне сушились нарезанные яблоки. В них копошились воробьи, звенели мухи.

Анна Петровна поднялась на рассохшееся крыльцо. Дверь была приоткрыта. Навстречу вышла кошка, хвост трубой, скользнула по ноге и стала, поводя плечами и задом, готовиться к атаке на воробьев. Хорошо собаки нет, подумала Анна Петровна. Ну, Господи благослови, – она зашла в дом.

В чулане на огромном сундуке с металлическими уголками и крест-накрест полосками из жести было свалено барахло. От него несло затхлостью и мышами.

– Хозяева!

Анна Петровна прошла в комнату, не такую душную, как

чулан, пронизанную косыми лучами солнца. Это был зал. На столе со скатеркой стояла швейная машинка. В углу, наверху этажерки, телевизор накрыт кружевной салфеткой. Налево из смежной комнаты слышалось сиплое дыхание.

– Есть кто?

– Кого надо? – спросили слева.

– Можно?

Анне Петровне ударил в нос неприятный запах. Она осторожно заглянула в комнатку. На кровати, занимавшей практически всю ее, лежал головой к двери седой, как лунь, старик. Он откинул крупную голову набок и косил слезящими глазами на нее.

– Где... хозяева? – у Анны Петровны слово «хозяева» не выговорилось, провалилось внутрь нее. Она кашлянула: – Здравствуйте.

– Кто это? А? Что за человек?

– Это, Паша... я.

– Кто – я?

– Я... Анна.

– Анна? Которая Анна?... Каренина? – неожиданно хихикнул он.

Слезы, готовые хлынуть из глаз Анны Петровны, тут же высохли. Конечно же, он узнал ее. Когда он тогда, в пятьдесят втором, после того как она заявила ему: все, или пьешь, или выметайся, – покотил к первой своей жене, в прежнюю свою семью, которую вспомнил лишь десять лет спустя, по-

катил от нее сюда, на эту кровать, тогда он бодро так, пьяненько, гордясь собой, крикнул ей на прощание: «Пить или не пить – это мой вопрос! И я его решу без тебя! Только без трагедий, Анна... Каренина! Не кидайся под мой поезд!» Было бы из-за чего, крикнула она тогда вслед, а до этого не позволила попрощаться с Женей, хотя знала, что они не увидятся больше никогда.

– Проходи, раз Анна. Чего встала? Вишь, сам встать не могу. На свет выйди, погляжу... Постарела.

– Да и ты... не помолодел.

– Эт точно! – хихикнул он.

– Да не хихикай ты так! – в сердцах воскликнула Анна Петровна.

– По-другому не могу. Я скоро, как китаец буду, только хихикать. Хихикать проще всего. Хи-хи, хи-хи.

Он замолчал. В груди с каждый выдохом хрипло рвалось что-то. То ли произносимые им, но неслышимые слова, то ли кончающиеся и никак не заканчивающиеся мгновения жизни. Слова, которые собиралась сказать ему Анна Петровна при встрече, тоже пропали куда-то. И новых не было. Она стояла столбом напротив окна, а он молча глядел на нее и рвал-рвал что-то в груди своей.

Положение спасла Нина. Она вошла в зал и стала рыться в шкафу.

– Здравствуйте, – вышла к ней Анна Петровна.

Нина вздрогнула

– О, господи, напугали как! Здравствуйте. Вы кто?

– Я Анна... Анна Петровна Суэтина. Вы Нина?

– Здравствуйте! Да-да, фотографию Женя привез. Похожи. Ой, да что же это мы! Проходите сюда, садитесь. Видели его?

– Видела.

– Плох?

– Плох.

– Совсем плох. Врач сказала, – Нина перешла на шепот, – недолго уж, до весны, край до лета.

– Я за ним.

– За ним? Да вы что? Бросьте и думать! Какое там – за ним? За ним смерть-то уж боится идти. Не поднимет за собой.

– Зачем вы так? – сказала Анна Петровна, отдавая должное справедливости ее слов.

– А по-другому и нельзя никак. Уж как есть. Отжил свой век. Отмучился. Ксению Борисовну пережил.

– Как? Она умерла?

– Да, царствие ей небесное. На той неделе сороковины справили.

– Я заберу его.

– Не знаю, вряд ли что получится у вас. Да и мой уж это, видно, крест, – вздохнула Нина.

– Вам его никто не передавал, мой крест, – возразила Анна Петровна.

Нина ничего не ответила. Вздохнула и стала собирать на стол.

– Вам надо, Нина, своей семьей заняться.

– А это и есть моя семья, – просто сказала Нина, и у Анны Петровны не нашлось сил и желания чем-либо возразить ей.

– И сколько вы с ним вот так?

– Да уж больше трех лет.

– Какой кошмар! Все, увожу немедленно. Справлюсь. Если что, Женя с женой поможет.

– Женился? – обрадовалась Нина. – Добрый он у вас. Как жена?

– Бела и опрятна... Да хороша, хороша жена, «вот только бы не бросила его», – подумала Анна Петровна. – У вас нет валерьянки? Увезу, уход за ним будет, а помрет – телеграмму пришлю.

– Так его ж не похоронят у вас без прописки, – привела последний довод Нина. Станным казалось ее сопротивление, но ничего не было странного в нем, если на все взглянуть из души.

– Хоронят без прописки! – отчеканила Анна Петровна. – Прописка на гроб не нужна. Земля нужна – земля у нас найдется! Да она и есть у него, прописка эта. Мы же с ним не в разводе. Уехал и уехал тогда...

Из комнатки послышался кашель и слабый голос.

– Чего тебе? – поднялась со стула Нина. Анна Петровна прошла за ней.

– Вы там, слышу, мне уже гроб с музыкой заказываете, а меня не спросили, под какую музыку хоронить. Меня хоронить только под смуглянку-молдаванку.

И он запел, кашляя и отстукивая по матрацу рукой:

– Ра-ас-ку-уд-ря-вый, клен зеле-ный, лист рез-ной, здра-авствуй па-рень, мой хоро-ший, мой род-ной...

У Нины на глазах выступили слезы.

– Вот так вот второй месяц хоронит себя.

– Все, музыку отставить! Паша, собирайся, едем домой! – скомандовала Анна Петровна. – Будет тебе смуглянка, будет тебе и свисток с артиллерийскими залпами!

Анна Петровна не представляла, сколько будет мороки с перевозкой прикованного к постели человека. На следующий день они с Ниной взялись мыть его и вымыли только к обеду. Помыли, переделали в чистое, побрили, причесали. Совсем другой вид!

– Вы только не думайте, – со слезами на глазах говорила Нина, – что он у нас был такой заброшенный. Сколько мы его уговаривали, и добром, и силком. Бесполезно. Упрется, как бык. С места не стронешь. Даром что лежачий! А с вами, гляди-тко, тише воды, ниже травы.

– Со мной все так, – сказала Анна Петровна, но уже без прежней гордости за свою несгибаемую женскую волю.

Наняли машину, сделали плетеные носилки, Николай с тремя товарищами помог довести его до поезда и разместиться в откупленном по блату купе. Анна Петровна отдала

все деньги, какие остались, и поезд покатил, возвращая то ли беглого, то ли изгнанного мужа в лоно семьи.

В Нежинске их встретили Евгений с Настей. Они были покрыты красивым загаром, и в их глазах Анна Петровна увидела то счастье, которое когда-то навсегда покинуло ее. Надолго ли оно в них?

Она не обняла их, не поздравила, а коротко поздоровалась и засуетилась возле выносимого из вагона мужа.

И эта актриса, с сожалением подумала Настя. Анна Петровна представлялась ей совершенно другой, скорее Маргаритой Володиной в «Оптимистической трагедии», чем Татьяной Дорониной в «Старшей сестре».

– Как она любит тебя, – сказала она вечером Евгению, – и ревнует.

– Брось. У нее с отцом своё. Ее всю жизнь мучила совесть.

Теперь она будет отыгрываться на тебе, подумала Настя, а заодно и на мне. Ей стало жаль Женю, и она погладила его по голове. Он посмотрел на нее, в глазах его Настя увидела растерянность.

Он вдруг понял: если все мужчины кинутся исполнять волю женщин, мировой воле придет каюк.

14. Сосиски с яичницей

Когда Гурьянов узнал, что Женька женится на Насте, ему стало и взаправду плохо. Он с трудом переварил в себе весь этот фейерверк с цыганами, и тут нате – все наперекосяк и у Горы пошло. Теперь ей Женьку подавай! Ну, стерва! Заболело сердце. Почему-то справа, точно оно располагалось в нем, как в зеркале. Он взглянул на себя в зеркало и потер грудь справа. Зеркальный Гурьянов тут же потер себе грудь слева. Все как надо, успокоился Гурьянов и улыбнулся; а он (он глянул в зеркало и состроил тому рожу) пусть теперь беспокоится. Интересно, как проявит себя его беспокойство там? И в чем оно, в свою очередь, отразится, в каком еще зеркале?

Гурьянов поехал в общежитие табачной фабрики. Вышел из троллейбуса, посмотрел по сторонами и понял, что оказался возле Настиного дома. Прошел в арку, нашел подъезд. Дом был новый, на берегу Нежи. Участок между домом и рекой зарос кустарником, изрыт канавами. Центр, а как везде. У Анненковых на этой квартире он еще ни разу не был. Да и не думал когда-нибудь побывать. Хотел развернуться, но поколебался и поднялся на третий этаж.

– Леша, заходи, – приветливо сказала Анна Ивановна.

У нее во взгляде Гурьянов не заметил настороженности, которая была в прошлый раз. Удивительно, Анна Ивановна даже ласково глядела на него! И обращается на «ты». Надо

же!

– Настя скоро должна прийти. Пошли на кухню, я там с обедом вожусь. Ну, рассказывай...

– О чем? – оторопел Гурьянов.

– Как тебе понравилась Настя? Вот выкинула! Всегда своенравная была!

– Всегда, – уныло согласился Гурьянов и подумал: «В кого же ей другой быть?»

– Ошеломила, признаться, меня. Я уж думала, что устроила свою будущность... Жаль...

– Да уж... – Гурьянов пожалел, что пришел сюда. Теперь надо еще и свои соображения по поводу Настиного своенравия рассказывать! – Не знаю, что и сказать. Я-то вчера только узнал, от Дерюгина, общий приятель. Я Женьку с Настей месяц не видел. После «куриной» свадьбы. Признаться, ничего не пойму до сих пор. Настя – за кем замужем?

– Да не была она ни один день ни за кем замужем. Со свадьбы с Евгением удрала. Спихватились, а ее и след простыл. Телеграмма пришла из Коктебеля...

– Откуда?

– Из Коктебеля. Мол, она там с женихом, пробудет две недели, а вернется и сразу же замуж за него. Вот так вот.

– Ничего не пойму. Ни-че-го... У вас, Анна Ивановна, валлидол есть?

– Дай я тебе валерьянки накапаю. Кот – тогда от цыган сбежал – вот бы сейчас было! Надо завести. На собак вре-

мении совсем нет, – вздохнула она. – Посиди-посиди. Что-то случилось? На тебе лица нет.

«Это только подлицу – рожка, даже та, к лицу».

– Нет, Анна Ивановна. Всего ожидал, но только не такого разворота событий. А что Гора?

– А что Гора? Пьет Гора. Заходил как-то. С этим, певцом из оперного...

– Гремибасов?

– Во-во, с Гремибасовым. Пьяные оба. Насте привет, сказал. Где она? Почему я знаю, соврала. И я почему, соврал он. А потом запели и пошли. Больше не являлись...

– На горе стоит ольха, под горою вишня, – пробормотал Гурьянов, – полюбил девчонку я, она замуж вышла! – и продолжил, но про себя: «На Горе теперь рога, Настя замуж вышла».

– Пьет, наверное. Крепкий мужик. Долго пить будет. А не сопьется. Россия на таких стояла, стоит и стоять будет!

Гурьянов с удивлением посмотрел на нее. «Они все, наверное, в их роду сумасшедшие», – подумал он и стал прощаться.

– Читала твои стихи. Купила. Надпишешь?

Гурьянов на обложке по диагонали написал: «Чудесной маме чудесной девушки».

Анна Ивановна прочитала, погладила обложку. Гурьянов встал.

– Да ты посиди. Подожди. Скоро должна подойти.

– Как-нибудь в другой раз, – с кривой улыбкой сказал Гурьянов и почти выскочил в дверь.

Он купил у таксиста водку и зашел в буфет женского общежития табачной фабрики. Там сел в углу, заказал у буфетчицы Соны глазунью, взял салат провансаль, стакан и сел пить водку. Соня поднесла шкворчащую яичницу.

– Будешь? – Гурьянов плеснул в стакан водки.

– Я на работе, – сказала Соня и выпила. Взяла с тарелки ягоду клюквы, положила в рот. – О, брызнула как!

Гурьянов поморщился.

– Чего хмурый такой, Лешенька? Кто обидел?

– Никто, – сказал Гурьянов. – Сделай-ка мне еще сосисок.

Проголодался, как волк!

По столу шел таракан, но он не испортил Гурьянову аппетит. «Это еще вопрос, – думал он, – кто кого изучает – мы тараканов или тараканы нас. Для тараканов мы скорее всего вымирающие гиганты».

Соня смахнула таракана со стола, чтоб не бегал тут. Ей нравились мужчины с аппетитом. Только в аппетите раскрывается мужчина. Она испытывала удовольствие от аппетита Алексея, как от своего собственного. Даже больше. Особую чувствительность испытывала она к мужчинам в дни общего недомогания. Дни эти давали какую-то пронзительность и чистоту.

– Ты как сегодня? – спросил Гурьянов.

– Никак.

Алексей вздохнул.

– Жаль.

За соседним столиком поглощала творожок в сметане юная особа, не успевшая, по приметам, пропахнуть фабричным табаком.

– Соня! Две порции, пожалуйста. В две посуды.

Соня внимательно поглядела на соседний от Гурьянова столик, и взгляд ее стал острым, как вилка.

– Гражданин! Получите ваши сосиски, – процедила она, швыряя на тарелку недоваренное блюдо.

Гурьянов взял обе тарелки и подсел к особе, добывающей творожок.

– Позвольте любопытствовать, – сказал он. – Вы мясное не употребляете из принципиальных соображений или из настроения соблюдать диету?

– На ночь не ем мяса.

– О, да тут и нет мяса! – обрадованно вскричал Гурьянов. – Правда, Соня?

– Там картон, – ответила Соня и ушла в подсобку, чтобы не расстраиваться.

Девушка круглыми глазами глядела на поэта.

– Угощайтесь... она шутит. Вас как величать?

– Величать: Ира.

– Угощайтесь, Ирочка. Красивое имя. Как Кармен. Ирен – Кармен.

Ира нанизала сосиску на вилку, откусила. Было видно, что она давно не держала в руках сосиски. Обожглась, закашлялась.

– Горячая.

– О, столько смен, прождал тебя, Кармен, я у ворот, не рай – ада. Наверно, Богу было надо, чтоб столько смен я ждал тебя у врат, Кармен! – выпалил Гурьянов. – Экспромт.

– Вы поэт?

– Да. Гурьянов Алексей. Слышали?

Ирен молча кивнула головой, сосредоточенно жуя сосиску.

– Вот, – Гурьянов достал из кармана брошюрку своих стихов. У него «на случай» в кармане всегда лежало несколько экземпляров. Ведь женщин поставляет исключительно случай. Недаром возник термин «случайные связи». Его лучше бы назвать «вечные связи». Вернее.

Девушка с восторгом смотрела то на брошюрку, то на поэта и машинально ела сосиски, не замечая, что они из картона. Она возбуждена, отметил Гурьянов с удовлетворением. И эта мысль физически насытила его. Он забыл о всех своих неприятностях, о разбитой жизни, о Насте, словно ничего этого не было. Ближняя соломка лучше дальнего сенца. Удивительное дело: неприятности так быстро забываются. Было бы с кем.

– Вы, позвольте спросить, здесь и живете?

– Нет, под Читой. То есть да, здесь. Под Читой у меня

родители. А работаю я здесь, да, да.

– И давно здесь?

– Второй месяц.

– Молодые люди, закрываем! – громко обратилась к ним Соня. Они оставались последними.

– Ирен, соблаговолите подождать меня минутку, я сейчас... Спасибо, Соня, – с примиряющей улыбкой Гурьянов протянул буфетчице свои стихи.

– Новые? – спросила та. – О, мне: «Той, чье сердце переполнено любовью». Спасибо, Алеша.

Ирен ждала Гурьянова за дверью.

– Вы тоже здесь живете? – спросила она.

– Да. Решил вот остановиться. Я вхож в эти апартаменты... Соня! Сонь! – ринулся он вдруг к буфетчице. – Бумагу дай!

– О, господи, зачем тебе?

– Да записать, записать. Мысль пришла.

На салфетке Гурьянов большими буквами написал: «Возражение Лаэрта наставлениям Полония».

– А это еще кто такие? – спросила наблюдавшая из-за плеча Соня. Гурьянов отмахнулся.

«Будь мягок, словно воск, остер, как нож, имей природный лоск, лицо, осанку...» – «И все ж – куда я вхож, я там лишь вошь». – «Так что ж?» – «Да вошь! вошь! вошь!»

Гурьянов поднял на Соню горящий взгляд.

– Ну, и чего ты тут нацарапал? Ничего не пойму. Нож,

вошь... Ты лучше, Леша, про любовь пиши. Там у тебя этот, как его, соцреализм.

Анна Ивановна чувствовала себя неважно. Кружилась голова, колотилось сердце. Будто изнутри ее рвалось наружу нечто, что она все эти годы прятала на самое дно. Так нельзя, подумала она, но от этой мысли ей не полегчало.

Она легла с новым «Крокодилом» в руках, просмотрела все от корки до корки, но шутки и картинки в журнале оставили ее совершенно безучастной. Насти не было долго. Уже стало темнеть, когда в двери заерзал ключ. Анне Ивановне не хотелось разговаривать, и она закрыла глаза. Настя на цыпочках прошла на кухню, прикрыла дверь. Кошка чего-то разоралась за окном...

Анна Ивановна пребывала какое-то время между сном и явью. Она слышала, как Настя копошится на кухне, в ванной бежит вода, скрипит дверка шкафчика, газ шумит в колонке... Звуки доходили до сознания как-то не прямо, а будто дугой. То она вдруг переставала слышать звуки снаружи, и тут же раздавались голоса и звуки изнутри ее самой. Тревожил далекий надрывный плач кошки. Это, наверное, та кошка под лестницей... Там коробка... В ней котенок...

Анна Ивановна почувствовала на себе пристальный взгляд, но ей не хотелось открывать глаза. Что это Настя так смотрит, подумала она. Что ей надо? Она прислушалась. Стояла мертвая тишина. Сквозь закрытые веки она чувство-

вала свет торшера. Но в комнате никого не должно быть. Ни одного постороннего звука, кроме ее собственного дыхания да тонкого свиста в ушах. Он давно у нее. Она продолжала ощущать на себе притягивающий прямо-таки гипнотический взгляд. Она наклонила голову набок. В комнате никого не было! Ее пробрал озноб. Взгляд притягивал тонкими прочными нитями куда-то вниз, к полу. Она скосила глаза вниз и в ужасе подскочила. Посреди ковра замерла мышь, из глаз ее тянулись две тонюсенькие дрожащие нити света. Это были нити мышинового ужаса.

Настя сквозь сон услышала, как кричит мать. С колотящимся сердцем она заскочила в комнату. На столе с криком прыгала мать и колотила лыжной палкой об пол, пытаясь попасть в какую-то только ей видимую цель.

– Мама, что с тобой? – подбежала к ней Настя и перехватила палку. – Ты что делаешь?

– Мышь, Настя. Там мышь!

– Где? Бог с тобой! Какая мышь? Час ночи уже. Все мыши давно наелись и спят.

– Там мышь, я тебе говорю! Она пришла ко мне и смотрела мне в глаза!

– Это даже не смешно! – судорожно хохотнула Настя.

Она подала матери руку, помогла слезть со стола. Нам только альпинизма не хватало по ночам, подумала она. О, господи, уж не лунатик ли она? Настя уложила мать в постель, на всякий случай проверила, закрыт ли балкон, закры-

ла форточку.

– Зачем закрыла? Открой. Душно.

– Ты будешь спать? Никаких мышей нет. Тебе показалось, наверное. Приснилось. Откуда тут мыши? Дом новый.

– Надо кошку взять. Надо обязательно взять кошку, – сказала Анна Ивановна.

Настя ушла к себе, оставив свою дверь открытой. Слышно было, как она вскоре засопела, забормотала во сне. Внятно произнесла: «Ну, Леша!» Анна Ивановна приложила руку к сердцу.

За окном надрывно мяукала кошка. Видимо, она и не смолкала с тех пор. Просто я переставала слышать ее, подумала Анна Ивановна. Мы же часто совершенно не слышим горя даже самых близких людей. Проваливается их горе куда-то вглубь нас самих, и нет никакого горя. Удобно так жить!

Да это же, наверное, та самая кошка, что под лестницей, подумала она. Конечно, она. Кто-то забрал котенка, и она теперь ищет его. Бедняжка. Анна Ивановна очень обостренно почувствовала горе и тоску кошки. Нигде не может найти своего котенка. Кошка рвала душу надрывным мяуканьем. Анна Ивановна закрыла глаза и очень ясно представила, что это она сама бродит по пустынному ночному асфальту, ищет своего ребенка и надрывно, отчаянно, зная, что его нигде тут нет, зовет его.

Надо взять кошку в дом, подумала она. Встала, прикрыла

Настину дверь, отрезала кусок колбасы и тихонько вышла из квартиры.

Так и есть, это та самая кошка. Коробки под лестницей не было. Люди безжалостны. Выкинули коробку вместе с котенком. Где же она теперь найдет его?

– Кис-кис-кис, – стала звать она кошку.

Та куда-то запропастилась. Анна Ивановна полезла в кусты. Вышла на утопанную лужайку, где вечно толкуются алкаши. Посыпались ящики, сложенные штабелем возле пункта приема посуды. Из-под ног взлетела перепуганная птица. Продравшись сквозь кусты и едва не свалившись в яму, Анна Ивановна вышла к реке.

– Кис-кис-кис! Да где же ты?

Река до жути молча несла свои воды. Сколько же в ней своего горя и своих слез, подумала Анна Ивановна, кому-то она выплачет их?

Залаяла собака, за ней другая. Минут пять собаки брехали друг на друга. Машина подъехала к дому. Выпустила кого-то, уехала. Нет, кошки на берегу не было. Да и что ей тут делать? Разве что котенка утопили в воде?

– Кис-кис-кис...

Анна Ивановна пошла к дому.

Из-за угла, надрывно мяукая, вышла кошка. Слезы брызнули у Анны Ивановны из глаз.

– Иди ко мне, иди ко мне, милая, – она протянула кошке колбасу. Кошка понюхала, дернула хвостом и, задев боком

ноги Анны Ивановны, пошла дальше все с тем же плачем.

Анна Ивановна взяла ее на руки, кошка вывернулась, поцарапав руку.

Из подъезда выскочила Настя.

– Мама! Ты что? – закричала она. – Что ты тут делаешь?

– Тише, людей разбудишь. Вот, киска наша плачет. Решила забрать ее домой. Она теперь одна.

И она посмотрела на Настю с таким отчаянием, словно в этом была виновата она сама или ее дочь.

Да что это с ней, подумала Настя.

– Ты знаешь, который час? Уже три ночи! Светать скоро начнет. Давай ее сюда. Завтра бы и забрала. Бог ты мой, ты где болталась? Поцарапалась вся!

Настя уложила мать, а сама просидела на кухне без сна до утра. Успокаивала кошку, которая то и дело рвалась к двери, и тщетно предлагала ей то колбасу, то молоко.

Всё, скорее замуж! Этот кошмар пора кончать. Пора начинать свою личную жизнь. У нее нет, но при чем тут я? У самой скоро глюки начнутся. И только врозь. Нет, вместе пожили. Извини, мамочка! Снимем квартиру, комнату, угол, все равно что. Но только не так!

Она заглянула в комнату. Мать спала. Торшер освещал ее лицо. Насте показалось, что по щекам матери текут слезы. Она села на табуретку и перестала приставать к кошке. Кошка улеглась у двери и замолкла.

Интермедия (1982 г.)

Поезд

Врач внимательно осмотрела Анну Ивановну, послушала. Возвела очи горе, подумала. Закрыв глаза, ощупала всю. Встряхнула руками, расслабляясь. Смерила давление, вздохнула. Вымыла руки и молча выписала рецепт. По одну сторону стола сидела величественная и красивая Анна Ивановна (не вняла рассказам Анны Петровны, пошла к бездельникам да бестолочам). По другую – съедаемая хроническими заботами и острым безденежьем участковый врач. Кто кого должен выслушать и успокоить? Казалось, врач проделала свои пассы исключительно ради клятвы Гиппократата или для самоуспокоения. Настю встревожило это мытье рук. С мылом, на два раза. Почему она не помыла их до осмотра? Настя проводила терапевта на лестничную площадку. Вопросительно посмотрела в глаза. Глаза выскользнули, как мыло, и послышался вздох:

– Дело дохлое.

– Что? – решила, что ослышалась, Настя.

– Надо делать полную съемку и прокалывать. В железнодорожной больнице. Там японский телевизор, – и врач стала спускаться по лестнице, на повороте добавила: – Не тре-

вожьтесь, сумма прожитых лет все равно меньше прожитой жизни.

Настя растерянно смотрела ей вслед. Хотела спросить о чем-то, но внизу хлопнула дверь. Настя вернулась домой и увидела себя в зеркале с открытым ртом. Не закрывая его, спросила мать:

– Что сказала врач?

– Что слышала, то и сказала, – ответила Анна Ивановна. – Ну их, врачей твоих! Придут, изомнут, как яблоневый цвет. А проку никакого! Чего там в рецепте пишут нового?

– Врач настаивает, чтобы сходить с тобой в железнодорожную больницу.

– Она же где-то на задворках жизни, – буркнула Анна Ивановна. Нацепив очки, она долго изучала рецепт. – Ничего не понять, – протянула Насте бумажку, на которой Настя тоже ничего не разобрала.

– Что написано-то? – раздражаясь, спросила Настя (ей надо было еще сегодня успеть сходить в библиотеку, теперь, понятно, не до библиотеки). – Нацарапают вечно! Как курица лапой! Их, видно, специально обучают этой каракулеграфии.

– Да, это каракулеводство, – сказала мама. – Есть такие овцы.

Настя обеспокоено посмотрела на мать.

– Мама, не беспокойся. Все будет хорошо!

– Это ты не беспокойся. Куда тебе, в библиотеку? Ступай

себе в библиотеку. Я одна в больницу схожу. Или вон с Сережей.

– Ну, мама, это, право, смешно!

– Справа смешно, а слева горько. Одевай Сережку! А сама иди занимайся.

«Да, уж кого-кого, а бабушку нашу на козе не объедешь, – подумала Настя. – Черт с ней, с библиотекой!»

– Я тоже пойду! – решительно заявила она.

Больница и впрямь была на каких-то задворках жизни. Возле железной дороги пришлось подняться на насыпь из шлама, идти по ней, то и дело проваливаясь, потом переходить пути, прыгать по шпалам, зачем-то возвращаться по переходному мостику, из бурьяна взлетавшего и в бурьян падающего. Сама больница являла собой деревянное двухэтажное строение, на второй этаж которого можно было попасть по наружной шаткой лесенке – и то не всем вместе, а цепочкой друг за другом, как при подъеме на гору.

– Ну и больница! – вырвалось у Насти.

В это время с платформы, которая начиналась сразу же за корпусом больницы, отошел поезд. Со скрежетом, лязгом и пронзительным свистком. Настя вздрогнула:

– Как тут больные лежат? Это же кошмар!

– Нет, тут хорошо, тут же приемный покой! – успокоила ее мать.

Тепловизор располагался в люльке строителей. Кабинет ремонтируют, объяснили в регистратуре. Анна Ивановна за-

лезла в люльку. Люлька закачалась на высоте пяти метров. Настя обеспокоено спросила врача:

– Выдержит?

– Не такое выдерживала.

Оператор накатил на Анну Ивановну аппарат. Что-то включал и выключал, щелкал то тумблерами, то пальцами, не обращая на пациентку никакого внимания.

– Как она там? – спросил он врача, притулившегося с дисплеем у стены.

– На месте, – сказал врач. Он встал, прогнулся, подошел к люльке и похлопал Анну Ивановну по плечу, а оператору ткнул пальцем на дисплей. – Все ясно.

Оператор бегло глянул на экран, показал в левый нижний угол. Врач кивнул. Потом они помогли Анне Ивановне выбраться из люльки.

– Снимок будет готов после укола. Сейчас проколите в процедурном кабинете. Направо.

– Онкология, – услышала Настя за спиной. И ей страшно захотелось поскорее увидеть снимки. Будто от них что-то зависело.

Процедурная была без дверей. Помещение от коридора отделяла грязная, с красными и желтыми пятнами, рваная простыня на веревке, связанной из нескольких бечевков. Виднелся угол помойного ведра, в котором плавали бинты, шприцы, вата. Из этого медицинского месива карабкалась по стене ведра лягушка с удивительно длинными лапками. Се-

режа помог ей и радостно посмотрел на бабушку.

– Молодец! – похвалила та.

– Вымой руки! – в ужасе закричала Настя. – Сейчас же вымой руки! Я кому сказала!

– Успокойтесь! – сказал из-за ширмочки грубый женский голос, и чья-то рука дернула Анну Ивановну к себе. За ней проскочил и Сережка.

– А вам нельзя! – рука не пустила Настю. – Вам ожидать здесь! Взрослым не положено!

За ширмой послышался детский вскрик и успокаивающий голос бабушки:

– Вот и все, Сереженька! Видишь, мне это совсем не больно!

Настя заглянула за ширму. Сережа сидел на топчане, испуганно глядя в открытую дверь на противоположной стороне процедурной. В помещении никого больше не было.

– А бабушка где?

– Там, – указал глазами Сережа на дверь.

– О, господи, что она там делает?

Сын пожал плечами, соскочил с топчана и выбежал в дверь.

– Постой! Ты куда?

Сережа бежал по ступенькам вниз. У платформы стоял пассажирский поезд. Платформу собственно не было видно – столько было народа. И все не просто ждали, а от нетерпения еще и передвигались: то слева направо, то справа нале-

во. Головы катались и бились, как картошка на ленте транспортера. Все толпились и шумели.

– Сережа! Сережа! Постой! Где бабушка! – она догнала Сережу, схватила за руку. – Не скажете, куда поезд?

– Туда, – указал мужчина в длинной до пят шинели. «Генерал Хлудов» – был пришит квадратик на его спине. Один уголок отпоролся. Надо бы пришить, да вот некогда, подумала Настя.

– Так куда ты дел бабушку? – спросила она у Сережи.

– Съел.

Настя, крепко держа сына за руку, вернулась в больницу. Всю ее пронизала тревога. Тревога была и в трясущихся руках, и в блуждающем взоре (она как бы видела себя со стороны), и в мятущихся мыслях. Больница изнутри имела жуткий вид. Можно было сдохнуть от одних только стен. Настя шла по грязному коридору, заглядывала во все кабинеты и спрашивала у всех, не видел ли кто тут высокую красивую женщину, седую и в клетчатом платье. Никто не видел. Больных было много, все они были в затрапезных халатах или пижамах, застиранных спортивных костюмах или растянутых женских рейтузах, тощие и распухшие, нечесанные и небритые. Воняло потом, мочой и жуткой смесью дешевых лекарственных препаратов. Слава богу, среди этого ужаса мамы не оказалось. Но где же она? Снова спустились на узкую платформу. Людей на ней стало еще больше, но в вагоны не запускали. Все, вцепившись в сумки, чемоданы, детей, с замет-

ной дрожью ожидали момента открытия.

– Здравствуй, Настя, – тронул ее за плечо седой мужчина в полосатой пижаме. С бородой, усами, приятным молодым голосом. – Я твой отец.

– Что? – в ужасе воскликнула Настя. – Что вы несете? Какой отец? Вы сумасшедший!

Она отшатнулась от него. Сережа летел за нею, как набивная кукла.

– Вы маму мою не видели? Красивую седую женщину? – спрашивала Настя у всех. Все молчали, качали головой, пожимали плечами. Наконец кто-то сказал:

– Она пошла в третий вагон. Для пенсионеров.

В это время разъехались в вагонах двери, и восходящий поток пассажиров занес Настю с сыном в вагон. Все места были уже заняты. Настя чувствовала себя, как в тисках. Повернуться нельзя. Трудно даже дышать. Она старалась защитить Сережу от толпы.

– Это какой вагон? Какой номер? – крутила Настя головой. Все только пучили глаза. – Кто скажет, где третий?

– Между вторым и четвертым.

– Поезд отправляется! Осторожно, двери закрываются! – предупредил голос. – Следующая остановка «Прошлое».

– Что? Что? Какое «Прошлое»? Это по какой линии? На Кузбасс?

– Сперва на Донбасс.

– Этот поезд куда? – заволновалась Настя. – Маму, маму

мою не видели?

– Этот поезд – туда, – многозначительно сказал ей мужчина в длинной до пят шинели.

– Опять вы? – почему-то удивилась Настя. – Вы маму мою не видели?

– А зачем?

– Генерал, если вы не поможете мне, то кто?

– Бог в помощь, сударыня!

– Мама! – стала кричать Настя. – Ты где? Мама! – Сережа дернул ее за руку. – Что? Что тебе? Отстань!.. Мама! Ты слышишь меня? Где ты?

– Остановка «Прошлое»! Прошу соблюдать порядок при выходе. Мусор не бросать!

Зеленые поля с синим небом резко оборвались, как нарисованные на бумаге. Бумагу словно кто-то рванул сверху донизу, с треском рванул. Разом накатила черно-серая выжженная пустыня. За окнами, сколько хватало глаз, растянулось пепелище. Торчали обгоревшие стволы деревьев. Торчали остовы деревянных домов. Черно-серый цвет был до горизонта. У Насти волосы поднялись от ужаса: пепелище шевелилось, как живое! Это ветер, успокоила она себя. Это всего лишь ветер... Перед тем, как остановиться, локомотив дал резкий пронзительный свисток. Черный цвет вдруг поднялся в воздух, а за ним вслед поднялись серые клубы пепла. Черно-серым стало все пространство, ледяным холодом отдалось оно в перехваченной ужасом груди. Вспугнутое

свистком воронье поднялось на минуту, покружило и снова село на безлюдную пустыню. Двери открылись, и наружу хлынула толпа, с гудением и обреченностью, но сколько ни вываливалось наружу людей, число их не уменьшалось. Стало еще труднее дышать. Господи! Где же мама? Мама где? Нигде ее нет! Настя жадно вглядывалась в лица – мамы не было нигде! Мама, где мама? Нет, здесь мамы просто не может быть. Что она будет делать тут, в этой грязи, в этом кошмаре, со своей красотой? Здесь все сожжено. Здесь ничего уже нет. Нет, здесь не место красивой цветущей женщине. Куда они все? Настя вцепилась в спинку сиденья одной рукой, а другой судорожно прижала к себе Сережу. Мимо рвались, проталкивались наружу люди. Все зло глядели на нее, толкали руками, ругались и били багажом по ногам. Настя прикрывала собою сына. У нее едва не порвались жилы на руке. Да куда же они, с ужасом думала Настя, тут же пустыня! Тут все сгорело. Здесь ничего больше нет! Может, и мне надо остаться здесь? Двери закрылись, разделив людей и время, отделив пепел от огня. Одни заметались в вагонах, другие – по платформе. И кто где хотел остаться – кто бы знал? Ни один из них не был доволен своим положением. Каждый хотел чего-то другого. Чего – никто из них не знал. Они орали, бегали вдоль вагонов, лезли под колеса. Поезд тронулся. На подножках висели гроздь пассажиры, не пожелавших остаться на станции «Прошное». Поезд набирал скорость. Старые вагоны скрипели и раскачивались. Один за другим

люди срывались с подножек на поворотах. Крик их угасал во вновь позеленевшем пространстве. И уносился по страшно-му желобу времени.

Сердце Настино страшно колотилось.

– Господи! Спаси и сохрани меня и Сережу! Спаси и сохрани! Где же мама, где мама?!

Она протиснулась в следующий вагон.

– Это какой вагон? Это, случайно, не третий вагон? Мама!

– Что вы шумите? Третий вагон в другом конце.

– Пропустите! Пропустите меня! Мама!

– Станция «Настоящее»!

Настя из тамбура видела реку вдаль. Река синей лентой обвивала рощу. Деревья были точно покрыты лаком. Солнце – и слева, и справа, и прямо над головой, оно светило отовсюду. Поезд, не снижая хода, пролетел мимо платформы. На платформе развевались флаги, летали шары, глухо играл оркестр. Заметались и заорали люди. Многие запоздало решили остаться в настоящем. Некоторые стали протискиваться и прыгать в щель приоткрывшейся двери. Кто-то просто вываливался наружу из окон. С непостижимой частотой мелькали столбы и проносились полустанки, как прожитые дни и годы. Сердце заходило в тревоге и тоске. Объявили, что следующая станция – «Будущее». Конечная. И стоянка всего тридцать секунд.

– Почему тридцать секунд?! Безобразие! Почему так мало? Почему не минута? Мы всю жизнь стремились к нему!

Нам хотя бы, как в доме отдыха, дайте две-три недели! Мне одноместный номер! Мы будем жаловаться! – закричали в вагоне, срывая голоса, истерически завывая и негодуя в злобе. В репродукторе раздался лишь смешок, а затем сухой щелчок. И дальнейшее было молчание.

На станции «Будущее» люди рванули из вагона неудержимо. Они готовы были пройти сквозь стены, сквозь пол, сквозь потолок. Они вываливались в двери, они лезли в окна, они падали на платформу, они били друг друга и убивали за место в будущем. Они с ненавистью душили друг друга в объятиях. Платформы не было видно. Все застила какая-то белая пелена, в которую люди ныряли, как с вышки, вниз головой. Настя, не выпуская Сережу из рук, рванулась наружу. Она со всей силой давила на белую пелену на выходе – она была, как резиновая. Как в жутких фантастических фильмах. Настя пыталась протиснуть наружу руки, лицо, голову. Липкая резиновая пленка не пускала ее – она тянулась, тянулась, сворачивая набок голову, казалось, она сейчас, как праща, запустит ее обратно в вагон. Потом пленка стала утончаться, лопаться, рваться, отдаваясь своими разрывами где-то в сердце, стал проливаться в душу свет, но свет был пока тусклый и неровный, тревожный свет. И пахло гарью. Настя выбралась наконец и вытащила за собой сына. Она едва успела спрыгнуть на платформу, как за спиной с шипением закрылись двери, и поезд тут же исчез. Сердце ее прыгало, казалось, из груди к вискам. Перед Настей по обе стороны

пути, впереди и сзади, под ногами и наверху расстиралось одно лишь пепелище, на нем не было даже ворон, и ужас сковал ей сердце. И ужас каждого, оказавшегося здесь, слился с ужасом остальных, и серый пепел смерчем одел все пространство. И в том смерче скрылись все люди, скрылись дороги, приведшие их сюда. И здесь не было мамы...

Настя проснулась. Огляделась. И здесь тоже не было мамы.

Прости меня, мама, прости меня, моя ненаглядная, моя бесценная, моя единственная мама! Тебя нет сейчас со мной, но, знаю, придет время, и я сама приду к тебе. И ты простишь меня. Ты примешь меня. Ты обнимешь меня. Ты прижмешь меня к своей груди. Ты погладишь меня по голове и уронишь недовыплаканные по мне слезы. Расспросишь и пожалеешь, возрадуешься и вознегодуеть. И будешь давать мне такие запоздалые, но такие своевременные советы, а я буду принимать их, как самый святой дар, принимать и хранить возле самого сердца. Там, где выжжено так много места, там, где промчались много раз дикие табуны страстей, там, где лежит несгораемый камень на душе, на котором написано «Мама». И сама скажешь мне: «Прости и ты меня, Настя! Прости за то, что оставила тебя там одну. Но я сделала все, чтобы оттянуть этот миг. Я сделала все, чтобы ты подольше видела меня не только на портрете, не только на могильной плите. Я сделала все...»

«О регулировании пола у кур»

Как-то Настя перетирала книги, и из Филдинга, кажется, выпала фотография. На ней был мужчина из сна. Большая голова. Крупные выразительные черты лица. Бородка, усы. Прямо интеллигент конца прошлого века. Да это же художник Гурьянов! Она прочла на обороте фотографии: «Моей любимой Анне от Николая Гурьянова. На этот раз – навсегда!» И стояла дата: «1948 год». За год до меня, подумала Настя.

– Где Алексей? – спросила она у мужа.

– Он в командировке на Севере.

– Надолго?

– На все лето. Месяца на три. А что?

И она стала спрашивать в институте, где художник Гурьянов (он уже несколько лет не показывался там), на нее удивленно взглянули: «Он же умер. Давно уже». А потом добавили: «Месяца за два до кончины вашей матушки».

Умер, значит... И мама, царствие ей небесное, уже три года там. Она вспомнила, как мучилась мать последние два месяца. Да-да, как раз после смерти... его. Маме внутрь словно попал раскаленный уголь, который буквально спалил ее изнутри. У нее вдруг сразу заболело все: и желудок, и кишечник, и сердце, и голова. И организм рухнул в одночасье, как сгнившее дерево...

Гурьянов скончался на следующий день после пожара, случившегося в его мастерской.

На первом этаже главного корпуса института, там, где лаборатории и мастерские, у Николая Федоровича было две комнаты. Они располагались в тупике, по обе стороны коридора. На одной двери была табличка «Художник Гурьянов Н.Ф.», на другой – «Мастерская художника». Поскольку художник писал картины большей частью на кафедре или в деканате, а женские образы на дому и на пленэре, в мастерской он не работал, мастерская была просто складом, в котором хранились сотни нетленных произведений. Ставить картины уже было некуда.

По окончании очередной своей выставки Гурьянов убедился, что для очередных портретов места в помещении не осталось. Не прекращать же из-за этого свою деятельность! Николай Федорович вытащил портреты в коридор и стал сортировать их по трем классам. В самый большой штабель он составлял и складывал портреты профессорско-преподавательского состава, в штабель поменьше – портреты современников с других мест работы, а портреты, в которые он вложил больше всего души, портреты молодых современниц, он ставил к стеночке, чтобы затем перетащить их в свой кабинет для создания Гурьяновской галереи. Картин было тридцать семь. «Неплохо было бы догнать до полусотни», – рассеянно подумал Николай Федорович, затаскивая портреты в свой кабинет.

В кабинете на полках и на полу хранились краски, кисти, рамки, бумага, полотно и прочие необходимые в художественном творчестве предметы. Сюда же Гурьянов перенес и два бюстика Ленина, оставшихся со времен давних подработок. Пятидесятирублевый и двадцатирублевый образцы.

Большой штабель и поменьше он вернул в мастерскую. Года на три места там теперь хватит.

В кабинете Николай Федорович расставил портреты вдоль стен, несколько картин разместил на полках и, усевшись в кресле, долго рассматривал их, прислушиваясь к ощущениям в душе. Там было тихо. Лишь сосало под ложечкой и хотелось есть. Художник не заметил, как проскочил без еды целый день.

Вздыхнув, он пошел домой. Для живописи он сегодня чувствовал себя утомленным.

На следующее утро в кабинете случился пожар. В проводке что-то замкнуло, посыпались искры, а тут масляные краски, растворитель, бумага... Видимо, пожар начался незадолго до его прихода, так как когда Гурьянов открыл дверь, приток свежего воздуха вызвал первую серьезную вспышку. Огонь взметнулся перед ним черно-красными языками и опалил ему лицо. Сопровождавший его слесарь, который шел починить кран, мгновенно сообразил что к чему и дунул к дежурному вызывать пожарных.

Николай Федорович, понимая, что он бессилен что-либо сделать, с ужасом взирал на то, как пылали и трещали в огне

его произведения, как пузырилось и вскипало масло. Потом с полотен стали взвиваться обожженные лица, плечи, руки и груди писанных красавиц. Они, как птицы, метались по кабинету и хлестали его по щекам, своими отчаянными криками вгоняя ему в затылок все глубже и глубже тонкую раскаленную иглу.

– Что же вы не закроете дверь? – крикнул подбежавший слесарь.

Он захлопнул дверь и стал проверять, не перекинулся ли огонь на соседние помещения.

Пожарные приехали на удивление скоро. Когда они залили кабинет художника водой и хмуро протопали мимо него к выходу, чумазые и мокрые, он с замиранием сердца заглянул в комнату и увидел лишь черный пепел и воду. Сгорело всё!

Через несколько часов, когда улетучился дым и выветрилась гарь, он зашел в кабинет, трясущимися руками долго шарил в мокрой черноте, извлек из нее уцелевший пятидесятирублевый бюстик и швырнул его на пол.

На душе у него образовалось такое же пепелище. Была гарь внутри, горечь и боль.

Когда Николай Федорович приплелся домой и рассказал Нине Васильевне о постигшем его несчастье, он не нашел в ней сочувствия. В ее глазах он, к ужасу своему, увидел то же самое пепелище, черный пепел сгоревших лет и целые лужи невыплаканных слез.

Совершенно обессиленный, Николай Федорович лег рано

и в полночь почувствовал, как он весь горит. Словно в нем вновь вспыхнули огнем созданные за всю жизнь полотна. И в то же время Гурьянов понимал, что находится во сне, из которого надо было просто выскочить, как из горящего кабинета.

Он метался среди сгорающих полотен, но не мог прорваться ни к окну, ни к двери, пламя лизало и обжигало его красно-черными языками. Картины вдруг стали стонать, как живые. Они кричали, посылали проклятия, зывали к богу и к нему, Николаю. Он стал задыхаться и тут увидел, как в окне будто бы по воде скользит белая ладья под черным парусом, а в ней в подвенечном платье и черной фате – Анна...

Алексей долго изучал книги в шкафах и на книжных полках. Без этого он не мог узнать «коней ретивых». Человек проявляется в книгах, которые у него лежат на столе или небрежно расставлены по полкам. Алексей не был у Суэтиных уже больше года.

– Хорошая библиотека, – пробормотал он.

Он увидел большой портрет Анны Ивановны и вдруг вспомнил, как странно загорелись у нее глаза, когда он в первый раз пришел к ним домой. Ему тогда стало не по себе. Странно, что сейчас он вспомнил именно об этом. Словно душа Настиной матери взглянула на него пронзительными черными глазами из-за плотной завесы небытия. Алексей физически ощутил ее жадный взгляд, которым она вгляды-

валась в него, будто хотела подольше сохранить воспоминание о нем там. Расшалились нервы, подумал Гурьянов. Нет, этот взгляд не с фотографии... Он вспомнил трехстишие, которое написал зимой, разглядывая портрет умершей два года назад матери: «Новый год наступил. Еще на год моложе стал мамин портрет». Удивительно, он сейчас испытывал точно такие же чувства!.. И тут же вспомнил Аглаю Владиславовну, три недели не отходившую от постели умирающей подруги. Странно, что они подружились, такие разные и такие два одинаковые одиночества... Гурьянов почувствовал комок в горле.

– Замечательная у вас библиотека! – сорвавшись на фальцет, громко произнес он. – Я, собственно, в первый раз так подробно познакомился с ней. Слышь, Настя? Чувствуется, подбирали долго, со знанием и любовью. А вот эти книги, я думаю, вообще редкость.

Настя порозовела от удовольствия. Она хоть и привыкла, что все удивлялись ее расторопности и успехам в любых делах, но первый порыв удивления всегда приятен. Ей нравились не столько комплименты, как предваряющее их удивление.

– А шкаф, Леша, забит периодикой. Столько денег уходит на книги, если б ты знал!

– Знаю. Женя как, спокойно к расходам?.. Борзенков Я.А. «Из истории развития яйца и яичника у курицы». 1869 год, типография Мамонтова. Да... «О регулировании пола у

кур». Это что, серьезно? Как уличным движением?

– Вполне. По заказу одного падишаха.

– И как? Как регулируется? Жезлом?

– Вполне доступным образом. Да ты не беспокойся, это сугубо куриная проблема.

– Я не беспокоюсь. Я не могу понять, как у кур можно регулировать пол? Он же у них есть уже – женский, куриный. Я хочу сказать, который «у кур».

– «Куры» – подразумевают и петуха. Куры – более общее понятие, вид сельскохозяйственной птицы. Петух – частное понятие, в конкретном своем проявлении – самец курицы. Не веришь, в словаре посмотри. Петух – самец курицы, козел – самец козы, – увлекшись, Настя сгоряча едва не дошла до Адама и Евы.

– Смотри, как у них! Всё вокруг курицы. О козлах не будем.

– Да, диспут о приоритете яйца и курицы совершенно бесперспективен. В начале была курица. И в конце будет курица. А петухи – они всегда вторичны.

Гурьянова вдруг охватила смутная тревога, совершенно необъяснимая. Он никак не мог сформулировать ускользающую мысль. Помогла Настя:

– Мужское начало – нонсенс, – сказала она. – Полная бессмыслица. Мужчина проявляет себя лишь в захвате и разрушении.

– Ты хочешь сказать, – ухватился Гурьянов за мысль, –

что мужчина вообще не нужен? – может, и правда, поразила его мысль, не нужен?

– Зачем? Его можно инкубировать, быстренько возвращать, как бройлера, отбирать плодовитых самцов, а прочих холостить и отправлять на каменоломни.

– А интеллект, гены?..

– Может, еще и роль отца в воспитании подрастающего поколения?

– Ты росла без отца? – глухо спросил Гурьянов.

– А при чем тут я?

– Но не я же!

– Не знаю.

Гурьянов почувствовал досаду. Чего она не знает? «Не знаю». Чего «не знаю»? Kontakта с Настей у него не получилось. Она и раньше никак не реагировала на его взгляды, ухаживания, прямые намеки и предложения. Относилась к нему, как к... как к брату. И сейчас, после того, как вышла замуж, не изменилась. Хотя он вовсе не намерен увлекать ее в амуры – боже упаси, Женька друг, но взгляд-то помягче могла бы сделать, глазиком повести, на стишок отреагировать, улыбнуться. Нет, ей нравится, только когда ее хвалишь. Ладно, переживем.

– Филдинг? Читаешь?

На столе лежала «История Тома Джонса, найденныша» с фотографией Гурьянова-старшего между страниц. Алексей взял книгу в руки, повертел. Настя с замиранием сердца

следила за его руками. Он положил книгу на стол, небрежно бросив:

– Неправильный перевод. Даже в заголовке. Надо Найденыш с прописной буквы писать. Не знают прописных истин!

Он снова посмотрел на портрет Анны Ивановны. Она будто вглядывалась в его душу...

– Женя-то скоро придет?

– Да должен уже. Вон идет, кажется. Зачем он тебе?

– Переезжаю.

– Опять? Не надоело по общагам мыкаться?

Друзья поздоровались. Гурьянов переезжал к очередной своей пассии и пришел узнать у Суэтина, когда тот сможет помочь с переездом. Дерюгин готов был помочь в субботу с утра.

– Когда они к тебе начнут переезжать? Надоело книжки твои и портреты перетаскивать.

– Там, кстати, есть портрет Пети Сорокина, – подмигнул Суэтину Гурьянов.

– Я тогда тоже в субботу с утра, – сказал Евгений. – Имя?

– Да святится имя ее! Профессор консерватории Ариадна Кюи.

– Поздравляю, – сказала Настя, – с новосельем! Надо же, к профессору ключик подобрал! Лет-то сколько ей? Теперь будешь засыпать и просыпаться под звуки Мендельсона. Пока не превратишься в скрипичный ключ. Дружок.

Небольшое добавление о том, что все кончается на свете

Анна Петровна на похоронах Анненковой не была. Превратно могли бы истолковать присутствующие. Двадцать лет в ссоре! Это после всего-то двух лет приятельских отношений. А ведь как помнится все, свежо и... трогательно. Закат на небе, закат в глазах. А вот и жизни закат... Прямо Александр Дюма! Не тот резон, чтоб встречаться, не тот. Хотя и другого больше не будет. Теперь уж, когда сама отправится туда, разве что тогда... Тогда и встретимся, тогда и поговорим, доведем нашу прерванную беседу у закатного окна до конца. С годами (как быстро они прошли!) былые чувства и прошлые обиды притупились, и Анне Петровне часто бывало невдомек: с чего это они тогда обе вспыхнули, как спички, поссорились на всю жизнь? Да, теперь на всю. Переход несовершенного вида глагола в совершенный. Скоропалительно, необдуманно и так жестоко. Ударила в голову блажь, брякнули не с должным пиететом друг другу всякую чушь... Как дети, которые, убивая лягушку, не думают, что тем самым убивают себя. Дети наивно полагают, что лягушкой может быть кто угодно, только не они. Господи, прости нас грешных!

Анна Петровна вдруг ясно представила себе лицо Анненковой и отвела глаза от яркого образа. Прости, прости ме-

ня, если сможешь. Пока я еще тут, пусть земля тебе будет пухом! А пройдет сколько-то дней, и да примет тебя Царствие небесное!

Анна Петровна сходила в церковь, поставила свечку за помин души рабы божьей Анны. Закрыв глаза от нестерпимого золотого света иконостаса, так напоминающего закат в кухонном окне, просила Господа снять тяжкий грех с души ее, за опрометчиво сказанные в прошлом слова пустые и злые, злобность мелкую, недостойную... Слезы текли по щекам, а от огня свечей согревалась душа. Просветленно глядя по сторонам, будто ей и впрямь обещали в будущем долгожданную встречу, она вышла из полумрака церкви в светлый квадрат неба, видневшегося в дверях, спустилась по стертým ступеням на землю церковного двора, раздала бабкам мелочь, что была, карамельки с печеньем, голубям раскрыла булку французскую за шесть копеек и пошла домой пить чай с пирогом, который испекла с утра по рецепту Анны Ивановны. Рецепты, к счастью, не умирают.

Вспомнила, какая буря была в ее душе, когда сын женился на Насте. Как раздирался он между женой и матерью, как Настя раздиралась между своей матерью и мужем. Ведь они вынуждены были снять комнатенку, не могли жить ни со мной, ни с нею. Бедняжки. Какие мы, родители, эгоисты! За чадом наших проблем не видим огонек в глазах наших детей. А я еще и Аверьянова в дом приволокла. Царствие ему небесное! Мы с Анной Ивановной были патриархами. Мы долж-

ны были вести за собой детей, а мы оттолкнули их от себя. Мы за эти годы ни разу не пришли друг к другу, ни разу не спросили у детей: а как там вторая бабушка, здорова? Прости меня, Господи, прости! И ты меня, Анна, прости, и ты, Паша...

Далекие невозвратные годы навалились на Анну Петровну, словно мстя ей за то, что она так жестоко вырвала их из собственной жизни...

Прошел день, прошел другой, она сидит вечером у кухонного окна и впервые за многие годы глядит на закат радостными, словно не знающими утрат, глазами, со спокойной, будто не ведающей разочарований, душой. И плачет. В памяти всплывает сразу так много доброго и славного, что становится удивительно, как это все разместилось в памяти и не было завалено за прошедшие годы разным хламом и тряпьем... Выглядывает из дверей черноглазая девочка с красным или белым бантом... в духовке доходит пирог... в ванной на полочке стоят стопочки нарезанной туалетной бумаги... Закат догорает и поет степь от их дома до лесополосы и далее до реки...

А потом мысли ее пристают к чистому берегу, на котором она оставила когда-то художника с его портретом (так пираты оставляли своего капитана, без которого им конец), и там царит удивительный покой, ветер перебирает ветви, а может, ими шевелит голос, такой приятный и густой... «Я плачу, я стражду, – душа истомилась в разлуке...» И уже ближе,

реальнее, вспыхивают совсем свежие воспоминания: Настя, красивая, дотошная, острая на язык, дерзко отвечает ей на семинаре по коневодству. И на нее не сердишься, так как она знает, что говорит... Сереженька, внучек, лапочка, дергает за подол...

Сидит Анна Петровна на темной кухне и долго вспоминает об ушедших годах, потраченных непонятно на что. И песня степи за окном сливается с песней ее души, сливается с романсом Глинки и уносит, уносит так далеко, что становится страшно...

Акт 3. Цейтнот (1996—2000 гг.)

1. Где-то недалеко от Макараибо

Слушать доклады было невыносимо. Суэтин уже пожалел, что не смотался в перерыв домой. Хорошо еще, что сел сзади. На стене висела подробная географическая карта страны, Суэтин пригляделся к ней и почувствовал, как в него вошло глухое беспокойство. Через десять минут он понял его природу. Его заинтересовали наименования поселков, рек, озер, рассыпанных по карте, как горох. Он стал вчитываться в них, и у него возникло сомнение: а в своей ли он стране? Несколько десятков знакомых названий тонули в море непонятных слов, как островки в ледоход. Со всех сторон их окружали поселки и речки с совершенно немислимыми, ничего не говорящими названиями: Ыгыатта, Кюёрелях, Нятлонгаягун, Юредейяха, Ыб, Сыаганнах, Нюнькаракутари... Поселок Макар-Ыб на Мезени. Почти Макараибо... Мрак какой-то! Чего же тогда от людей ожидать, от моих родных сограждан, подумал Суэтин. Я считал, что меня окружают Ивановы, Петровы, Сидоровы, с верной рукой и трепетной душой, а оказывается, от них остались давным-давно одни только хитиновые оболочки.

– Евгений Павлович! – услышал он шепот.

Оказывается, он, увлекшись, встал и на цыпочках разглядывал на карте север страны.

Язык выступавших был ужасен. Ужас языка порождает язык ужаса, а тот, в свою очередь, фильм или другие будни ужаса, или ужас будней. Ужаснее, чем при форсировании Сиваша или «подъеме» целины. При этом говорили сплошь о «высшем». Слов-паразитов было, как вшей, а «высшее» было ниже пояса. О хорошо известном говорили исключительно неизвестными словами, то есть неизвестно о чем. Самое удивительное, что потом писались «Совещание отметило» и «Совещание постановило». Впрочем, вряд ли кто сравнивал то, что было написано, с тем, что было сказано. За это, как известно, денег не платят.

Собственно, чему тут удивляться? Гражданская война прошла по языку, породив монстров и вырожденков. Индустриализация наспиговала язык вульгаризмами. Их законсервировал и пропитал уксусом идеологии окончательно развитый (или развитой?) социализм. А сейчас реклама, торговля и безграмотная молодежь из языка сделали нечто, напоминающее одновременно жвачку, памперсы и стиральный порошок. Это даже не аргю. Он не помещается во рту. Он опух, смердит, вываливается изо рта, он весь в кривых кислотности и присосках варваризмов.

– Мы наперебой ставили эксперименты и получили выводы. Подтверждающие их отсутствие, – слышалось в микрофон.

Уж лучше «наперебой» молчать, чем «наперебой» болтать, подумал Суэтин, и просто отсутствовать, чем это отсутствие подтверждать. И вообще лучше не быть, чем быть вот так, товарищ принц.

Суэтин вздохнул, отвернулся от карты и вспомнил, что в кармане у него последний сборник Алексея. Он достал его, наугад раскрыл на одной странице, на другой. Прочитал, перевернул и задумался: а что же он прочитал? Вернулся, перечел снова, закрыл и опять не мог вспомнить, о чем прочел. А стихи, он чувствовал это, были хорошие. Что же тогда вообще ожидать от жизни, наполненной одними эмоциями и лишенной всякой логики, подумал он. Что вспоминать? Эмоции? Их не вспомнить, так как они сгорели сами и сожгли все вокруг.

Суэтин стихи читал редко. Они были чужды его логическому складу ума. Отдельные строчки нравились, а в целом раздражали. Некоторые, правда, он находил забавными. Например, «Ворона» Эдгара По. А любил повторять лишь: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» или «Ужели все – и сон, и бденье – лишь сновиденье в сновиденье?» Он любил риторические вопросы. За то, что они не требовали доказательств. Его интересовало в них именно это: почему они не требуют доказательств, если доказательства нужны даже самим доказательствам?

Суэтин больше любил читать исторические романы, описания путешественников, мореплавателей. Особых пристра-

ствий у него не было: ему было все равно, какого автора читать, о событиях в какой стране или эпохе, все исторические деятели и путешественники по большому счету ему тоже были безразличны. Ему нравилось путешествовать самому, там, куда его любезно пригласил автор. Захватывало повествование, когда герои страдали, гибли, преодолевали невыносимые сложности, получая за это пшик. И с годами никто не становился мудрее – ни герои, ни писатели, ни читатели. Суэтина интересовала только эта логика, поскольку только она и была в жизни.

Видимо, и жизнь подчиняется все тому же единому закону перехода от бесконечно больших величин к бесконечно малым. И на этот переход не надо тратить ни одного электронвольта энергии, ни одной атомной единицы массы. Все делается само собой. То, что нам казалось великим, через мгновение кажется смешным, а то, что было ничтожным, вдруг становится важнее самой жизни. И как тут станешь, прожив ее, – мудрее? Так бы дожить до конца, который отпустил тебе Господь.

Интересно, что вынес я из всех этих чужих и моих путешествий, как-то задумался он. Видно, одно: человечество – нонсенс, недоразумение, оно не стоит того, чтобы быть под призором у Бога.

Вспоминая прочитанное, он не мог отделаться от ощущения реальности вспоминаемых событий, словно сам пережил их. Он вспоминал, как плыл в ладье Харона, как белый туман

глушил белые стоны теней и черный всплеск мертвой воды. Вспоминал, как плыл мимо Астрахани на высоком берегу, мимо новой Астрахани, что была на острове, наполовину заваленном трупами татар и ногайцев, мимо острова, над которым небо было у земли серое от мух, а выше – черное от птиц, а горло раздирала сладкая вонь. И плыл потом полтора месяца и не встретил ни одного жилища, пока на высоком холме не показался Казанский белокаменный замок. Плыл по Нилу, берега которого были черны и гладки, как чугунные плиты, как бедра ленивой эфиопки, и рабы прыгали с этих берегов в воду, в зубы стремительных крокодилов. Плыл по низовьям Оби, где Мангазея, где самоеды пожирали трупы своих умерших соплеменников, а купцов гостеприимно угощали кушаньями из убиенных своих детей. О, Господи, Господи, что вынесешь тут!

В молодости Суэтин полагал, что трагедия жизни в неизбежности смерти. Похоже, все-таки она – в неизбежности жизни.

В конце жизни (почему в конце, подумал Суэтин, неужели в конце?) вдруг видишь, что всю жизнь решал всего-навсего задачу коммивояжера. Даже неискушенные в математике люди знают, что это одна из наиболее распространенных задач о нахождении кратчайшего из путей, проходящих в точности один раз через каждую из заданных точек, расстояние между которыми задано. В самом деле: кратчайший путь от рождения до смерти, проходящий через каждый год

один раз, и есть жизнь. Все мы коммивояжеры в этой жизни, все мы несем друг другу каждый свою жизнь, не замечая, как каждый теряет ее на этом пути.

«Жизнь – стрела, которая летит в цель, – заявил как-то Гурьянов. – А цель жизни – поразить эту цель». Интересно получается: цель как бы замыкается сама на себя (или на себе?), а в то же время она пряма, как полет стрелы. Получается цель в квадрате. Бессмыслица. Возводимое в квадрат – уже не самодостаточно. «Самодостаточно быть инженером», – сказал тогда Гурьянов. Самодостаточно – быть, возразил он. Дерюгин слушал их, слушал, не вытерпел, встрял: о какой самодостаточности вы говорите, когда на столе такой жор? А он тогда, не обращая внимания на такой прекрасный призыв Дерюгина, все допытывался у Гурьянова: кто же тогда запустил эту стрелу-жизнь? Великая спорщица молодость привыкла спорить сама с собой, побеждать самую себя, она даже не задумывается о старости, она пренебрегает ею, как не имеющей к ней никакого отношения. О, Господи, Господи! Прости прегрешения юности нашей! Чем больше в юности пренебрежения к старости, тем скорее старость идет к ней. Сила действия равна силе противодействия – и весь закон.

К намеченной цели нельзя лететь, нельзя рваться. К ней надо подходить как бы сразу со всех сторон, краем глаза наблюдая, чтобы никто не опередил тебя.

И ко времени надо относиться как к якобы времени, иначе

оно не оставит тебе ничего.

Почему человек, как правило, умирает внезапно? Ведь смерть шла ему навстречу всю его жизнь? И за час до встречи с ней, за минуту, а уж тем более за секунду – он мог бы увидеть ее? Одно из двух: либо смерть невидима, либо человек слеп. И если правильно первое, тогда жизнь – трагедия, если второе – то комедия. Но поскольку жизнь все-таки больше трагедийный фарс – видимо, и смерть невидима, и человек слеп.

Суэтин почувствовал тошноту. Он сегодня еще ничего не ел.

Самое важное в жизни это пересилить приступ отвращения к ней.

Суэтин очнулся от своих мыслей, когда все с шумом вставали со своих мест. Конференция кончилась, все пошли на банкет.

Как жаль, что я не записал свои мысли, подумал Суэтин. Как им теперь без меня? Впрочем, кому они нужны? Им теперь без меня так же, как и мне без них.

Дрямов махнул ему рукой, подошел и спросил, пойдет ли он на банкет.

– Нет! – сказал Суэтин.

У Дрямова все зубы гнилые. Как он раньше не замечал этого?

Он не пошел на банкет и не сел в автобус. Он пошел до-

мой пешком. Пошел окружным путем, каким ходил в мучительные дни раздумий о собственной жизни. Вышел к железнодорожной насыпи, к безымянному полустанку. Две березы склонились над фанерным домиком. По склону вверх тянулась тропинка, на которую не хотелось ступать ногой. В стороне рос дуб. Огромный, словно со страниц «Войны и мира». Суэтину не хотелось идти домой. Он сел под дубом и без всякой иронии подумал: «Свинья под дубом». Что-то знакомое. А, свинья под забором. Сколько лет прошло как один день? Где этот птицевод? Кто-то говорил, будто посадили его. За что?.. Отсюда хорошо были видны и полустанок, и две березки над будкой, и овраг за насыпью. Несмотря на убогость, вид был очень красивый.

Однако, к моей формуле я вернулся, как Одиссей, уже далеко за сорок лет. Она, как Итака, ждала своего часа. У всего свой час.

Полтора года я потратил на то, чтобы восстановить в памяти пограничные столбы, что задержали меня на пути вперед, и снова почувствовать ту невидимую руку, что не пустила меня вперед, и ощутить в себе силы, способные восстановить и опрокинуть те столбы, найти и преодолеть ту руку.

И что в итоге? Ни-че-го! Пусто. Может, я просто достиг сегодня своего порога? Вот она, «вечная» забывчивость молодых ученых, о которой говорил Дринкин, вот она в чем: мы не просто предаем, мы забываем наших богов. Я забыл их всех уже на уровне кандидата наук и начальника маленькой

лаборатории с перспективами на двенадцать окладов плюс тринадцатый, два доклада в год и плюс докторскую (и то не обязательно) в пятьдесят пять лет. Чего же я хочу от других? Лента Мёбиуса соединяет ад и рай. Стоит только пойти, и обязательно из одного места попадешь в другое, непонятно как. Эта лента и есть настоящее.

Проходит год, проходит два, проходит жизнь – и ты замечаешь, что у приятеля гнилые зубы, а место, по которому ты проходил столько раз, не обращая внимания, безумно красиво. Проходит год, проходит два, проходит жизнь – и ты замечаешь, как по-гнилому ты жил, тогда как мог жить безумно красиво.

Рядышком росла береза, тоже старая, могучая, но ее за дубом снизу не было видно. Суэтин стал разглядывать ее, будто собрался рисовать. Кора у основания ствола грубая, в основном черная или серая, белые шершавые заплатки на ней перерезаны поперечными полосками, как сердце рубцами или совесть угрызениями. Оголенный ствол поглаже, но весь черный. Ближе к вершине – Суэтин задрал голову – кора становится глаже, больше белых участков... Так похоже на жизнь вообще. Жизнь, как кора, сплошь состоит из таких пятен. А на душе мрак. А со временем и эти пятна возьмет короста, потом гниль и труха. И первый сильный порыв ветра переломит ствол, и от этой красоты не останется ничего.

Внизу прошла электричка.

«Этот полустанок, склон и две березы – и есть моя

жизнь?» – подумал Суэтин.

2. Семен

Борисову до чертиков надоело свое унылое село под Читой, хоть там и промысел (грабеж проходящих мимо железнодорожных составов) в последние пять лет пошел неплохой, и он решил податься в город. Того и гляди, с родичами сопьешься. На халявные деньги что еще делать? Но только не в Читу, решил он. Нет, куда угодно, только не в Читу. В Читу ему путь заказан, так как на него заведено дело об изнасиловании малолетней шлюшки, брат которой, к тому же, поклялся его зарезать. Дело вялое, его знали в Чите только в лицо, даже имя свое он там никому не раскрыл, всем представился Григорием Котовским. Нравился ему этот человек. Как-то в пятом классе прочитал о нем классную книгу. Рисковый был, чего там! Вот и завели дело условно на «Григория Котовского»! Пусть ищут! Лысого!

Разложив карту на столе, Борисов крутанул на ней бутылку из-под пива и, куда горлышко показало, туда и поехал. Хорошо, показало в областной центр Нежинск, а не какой-нибудь Тургай или Троицк. Собственно, он так и крутанул, чтобы горлышко показало не Тургай или Троицк, а именно Нежинск. Семен несколько месяцев облапошивал на вокзале в Чите простаков, вертя бутылочку, пока его не привели в чувство конкуренты.

Был ноябрь, не лучший месяц для охоты к перемене мест,

но Семен знал, куда ехать. С вокзала он сразу же подался в общежитие табачной фабрики, где работала его мать. Мать обещала устроить его экспедитором. Она хоть сама и была из «простых», но много лет состояла членом профкома. Чего тогда не сделала себе квартиру? Мыкается по частникам да углам. Неприспособленная она у него! Дура, словом. Его даже поднять на ноги не смогла. Отвезла десять лет назад к братьям. Те «воспитали»! Ладно, это отрезанный ломоть. При должности экспедитора (а у него уже был опыт) можно в поездках накручивать неплохие «бабки».

В городе ночью, похоже, был дождь, а с утра ударил мороз, покрыв асфальт ледяным панцирем. Прохожие елозили на переходах, машины еле тянулись, остерегаясь столкновений. Гудки, выхлопные газы, шум, галдеж. Все это в первые минуты неприятно ударило по мозгам, но Борисов тут же успокоил себя: цивилизация! Он ведь ехал в цивилизацию. И попал.

Автобус выехал на вогнутый мост через один из рукавов Нежи. Обледеневший мост уходил в туман и там таял, как сахар. Автобус стал медленно спускаться, и тут его развернуло и закрутило вниз. Автобус прокрутился несколько раз, как бутылка, и завис над пустотой передними колесами. «Докрутилась бутылочка!» – подумал Семен, лихорадочно соображая, что делать. Он давно бы уже вылетел в окно, но возле окна сидел какой-то парень и невозмутимо взирал на пере-

положившихся пассажиров. Семена удивила выдержка этого человека, и он сам немного успокоился. Хотя автобус не просто завис, а покачивался над пропастью. Многие пассажиры были близки к отчаянию. На многих было жалко смотреть. Парень же справа ничуть не изменился в лице. Мало того, он даже чуть пренебрежительно улыбнулся, чем поверг Семена в оторопь.

– Тебе чего, не было страшно? – спросил Борисов, когда они благополучно и, как считал Семен, чудом спаслись от явной смерти. Все потихоньку выбрались из автобуса и пересели на более надежный трамвай.

– Мне было забавно. Забавно наблюдать, как люди суетливо хотят избежать судьбы. Суета губит людей.

– Ты всегда, что ль, такой?

– Какой?

– А вот такой.

– Приехал откуда-то? – указал парень на сумку.

– Да, на табачную еду.

– Через одну будет.

– Знаю. Я тут жил когда-то...

Через несколько дней Борисов встретил парня в магазине, потом в Доме культуры, и они познакомились. Семен хотел было представиться опять Григорием Котовским, но, глядя новому знакомому в темные спокойные глаза, неожиданно для себя произнес:

– Семен.

– Сергей, – представился тот.

Фамилии не назвали, ну, да оно и лучше. Мало ли что, подумал Борисов. А так, познакомились и познакомились, не так, чтобы для дружбы, а на всякий случай. Как знакомятся попутчики или отдыхающие в санатории.

Мать болела и, оказывается, уже год не была членом профкома. Так что с экспедиторством ничего не вышло.

– Ты не отчаивайся, – сказала она. – Мне Василий Игнатьич обещал помочь.

– Чего ж звала тогда? – не удержался Семен.

– Да соскучилась я по тебе, сыночек, – заплакала вдруг мать и попыталась обнять сына, но тот взял ее за руки и не позволил сделать этого.

– Надо было сразу сказать, что ни черта не сможешь. А то, здрасьте, сорвала с места!

– Да уж какое там у тебя место, Сеня!

– Какое никакое, а мое! Ты, кстати, меня устроила. На «воспитание»!

– Ты меня теперь всю жизнь попрекать будешь? – заплакала мать.

– Не буду, – буркнул Семен. Ему на мгновение стало жаль ее, но он тут же ожесточенно подумал: «А кто пожалеет меня?» – и вышел, хлопнув дверью.

Зима, а потом и весна, пролетели быстро. Как и все, что идет в этом проклятом городе. Случайных заработков едва хватало на жизнь. Настал июнь. Семен стал подумывать, не

вернуться ли ему в деревню, но город, хоть и чужой такой, засосал. Шлюшек пруд пруди.

Борисов зашел в пивбар. Увидел там Сергея. Подошел к нему с пивом. Сергей узнал его, кивнул на место рядом с собой, снял кожаный пиджак со спинки, перевесил на свой стул.

– Чем занимаешься? – спросил Сергей и протянул Семену воблу.

– А-а, ничем. Думал, экспедитором устраюсь, хрен! Мать подвела. А ты?

– В институте.

– Учишься?

– Закончил уже, – усмехнулся Сергей. – Я за два с половиной года его закончил. Работаю. Математиком.

– У-у! Математиком? Платят мало? А у меня всегда по арифметике нелады были... Родители помогают? – указал Семен на кожаный пиджак.

– Да нет, сам кручусь. Туда-сюда. Купи-продай, словом. Чтоб деньги не считать.

Семена сразу осенила мысль:

– Что если нам с тобой, Сергей, заняться этим, бизнесом! – он рассмеялся. Как-то непривычно в его устах прозвучало это такое чуждое для всего его уклада жизни слово. Сергей внимательно посмотрел на него.

– А что ты можешь предложить? Дела-то у тебя, гляжу, швах. Бизнес предполагает первоначальный капитал. По

Марксу. Деньги или товар. Есть такой? А?

– Есть, есть товар! Хороший товар! Много товару! – возбужденно заговорил Семен. Как это он раньше сам не догадался об этом? Ведь так просто! – Просто до упора. Едем в мою деревню. Под Читу. У нас там барахла всякого, хоть жопой ешь. Деревенские за бутылку телевизор или пуховик готовы отдать. Наберем – и сюда. Крутнемся. Бабки нормальные будут!

– Откуда телевизоры-то, сами, что ль, мастерят? – насмешливо спросил Сергей.

– Грабят. Поезда из Китая идут. Вот и грабят.

– Что? Прямо-таки грабят? Как в гражданскую? – не поверил Сергей.

– Не знаю, как в гражданскую, а грабят почище, чем в гражданскую. КАМАЗ подгоняют и грабят. По Марксу.

– Средь бела дня?

– А как еще? Поезда больше днем идут. Да ночью и не видно, чего брать.

– Что-то не верится.

– Не верится? Поехали. Поехали-поехали! Сам увидишь.

– За твой счет.

– Лады!

– В июле поедем. Потерпишь? Отпуск у меня в июле будет. А сейчас не отпустят.

– Заметано! – Семен с наслаждением, не отрываясь, выпил кружку пива. – А-а, мне бы еще папеньку, сволочугу,

найти.

– А что так?

– Да мать, помню, в детстве все уши прожужжала: поэт, твой папенька, поэт!

– Может, так просто, шутила? Для красного словца?

– Да нет, на полном серьезе жужжала. Поэт Гурьянов! Поэт Гурьянов! Кто такой? Пушкин – знаю кто, а Гурьянов – кто такой?

– Есть такой, – сказал Сергей. – Довольно-таки известный. Не знаю, не читал, но говорят, что неплохой.

– Мне бы увидеться с ним. В глаза поглядеть.

– А если не он твой отец?

– А вот бы сразу и увидел.

– Ты где живешь-то?

– А что?

– Привел бы к тебе Гурьянова.

– Знаешь, что ли, его?

– Немного.

– Понтишь?

– Ей-бо! – рассмеялся Сергей, дернув ногтем верхний передний зуб. – Я с тобой, Семен, аргю изучу.

– Чего?

– Да это так я. Значит, привожу. Когда и где?

Они договорились, что Сергей приведет поэта Гурьянова, «папеньку», сюда в пивбар в ближайшую субботу. Если он только по своим поэтическим или другим сердечным делам

не будет в очередном творческом загуле. Бабник страшный, пояснил Сергей.

– В Читку еду скоро, мать.

– Уезжаешь, сынок? – всколыхнулась та. – Обиделся?

Семен удержал ее за руки.

– Да не обиделся, мать. Брось ты, чего обижаться? С корешем одним за шмотьем к дядь Коле с дядь Шурой смотаюсь. Сюда привезем, продадим. Да и тебе пуховик не мешало бы. Ходишь в зипуне каком-то...

– Ой, спаси и сохрани тебя Христос! Спаси и сохрани! – запричитала, как старуха, мать.

– Да ладно, – поморщился сын. – Спасет и сохранит. Делов-то! Это мы в июле поедим, не сейчас. Всего-то на неделю. А может, и меньше. Если пойдет, заживем тогда!

У матери в глазах не было никакой веры, что они наконец-то «заживут», и это ожесточило Семена еще больше. Ожесточило, непонятно против кого и против чего. Да против всего и против всех! Знакомая всем вещь.

3. Папа, между прочим

Гурьяновские стихи нравились женщинам, поскольку мужчины стихов не читают вовсе. Трудно найти мужика, который между пивом и луной выберет луну, а между бабой и девой – деву.

Став «читаемым», Гурьянов начал свои похождения по красным уголкам женских общежитий. Он там, блестя глазами, подробно отвечал на вопросы и охотно читал «свежее». Некоторые слушательницы, не чуждые поэтических порывов, просили его поделиться с ними приемами профмастерства. Он охотно делился ими. Всюду, где придется. Особенно, в общежитиях – студенческих, аспирантских, рабочей молодежи и, особенно, женских.

И вдруг, спустя много лет, Гурьянов узнает о существовании сына, о котором и не подозревал никогда! И от кого? От сына лучшего друга, Сережки Суэтина! Оказывается, они знакомы с ним и даже чего-то там «челночат» или собираются «челночить».

Будь Гурьянов королем, его сын стал бы бастардом. Хотя сын, став «челноком», и лишил его королевских почестей и чувства законной гордости за сына-молодца, увидеть его все равно хотелось. И даже очень сильно. Ну и что – «челнок»? «Челленджер»! Подучим, ноу проблем! Юрий. Прекрасное имя! Юрий Гурьянов. Юрий Алексеевич Гурьянов.

Замечательно! Почти Гагарин. Аустгейхнет, любил повторять отец. Услышал, наверное, от кого-нибудь.

Гурьянова не на шутку обуяли отцовские чувства. Он, правда, не учел, что безотцовщина скорее алебастр, чем пластилин или глина, и в заботливых отцовских руках мягче не станет. Он был уверен, что его поэтическая душа обязательно найдет приют в склонной к поэзии (он был уверен в этом!) душе сына. Ведь и сам он перенял некоторые, не самые худшие, качества своего отца. Лишь бы она, его мать (интересно, кто это?), не ставила палки в колеса, не давая сблизиться отцу и сыну. О, эта горькая судьба отца и сына! Лишь бы ее не обуревала гордыня. Гурьянов от истины был не далек, но и не близок к ней, так как слов «обуревать» и «гордыня» в лексиконе работницы табачной фабрики, ставшей с годами похожей на отечественную сигарету, не было. Не было, потому что и не было никогда. Ну, да поэтические краски многое высвечивают в другом, выгодном для поэта, цвете.

Гурьянов, узнав от Сергея новость о сыне Юрии, переполошился и удивился сам себе, чем удивил и Сергея. «Старик Гурьянов, старик», – подумал тот, подметив дрожание пальцев и легкую слезливость.

– Ты только того, нас одних оставь, ладно? – попросил Алексей Николаевич Сергея.

– Пивка выпью и оставлю, – пообещал тот.

– Фамилия-то его как будет, Юрия?

– Фамилия? Забыл спросить.

Когда Гурьянов вошел в пивбар с «Дербентом» и «Цинандали», Юрий допивал третью кружку пива. Он молча уставился на «папеньку». Сергей представил их друг другу.

– Гурьянов Алексей Николаевич. Юрий, – сказал он, указывая на Семена. Тот удивленно взглянул на Сергея, но поправлять не стал. «Был Григорием, побуду-ка Юрием», – подумал он.

– Ну, как ты... сынок... Юрий? Фамилия-то как?.. Как будет твоя?

– Неважно...

– Что? А, ну, да-да... А я Алексей Николаевич. Гурьянов. Поэт есть такой – слышал? Член Союза писателей. И, между прочим, твой отец, – Гурьянову удалось подавить волнение, и фраза закруглилась достаточно гладко.

– Борисов фамилия моя. Сын Кармен.

– Да? Кармен? А-а, – Гурьянов вспомнил Кармен. Была, была такая. Где вот только? В Коктебеле или в Пицунде?

– Значит, я ваш сын?

Молчание. Потом Гурьянову послышалось или на самом деле прозвучало: «Между прочим».

– Ну что, Юра, это дело надо отметить, – и на этот раз прекрасно расслышал дополнение: «Между прочим», но сделал вид, что не услышал.

– Так я пойду? Всего вам, – попрощался Сергей.

– Да, между прочим, не каждый день... – подал голос сын.

– Да-да!..

– ... приходится пить «Дербент» с «Цинандали». Все больше беленькую. Мы его, как... из горла?

– Пойдем куда-нибудь в другое место, посидим, поговорим... Тут грязно как-то.

– Грязно? – удивился сын. – Давно, между прочим, не говорили... Алексей Николаевич.

Гурьянов строго, но и мягко, взглянул на сына:

– Я, между прочим, не Алексей Николаевич, то есть, я хочу сказать, я Алексей Николаевич, но не только и не столько, я еще и твой отец. Папа, между прочим.

– Между прочим, папа.

– Ты это с иронией?

– Вы о чем?..

– Да нет, так просто. Ну, пошли?

– А можно, я поведу в одно место? Классное! – оживился сын.

И Гурьянов мог побожиться, что опять услышал, будто кто-то говорит у него в самом центре души: «Между прочим». Он быстро взглянул на сына, но тот без улыбки шагал рядом с ним, чуть впереди, и рот у него был замкнут. Чревовещание судьбы, подумал Гурьянов. Тогда чревовещает нам судьба, когда решается она.

– Кончается...

– Что? – взвизгнул Гурьянов.

Сын удивленно взглянул на него:

– Деньга кончается у меня. Через месяц поедem с Сергеем зашибать. А сейчас вот напряг с деньгой.

– Не сочти за... за... вот, возьми... – Гурьянов вытащил из кармана, не глядя, припасенные заранее деньги. Сын ловко перехватил их.

Он привел отца в буфет бывшего женского, а сейчас семейного, общежития, где некогда поэт Гурьянов охмурил набивальщицу Борисову, пленив ее строками: «О, столько смен, прождал тебя, Кармен, я у ворот, не рая – ада. Наверное, Богу было надо, чтоб столько смен я ждал тебя у врат, Кармен!» Мать часто цитировала эти строки сыну. И показывала столик, за которым они сидели в тот вечер... и ели сосиски. Знай она импрессионистов, узнала бы в некоторых их картинах именно этот столик, а может даже, и себя.

В детстве сыну нравились отцовы стишки, как все, что нравилось матери, но детские годы шли, у матери все хуже и хуже становилось с легкими, батяня так и не появился ни разу на горизонте его счастливого детства, и ниоткуда не прислал почтовый перевод, чтоб мать съездила хоть разок в санаторий. Хорошо, что профком отправил бедняжку в Крым. А маманя меня к дядьям-алкоголикам. «Матери год-два жить осталось. Румянец какой! А этот – румяная сволочь!»

– Вот и пришли, – Семен указал на столик в углу буфета. («Бедная мать! – подумал он, но не пожалел ее, как раньше, а просто стал еще сильнее презирать за бедность. – Продаться

за сосиски! Сама виновата!»). Смена еще не кончилась, и народу в буфете не было. – Между прочим, очень уютно.

Он четко произнес «между прочим», но видно было, что не вложил в них никакого другого смысла, кроме того, который вложил. Между прочим. Так начинаются глюки, подумал Гурьянов, пора и выпить.

– Это студенческое общежитие?

– Ага, общага... табачной фабрики.

– Ты тут... маму встречаешь после смены?

– Ага. Еще баб снимаю. Пену взбить любви телесной.

– Что? – хрипло спросил Гурьянов.

– Пену, говорю, взбить. Любви телесной. Любви страстной. Безудержной... Это из любовной лирики. Наверно, богу было надо, чтоб столько смен я ждал тебя у врат, Кармен...

– Ты знаешь мои стихи?

– Стихи? Да, с детства помню.

– Ну, что ж, приступим? – Гурьянов поставил на стол бутылки. – Как тут сейчас – обслуживают?

Борисов лег на стойку, перегнулся к буфетчице и, положив ей руку на зад, шепнул что-то на ушко, та хихикнула и дала ему нож, штопор, два стакана и даже две салфетки. Губы и глаза ее были как губка, да и вся она была, как губка. Гурьянова от этой мысли передернуло. Слышно было, как она уважительно сказала «Дары!» Несколько неожиданно и странно было услышать это слово в этом месте. Гурьянов как-то забыл, что и сам двадцать лет назад произносил здесь

не менее высокие слова, которые вот только, увы, очень сильно сгладило время. И уж совсем удивился Гурьянов, когда услышал: «Не верьте данайцам, дары приносящим». Но нет, это не Юрий. Это что-то внутри него трагически произнесло.

– Ты тут как свой.

– Даже без «как», я тут свой. Как и вы... Алексей Николаевич. Вон то – тоже ваша дочь. Вон, шлюшка та. Катя! Радетель зовет!

– Что? Катя? Какая Катя?

– Хорошая Катя. Ночь как минута пролетает...

– Что ты говоришь?

– Здравствуйте.

Гурьянов встал. Девушка была откровенно яркая до вульгарности, но и неуловимо волнующая до поэтического экстаза. Она невинно смотрела Гурьянову в глаза. Поскольку невинность дается женщине один раз в жизни, она невинна всю жизнь. Нет, губка, губка! «Какие руки, какие губки, какие бедра у голубки!» – привычно полезли в голову рифмы. Гурьянов поморщился от них, как от неприятного запаха.

– Борисов сказал, что вы Гурьянов. А я Бельская. Дочь Сони Бельской, бывшей буфетчицы. Помните ее?.. Семейная династия. Мать часто говорила про вас. Что вы, мол, отец мой. Думала: врет. Думала: фи, поэт Гурьянов и какая-то буфетчица?

– Она твоя мама, Соня... – сказал Гурьянов. В горле его пересохло. Он глотнул коньяк и не почувствовал, что это ко-

нъяк.

– Соня она, а я Катя. Я-то знаю, кто она мне. Про вас сомневалась. Мать-то я хорошо знаю. Надо же, отца вижу! Скажи вчера кто, послала бы! У нее-то кого только не было – и маляры, и ментура, и шофера, главбух какой-то задрипанный был, с порфелем! Милый мой бухгалтер! Козлы вонючие! А мать: нет, не они твои отцы, твой отец поэт Гурьянов! Как будто я претендовала сразу на несколько отцов! Ей, конечно, виднее было.

– А ведь я, Катя, – поздравь меня – тоже его сын. О! И твой брат заодно!

– Иди ты! Ой, плохо будет! А если ты заделал мне кого?

– Юрий! – воскликнул отец.

– Юрий? – удивилась девица. – Юрий! Ой, уморил, – она расхохоталась. – Семен он, а никакой не Юрий! Папенька!

– Что мне все это напоминает?.. – посмотрел Гурьянов на своих деток. – В Петергофе фонтан есть. Из Бельгии привезли. Называется «Самсон, разрывающий пасть писающему мальчику». Очень напоминает...

Два часа общения Гурьянова с сыном существенно не сблизили, что было и неудивительно. Семен был абсолютно чужой и не желающий пойти ему навстречу человек. Поговорили о том, о сем, как два попутчика, пока Катя не сказала им:

– Все, родственники, лавочка закрывается! Выметайтесь.

Гурьянов со вздохом поднялся, простился с Катей. Та, как

Леонид Якубович, поморгала ему глазами.

– Сестренка, покеда!

Семен, пиная пластиковую бутылку, проводил отца до трамвая. Возле телефонной будки маленький черный пудель пытался взгромоздиться на крупную податливую овчарку.

– Такой маленький и уже кобель! – воскликнул Семен, ловко поддел бутылку и угодил ею в дрыгающийся песий зад. И расхохотался.

«Как ни странно, – подумал Гурьянов, – осознание своего ничтожества возвышает. Вернее, очищает».

4. О плановой трансформации административно-хозяйственных отношений в рыночные

Всю нескончаемую майскую ночь дул сильный ветер. Нудно гудело за окном. К утру стало холоднее. Низкие серые тучи, как тревожные мысли, нескончаемо ползли и ползли с запада на восток. Сквозь порывы ветра каким-то пунктиром доносились звуки города. Дома стояли съежившись, согнувшись, заострившись. Яблоневый цвет опал. Он лежал на влажной от ночного дождя земле, как рыба чешуя. И была в этом завершении красоты, как и во всяком завершении, какая-то несправедливость и грубость. И вместе с тем, уверенность в своей правоте. Грубость часто бывает права, права, потому что завершает даже красоту.

Суэтин задумчиво брел к дому.

Как представишь, сколько в этот момент тел сливаются в судороге и сколько душ витают в неприкаянном волчьем одиночестве, жалко становится человека, жалко, что он не может найти себе душу, которая давно ищет его самого.

Встречный глянул на него резко, зло, точно это Суэтин накликал промозглую погоду.

Как бы пристально и магнетически, как бы тяжело и зло ты ни взглянул на другого человека, всегда найдется такой,

чей взгляд будет пристальнее и пронзительнее, тяжелее и злее, чем твой. Но если ты взглянешь на человека по-доброму и открыто, вряд ли кто будет тебя сильнее. Ибо злой взгляд от дьявола, и сильнее его ты не будешь, а добрый – от Бога, и он открывается сразу же и весь.

Настя давно уже привыкла к причудам Евгения. Он дня не мог прожить без какой-либо увлеченности. Не женщиной, нет, ими он интересовался мало, а идеей, фантазией. Увлечется, вспыхнет, положит на нее ум, энергию, время и вдохновение, а через год-другой с такой же легкостью сменит ее на новую.

Сначала он увлекался собиранием книг, потом вдруг стал собирать коренья и травы, а заодно выжиганием по дереву, потом стал делать всякие настойки и наливки, перещеголяя в них мать, чуть не спился, потом резко сменил курс и перестал совершенно пить и есть не только мясо, но и рыбу, яйца, сыр, майонез, грибы... А что же он ел тогда вообще? Настя в те дни перестала готовить еду и чувствовала себя обманутой и преданной. У нее тогда впервые заболело сердце, как от любого непоправимого несчастья.

И вот, в конце концов, здрасьте, ушел с головой в эзотерические учения: во всякие там йоги, арканы, эгрегоры, чакры, кундалины и прочую канитель. Накупил три полки Кастанеды, Подводного, Малахова, кучу малоизвестных авторов, тем не менее ужасно просветленных и продвинутых, и

ушел в нирвану.

Иногда на него накатывала хандра, и он впадал в «депресс-няк», закрывался в комнате и то ли возился со своей формулой, то ли просто, как мазохист, упивался одиночеством. На него было страшно смотреть в эти дни: осунется, не брит, хмур, молчалив. Не дай бог сказать что-нибудь поперек. Нет, не взорвется, но так уйдет в себя, с такой силой, что вслед за ним, кажется, уходит и вся твоя жизнь. Уходит, и нет ее тут, с тобой, и там она ему совсем не нужна.

Настя чувствовала, что это в нем от отчаяния, но не могла понять, вернее, не могла себе представить, отчего это. Как женщина, она первым делом думала, что тут все дело в его неудовлетворенности ею как женщиной, и от этой мысли ожесточалась и наговаривала себе и подруге Веронике много чего лишнего на Евгения, о чем потом жалела. Евгений становился в эти дни не только замкнут, но и жесток. Черствость его иногда изумляла. Он оставался совершенно равнодушен к чужим страданиям и болям, в том числе и ее, и Сережиным. Их для него просто не было. Для него существовали лишь его боль и проблемы, и он яростно бился с ними в душе своей, один на один, не прекращая свой беспощадный рыцарский поединок с самим собой, победителем в котором, Настя знала это, будет только смерть.

Она видела это, но ее мало утешало увиденное. Ей, разумеется, хотелось лишний раз выйти в театр, в ресторан, пойти в гости, просто погулять, наконец. Но она уже стала бо-

яться предложить ему это. Когда же Евгений года два назад стал (уже в который раз) исписывать сотни листов в поисках какой-то формулы, она не выдержала и спросила у него: «Тебе, Женя, не надоело?» Он не услышал ее, хотя и промычал что-то в ответ.

Она решила больше не обращаться к нему ни с чем, пусть жизнь идет, как идет, себе дороже будет. Иногда он с лихорадочно блестящими глазами и весь в нервном возбуждении, дрожа, спускался до нее и рассказывал о своих успехах, в которых, признаться, она мало что понимала, но в эти минуты она еще сохранила способность искренне радоваться за него. Не все умерло в ней в результате нескончаемых многолетних экспериментов Евгения. Он мог сутки, двое не спать, не есть, не пить, не ходить даже в туалет, а на любое обращение к нему лишь рычал и раздраженно махал рукой, чтобы она закрыла дверь и не лезла к нему.

Однажды к ним пришли гости, но он даже не вышел и бросил ей, не поворачивая головы, мол, займись ими сама, я занят, болен, умер, скажи, что хочешь, лишь бы не лезли ко мне, и пусть не вздумает кто-нибудь сунуться ко мне в комнату. Она понимала, что он не шутит. Однажды он очень грубо выгнал соседа, зашедшего к нему за каким-то советом. После этого он, как ни в чем не бывало, мило раскланивался с ним и недоумевал, почему тот косо смотрит на него. Насте пришлось что-то придумывать и невразумительно донести до соседа, чтобы хоть как-то сгладить неловкость. Сосе-

ди все-таки, вместе жить и жить. Евгения же это совершенно не беспокоило, так как он, похоже, ни с кем в этой жизни не собирался не только общаться, но даже перебрасываться незначительными словами.

Все мужики придурки, говорила Вероника, но это была точка зрения частного, или физического, лица, которое эти мужики обманывали раз двадцать, не меньше, не только как физическое тело, но и как страдающую физически душу, чего, собственно, она ожидала другого? После третьего мужика в сети идут только придурки. Таков закон распределения рыбной ловли, если угодно, и с ним надо считаться, а не игнорировать его.

– Да заведи кого-нибудь, плюнь на Женьку. Раз ему все равно, чего ты-то переживаешь? О, господи, мужиков – вон сколько. Хошь так бери, хошь в обертку завернутых.

Вероника искренне недоумевала.

Настя была мрачнее тучи.

– Не успел домой вернуться, тут же из дому бежит! Не мог день обождать. Никуда твои дружки не делись бы. Все душу друг другу излить не можете. Погляжу я на вас, не изливаемые у вас души у всех!

– Что ты злишься? – спросил Суэтин. – Раз пошел, значит, надо было. Я же не спрашиваю тебя, когда ты на кафедру идешь или в деканат, зачем тебе это надо...

– На кафедру и в деканат я хожу на работу! – отрезала Настя. – Там у меня других интересов нет и быть не может!

– Логично, – согласился Суэтин, поняв, что спорить бесполезно. – Логично, железно и бесповоротно. Завидую, уважаю, ценю! Па-азвольте отойти ко сну? Что-то спать захотелось.

– Алкоголик несчастный!

– Счастливый, Настя, счастливый! Позвольте поцеловать вам ручку, мадам. Весьма тронут.

– А иди ты!

И он пошел ко сну, в который тут же и провалился, как в глубокую черную яму. Когда утром он выбрался из нее, ему показалось, что он провел не ночь, а всю свою жизнь в угольной шахте. Видно, мало вчера выпил, раз такой крепкий был сон, подумал он. Или, наоборот, чересчур много?..

5. Народный хор

На сцене с трудом вдоль стены разместился народный хор. Хор был смешанный: наполовину состоял из хористов, а на другую – из хористок. Мужчины все были солидные, многие с бородками, а женщины – всё больше молоденькие, гладенькие. Симфонический оркестр филармонии плотнее, чем обычно, расположился на сцене. Впервые исполнялась третья кантата нежинского композитора Серикова (сына известного в прошлом хормейстера). Дирижировал сам Сериков. Он пожал руку первой скрипке, строго взглянул разом на всех музыкантов и певцов и взмахнул руками. Разом взревели все. Приёмистость оркестра и хора составила сотые доли секунды. Так срывается в бездну водопад или сразу со всех летательных аппаратов по команде десантный полк. Зал вдавился в кресла. Сердце подступало к горлу, перехватывало дух и свистело в ушах. Сериков властвовал над стихией звуков. Многим дамам в зале нравилась его стройная фигура, при удивительно больших и пластичных кистях рук, и видимая залу четверть лица, то справа, то слева, на которое ниспадали черные с проседью волосы; а мужчинам нравились его жесткие руководящие жесты хору и властный в кудрях затылок (может, конечно, они и лукавили). Много бабочек с синими папочками и много папочек с белыми бабочками пели так дружно, что не было понятно ни одного слова. То и

дело дрожали не рассчитанные на кантату висюльки в люстре под сводами зала, а в краткой паузе между второй и третьей частями по залу крадучись прошел прямо-таки священный ужас. Женские голоса били вверх, как гаубицы или зенитки, а мужские мощно в упор настильным огнем покрывали всю площадь зала. Продавец бижутерии в киоске холла пару раз озадаченно смотрел в сторону зала. Когда по замыслу автора хор без всяких классических подходов, новаторски резко, как жизнь, оборвал кантату, в зале с минуту стояла гробовая тишина. Слушатели приходили в себя. От шквала аплодисментов опять задрожали висюльки в люстре, а в зал вновь заглянул священный ужас. Продавец бижутерии в киоске холла подскочил на стуле. Сериков платочком промокнул пот и с поклонами принял от служительницы филармонии гвоздики, а от нескольких свободных дам исключительно розы, сопровождаемые порханием изогнутых ресниц. Операторы с телестудии спешили запечатлеть момент. Они кричали что-то друг другу, но, похоже, ничего не слышали. Момент явно не вмещался в рамки заурядного кадра. Он замахивался на эпохальность. Буквально на глазах благодарных слушателей гражданские лица превращались в исторические. Без всяких метафор, весьма натурально. Критикесса Свиридова уже строчила в свою книжицу вдохновенные строки «... блестяще... артистическое очарование... мощь и экспрессия... «Гибель богов»... поздний Шостакович... Нежинск обрел... олимпийцы... возрождение... храм... канун третьего тыся-

челетия...»

Суэтин ждал Настю на ступенях парадного входа. Он курил и думал о том, что музыка оказывает такое же влияние на людей далеких от музыки, какое оказывает табачный дым на некурящих: кружит голову и отравляет. Хотя пассивные меломаны страдают сильнее пассивных курильщиков. А активно – Суэтин посмотрел на сигарету – кружишь голову и отравляешь сам себя. Так что все хороши.

– Зря не пришел, – сказала ему Настя.

– Пришел не зря. Я и тут прекрасно все слышал.

– Здесь не то.

– То не здесь. Здесь самое то. Да я был, был. В проходе, на приставном стульчике. Правая перепонка стала жужжать. Видно, в резонанс вошла. Знаешь, в ухо иногда оса залетит и жужжит, жужжит. Мочи нет, как зудит. Вот я и не вытерпел: покинул зал. Неудобно же там из уха ее вытряхивать.

– Рассказывай! – рассмеялась Настя. – Ну, а я как пела?

Суэтин выпятил нижнюю губу и поджал ею верхнюю, изобразив высшую степень одобрения.

– О! – сказал он.

– Мощный наш хор?

Суэтин развел руками:

– Я опухаю! Видишь? – он надул щеки и выпятил живот. – Пошли к реке. Скажи-ка, Настя, давно хочу спросить тебя, уж лет двадцать, – засмеялся он, – почему ты поешь в хоре?

– Если бы я знала, почему? Хотя: если бы знала – не пела бы.

– А я все думаю: смог бы я работать, повернувшись к людям задом, как дирижер? И вот сегодня я нашел аналог работе дирижера. Помнишь Гулливера, как он тащит за ниточки канатов корабли к поджидающим его на берегу лилипутам? Вот так и дирижер тащит за ниточки звуков весь оркестр.

– К лилипутам?

– Это не я сказал. Как тебе: «Щупленький дирижер из глыбы воздуха высек Вагнера в полный рост»?

– Ну и что?

– Ничего. Леша написал. Он, похоже, нащупал верный путь. Удивительно, мы с ним иногда понимаем друг друга без слов. Или с нескольких, что еще труднее.

Они стояли на пустынной набережной. Настя смотрела, как в воде отражаются огни фонарей: казалось, в воду уходит огромный черный храм с белыми колоннами.

– А я было подумал: у тебя стадный инстинкт, – Евгений вернулся к прежней теме.

– Пошли домой.

– Насть, извини, – он обнял ее за плечи. Настя толкнула Евгения, и тот, нелепо взмахнув руками, свалился в воду. Несколько колонн разрушилось, но храм уцелел. «Это хорошо», – подумала Настя и расхохоталась:

– Давай руку! Извиняю!

Суэтин был как мокрая курица.

– Ну, мать! Это почище твоего хора будет!

– Пойдем домой, тачку лови.

– Да какая тачка? С меня течет, как из трубы... Настя, давно хотел спросить: как у тебя с Гремибасовым дела?

– Прекрасно. Можно сказать, любимая хористка. Только он помер десять лет назад. Забыл, что ли? Кстати, незадолго до кончины посетовал, что у меня с Горой тогда ничего не получилось. Я ему: не я первая, не я последняя. А он мне...

– Что?

– Ты, мол, Настя была не первая, но стала последняя.

– Как это? – Суэтин остановился.

– Я тоже спросила. «Так, – отвечает. – Он теперь зарок дал: на женщин не смотреть, с женщинами не связываться, о женщинах даже не думать. Жаль, – говорит. А потом подумал и добавил: – А может, и правильно сделал. С вами, бабами, только свяжись, ничего в жизни не добьешься». Я засмеялась – добьешься зато баб. «Ну, разве что...» – ответил он. И больше со мной на эту тему не заговаривал. Помер.

– Ивана не видела? – Суэтина подмывало добить тему до конца.

Настя взглянула на него, взяла под руку.

– Нет, с самой свадьбы. И в Лазурный больше выступать не ездили, – ответила она на незаданный вопрос. – А ты не слышал разве, его же посадили за «злоупотребления». Прямо отправлял рефрижераторы с бройлерами, а налево эшелоны. Писали в газетах.

Потом засмеялась:

– Я уж думала, тебе давно безразлично всё!

6. Сергей

Сергей к двадцати двум годам полностью разочаровался в жизни. То есть даже в той, которую еще не знал, что только была впереди и сулила ему и успех, и радости. Во всяком случае, окружающие Сергея люди были уверены в том, что она сулит ему радость и успех. Может, завидовали? Впрочем, было чему. Способности у Сергея были блестящие. И к математике, и к шахматам. В шахматных соревнованиях он не участвовал, но у Дерюгина выигрывал и белыми, и черными, а в блиц ему вообще не было равных. А «красный» диплом говорил сам за себя, и прежде всего, не то что он был зубрила и посредственный отличник, а ему одинаково ровно и легко давались любые предметы. Учился он играючи. И, конечно же, в звезду его верила в первую очередь мать. Отец лет до пятнадцати проявлял интерес к способностям сына и даже гордился им, но потом стал равнодушен, чем постоянно выводил мать из себя. Сергей еще ни разу не подвел мать и оправдал все ее надежды.

В плане благополучия он был благополучный мальчик, а затем и юноша. Единственный привод в милицию в восьмом классе был скорее исключением из правил и нелепостью, нежели закономерностью. Хотя Сергей, попав туда в первый раз, почему-то был уверен, что побывает здесь снова. Может, сказывалась русская присказка о том, что лучше

не зарекаться, может, еще что-то. Он словно инстинктивно знал, что на Руси зарекайся не зарекайся, а все равно во что-нибудь да вляпаешься. А кто хочет избежать своей судьбы, тот получит чужую.

Этот привод у Сергея был за хулиганство. Школа располагалась над балкой, с боков и со стороны фасада была закрыта густыми деревьями. Школьный двор окружала высокая изгородь с металлическими воротами, и он был хорошо скрыт от посторонних глаз. Ночью в школьный двор часто заезжала милицейская патрульная машина и располагалась там до утра. Патруль, понятно, всю смену дрых и никто его там и не думал разыскивать. Сергей однажды закрыл ворота на замок и позвонил в отделение милиции. Кто-то из своих же его продал, и пришлось расплачиваться за недозволенную шутку. Хорошо, подполковнику она пришлась на руку, и Сергея отпустили сразу же. Однако зуб на него, надо полагать, в райотделе имели и при случае могли показать. Так что Сергею очень не хотелось предоставлять свою судьбу на волю этому случаю. Слава богу, больше такого случая не представилось.

Учеба может даваться легко, но иметь тем не менее свинцовый привкус. Сергей же постигал все науки с моцартианским изяществом, поверяя свою гармонию математикой. Если бы не постоянное жужжание матери, что отцу надо скорей защитить докторскую, а ему кандидатскую, оно бы скорее всего так и было, и отец бы давно защитился, и он еще в институте стал кандидатом, но, по понятной причине, по-

нукания матери только замедляли естественный ход событий, а у отца, похоже, и вовсе тормозили. Сергей заметил, что после каждой вспышки у матери творческого энтузиазма насчет отца, у того вовсе пропадал интерес к чему бы то ни было. Он собирался и шел в дерюгинский гараж.

– От твоего ледяного равнодушия скоро вновь наступит эпоха оледенения! – кричала она ему вслед.

– Ма, ну что ты пристаешь к отцу? – спрашивал Сергей у матери. – Опять придет из «харчевни» пьяный. Ну зачем тебе это надо?

Но она никогда толком не могла ответить ему, почему пристает к отцу и чего от него ждет. У нее эта привычка стала патологической. В самом начале ее блистательного взлета научной и преподавательской карьеры Сергей, понятно, отвлек ее на много лет от истинных интересов и призвания, отбросил на много лет назад, и ничем сейчас не мог искупить своего невольного греха перед ней. Впрочем, почему моего, думал Сергей. Не я же завел самого себя, в конце концов. Я же не тот старый патефон с ручкой, что валяется на антресолях. Сами завели, сами и слушайте. Ну, а отец оказался в их семейном треугольнике единственным тупым углом, который мать отстругала до острого состояния. Всю жизнь, сколько помнил себя Сергей, она пыталась доказать отцу, что он не то чтобы погубил ее талант, но не дал раскрыться, и вообще не стоит ее ногтя. Впрочем, это могло Сергею и казаться так. Так как иногда он видел родителей вполне уми-

ротворенными друг другом. Но умиротворение завершалось вопросом:

– Как докторская? Думаешь защищаться?

– По очередному дерьму, утилизации отходов? Чьих, человечества?

– Ну, тебе меньше по штату не положено!

– От человеческого дерьма защиты нет! – отрезал отец.

– А ты когда защитишься наконец? – переключалась мать на Сергея.

– Не надо давить на меня. Не надо. Силы действия и противодействия не равны. Неужели не знаешь? Сила противодействия всегда больше.

– Особенно у таких противных, как ты!

Странно, но он давно не находил в себе ничего от отца. Собственно, с того самого момента, как сознательно захотел найти в себе черты отца, он ищет их и не находит. Это удивительно. Нет, внешне-то он похож. Но вот внутренне – ничего схожего ни в характере, ни в душе. Ведь должно же было быть хоть что-то, некий резонатор, который давал бы ту же амплитуду, частоту колебаний жизни, мыслей, чувств. Нет, все было по-другому. И отец, казалось, тоже это замечал и с годами стал к нему холоднее. И Сергею было обидно, что отец совершенно перестал интересоваться его соображениями о карьере, темой его диссертации и всем тем, что должно составлять стержень любой нормальной семьи, в которой все живут друг другом, заботятся друг о друге и видят смысл

только в такой жизни и в этой заботе.

Вот и разочаровался Сергей именно в той жизни, которой от него ожидала мать. И для достижения которой готова была пожертвовать чем угодно: собой, отцом и даже им, Сергеем. Это он знал совершенно определенно. Смысл ее существования свелся к тому, чтобы Сергей как можно быстрее стал кандидатом. Ей были абсолютно безразличны (в отличие от отца) и тема работы, и практическое ее применение, и даже смысл. Для нее весь смысл сосредоточился в самой процедуре защиты и торжестве победителя. Кого – ее? С отцом Сергей на эту тему не беседовал, но предполагал, что ничего путного от него и не услышит, так как отец совершенно перестал интересоваться его судьбой, что было крайне странно и обидно...

Сергей торопился домой. Зайдя во двор, заставленный автомобилями, он решил прошмыгнуть мимо сталистого «БМВ» и белого «японца». Взвизгнул сначала «БМВ». Взвизгнул и тут же заткнулся. А потом «японец». Сергей сгоряча пнул его по колесу. Не сделал он и десяти шагов, выскочил с кулаками хозяин «японца». Сергей одним ударом сбил его с ног и, не оглядываясь, зашел в подъезд, треснув дверь. Он и хотел, и не хотел, чтобы сбитый им мужик кинулся на него сзади. Вот уж когда Сергей даст выход всей злости, накопившейся в нем за последнее время! Он даже с минуту простоял внизу, прислушиваясь к шуму во дворе.

Сергей вспомнил, как года три назад до смерти напугал бабушку, царствие ей небесное! Бабушка приехала ним в гости и сидела на кухне, ждала, когда разойдется компания.

Анна Петровна любила рассказывать эту историю.

– Загулялась молодежь за полночь. Родителей нет, в Москве оба. У меня сердце мягкое, отзывчивое. Я на кухне сижу, чтоб им не мешать, книгу читаю. А там, не рыдай моя мать! Такой рев, такой рев и топот! Как это соседи не пришли, не знаю даже? А, Новый год был. Чего же я читала-то? А, Оскара Уайльда. Забавное что-то. Вдруг стук в окошко. Тук-тук-тук! Голову оторвала от книги. Не пойму, где стучат. Снова: тук-тук-тук! В стекло оконное. А квартира на четвертом этаже. Я перед этим фильм какой-то смотрела про летающие тарелки, как на них людей похищают. Нехорошо на душе стало. Стук громче. Я закричала. А в окно уже не на шутку дубасят. Ну, тут я и заорала, как под Миусом, когда фрицев атаквали. Прибежали парни с девками. Я ору. Они ко мне: что, что такое? Я ору и на окно показываю. Я ору, они орут и не слышно больше ничего! Я тогда – тише! – говорю. Слушайте. Замолкли все, прислушались. А в окно снова стук. Так что стекла трещат. Окно заделано, отодрали с горем пополам, отворили, а там Сергей, окоченевший весь. Поздравить бабушку пришел – по карнизу!

Тогда Сергей вдруг затосковал (на него в шумных компаниях такое иногда находило) и не знал уже, что предпринять. И вдруг вспомнил о знаменитой сцене кутежа Пьера Безухо-

ва. Позабавлю-ка ремейком гостей, а заодно и бабулю поздравлю. Соскучилась, небось, там одна. Вышел на балкон, перелез через перила и по карнизу, хватаясь за обледенелые стены, добрался до окна кухни. Два раза чуть не сорвался. Удержался чудом. Но, похоже, отморозил пальцы. Позлорадствовал, стиснув зубы: «Нет, до такой стены даже Стивен Кинг не додумался. Куда ему! Не был он у нас в России, не был. И делать ему тут нечего!» Сквозь мерзлое стекло было плохо видно. Угадывался бабушкин силуэт. Постучал. Бабушка подняла голову, взглянула на него, открыла рот. Снова постучал. Бабулин крик был слышен даже на улице. Прибежали ребята. Бабушка тыкала пальцем в направлении окна и орала. Все тоже заорали, забегали, по телефону стали звонить. Хоть бы кто к окну подошел. Стал бить по стеклу кулаком. На кухне затихли. Наконец-то кинулись к окну. Возились с ним битый час. Чуть-чуть бы еще, и выдавил стекло. Перевалился через подоконник. Заорал:

– Ну, чем я не Долохов?

– Какой Долохов? – заорали все. – Слабо Долохову!

Бабуля поцеловала в лоб и дала подзатыльник. Ах, какая же она была славная!

До последнего дня она работала над монографией о становлении отечественного коневодства. Накрапала тридцать пять авторских листов! Академик ВАСХНИЛ Харитонов тут же распорядился издать ее. За год с небольшим монография была подготовлена к изданию, и бабуля успела прочитать от-

тиски.

– Это, Сереженька, дело всей моей жизни, – сказала она ему тогда. – Не думай, что жизнь долгая. Спешి сделать главное, пока молодой.

Когда бабуля тихо-тихо покинула этот свет, он не услышал из ее уст ни одного стона, может быть, потому, что у него в тот момент стонала и ревела собственная душа. И ее жалко было, и себя, и, как ни странно, все человечество. С нею, казалось, уходила навеки стихия беззаветного служения людям.

7. В «Трех товарищах»

Евгений встретился с Алексеем и они, не сговариваясь, подались к Дерюгину в гараж. Подходя к гаражам, взглянули друг на друга и пожали руки. Похоже, мужские треугольники надежнее смешанных. Как в былинах да сказках.

На гараже болтами была привинчена вывеска «Три товарища». Ниже разными почерками мелком было приписано: «Три толстяка. Три мушкетера. Три поросенка. Трое. Трехчлен. Три пескаря. Три сестры. Три года». «Трехчлен» был зачеркнут.

– Бог троицу любит, – сказал Гурьянов и приписал «Трибрахий».

Заглянув в гараж, они слышали голос друга. В гараже было пусто. Голос и свет шли из недр земли.

– Я тебе... – говорил голос. – Я тебе сейчас так пойду, что тебя ни один стационар не примет! Коником по фейсу! Вот сюда! На жэ!

– Ой-е-ей! Напугал! Напугал бабку отверткой! – ответил первому голосу второй, принадлежащий, впрочем, тоже Дерюгину. Послышалось короткое, но выразительное слово из ненормативной лексики, бульканье, стук, криканье, звук «а-а-а!..» – выразивший высшую степень удовлетворения.

– Пьешь? – спросил первый голос. – Пьешь, значит? А мы, что же, лысые? А мы лы-ысые?.. Лысые-лысые! О так-

от! Получил? Е-два получил? Это тебе не г-пять!

Послышалась причудливая вязь из слов нормативной и ненормативной лексики, бульканье, стук, криканье, звук «а-а-а!..» После чего, как после всякого удовлетворения, наступила некоторая пауза.

Гурьянов подошел к яме:

– Ты чего там, Толя?

– Не мешай! – послышалось из ямы. – Посиди. Гамбит добиваю...

– Добиваешь или допиваешь?

– Что он там? – спросил Суэтин, не заходя в гараж. Он невольно залюбовался видом рощицы на другой стороне балки.

– Партию исполняет. Гамбит на табурете. На прочее, увы, опоздали.

– Ты посмотри, какая красота, – указал Суэтин на рощицу. – Зачем он в яме-то сидит?

Агония гамбита длилась пять минут. После грохота сметенных с доски фигур вылез недовольный Дерюгин.

– Зинаида достала, – были первые слова Дерюгина. – Начку, – он похлопал по пистончику брюк, – вчера постирала вместе с брюками! Это бы ладно. Гладить стала, нашла, прогладила ее и, проглаженную, изьяла в доход государства. Да еще пристала: откуда? На свою голову сказал, что профвзносы. Так много, удивилась она. Хорошо, мысль пришла, что это за полгода. С зарплаты отдашь, сказала и изьяла. При-

шлось «закладку» вскрывать.

«Закладки» были разбросаны по гаражу во множестве. Это, разумеется, были не те закладки в томиках поэзии или артистических мемуаров, которые любят делать рафинированные дамочки, находящие вкус в «высокой» литературе. Дерюгинские закладки были в щелях между кирпичами. Все их Дерюгин, естественно, не помнил, так как «закладывал» большей частью в беспомыслии, после того, как уже заложил за воротник.

– Зинаида с табуретками не ловила? – поинтересовался Суэтин.

– Тьфу-тьфу! Бог миловал. У меня они и по форме, и по содержанию, как надо. Тик в тик. Не подкопаешься.

Дерюгин бухгалтерские квитки о начислении зарплаты печатал сам на машинке «Ивица» и относил «для отчета» жене. Та ни разу не усомнилась в их подлинности, так как даже не подозревала о мошеннических талантах супруга, поскольку считала его круглой бестолочью. Каждый раз она сетовала:

– Ну, что это за получка? Раз от раза все меньше. У вас что, совсем нет премий?

– Нет, – вздыхал Дерюгин. – План не даем уже несколько месяцев.

– Лет, – поправляла его Зинаида и шла жаловаться на мужа соседке. У той муж получал и того меньше, и это хоть как-то успокаивало Зинаиду.

– Это еще не все, – продолжал досадовать Дерюгин. – Потом сюда приперлась. Картинки сорвала. «Трехчлен» зачеркнула. Вон они, – он указал на обрывки бумаги в углу. – Пришла, увидела, разодрала.

– Что за картинки? – спросил Суэтин.

Дерюгин поднял обрывок, разгладил на колене, ласково провел ладонью по наливному бедру разорванной на части красавицы.

– Е-мое! Такую красоту! – сокрушенно сказал он.

– Что бабы понимают в красоте? Особенно женской. Завистницы! – подхватил тему Гурьянов. – Мы тут к тебе, Толя, не совсем пустые...

– Вижу-вижу, – повеселел Дерюгин. – Закусончик есть. Е-пэ-рэ-сэ-тэ!.. – он извлек из сумки хлеб, колбасный сыр, кильку в томате, головку чеснока. – Мне житья от нее, братцы, нет, а сама гуляет, как хочет. Как выходные, так калым. Деньгу зашибает, а где она, деньга, не видать!

– Тут вы квиты, – сказал Гурьянов.

– Ей бы только песни попеть. Она и калымит для этого. Верите ли, в выходные один дома, как сыч. Туда, сюда сунешься – пусто! В гараж подамся, так хоть партийку-другую сам с собой сгоняю, пивка хлебну – на душе светлеет.

Друзья сочувствовали Дерюгину, но, увы, ничем не могли помочь. Да, собственно, кто ее, помощь эту, ожидает по гаражам да по кухням. Поплакался, поругался, и полегчало на душе. Так и идет круговой плач и круговая ругань. Как

в цирке.

Зинаида лет десять работала маляром, а потом по просьбе Дерюгина Николай Федорович Гурьянов устроил ее в Дом офицеров художником. Рисовала плакаты, оформляла стенды. Удачно написала несколько картин из солдатских будней – «Читающий старшина», «На балете» и тому подобное. По выходным подрабатывала побелкой и покраской квартир военнослужащих. Квартиры были двухкомнатные, редко – трех. Приходила с кистью на длинной ручке. Краску, известку, уксус предоставляли хозяева. В завтрак не нуждалась. Для настроения выпивала (не закусывая) сто граммов водки и до обеда красила первую комнату. Обедала в пять вечера. Комната сияет, пахнет свежестью или краской, на столе красный с косточкой борщ, селедочка с лучком, холодец с хреном, две котлеты с картофельным пюре, политым растопленным маслом. Зинаидины вкусы знает вся дивизия. Бутылка допита, обход позиций сделан, в рот сигарета, в руки гитара, проигрыш, перекур, и звучит русская раздольная песня. Часов до одиннадцати. А на завтра в восемь утра Зинаида, как штык, на боевом посту, опрокидывает (без закуски) сто граммов, и вторая комната – держись! В семнадцать ноль-ноль обед, а потом песни до двадцати трех. В двадцать три ноль-ноль расчет наличными. С военных скидка пятьдесят процентов. В двадцать три тридцать возвращение домой и разнос Дерюгину за небрежно прибранную квартиру.

– И вот так, ребята, я живу всю свою сознательную жизнь!

Гурьянов утешал Дерюгина:

– Не переживай, Толя! Она – во имя творчества! Творческие натуры не переделать! По себе и по отцу знаю! Нас не переделаешь, к нам приноравливаться надо! Не переживай! Переживания сокращают век. А зачем, если он и так короткий? Ну, за любовь!

– Ты что, серьезно? – Дерюгин даже встал. – Не, я за это не пью! Нашел, за что пить! Стареешь, знать.

– Любовь, – протянул Гурьянов. – Любовь, брат, такой особенный, такой таинственный предмет... Ее Бог отпускает одну на троих...

– Как водку, что ли? – спросил Дерюгин.

– Бог отпускает одну любовь на троих, а весь мир состоит только из третьих лишних.

– А что же тогда достается тем двум?

– Дело в том, что их нет. Одни только третьи лишние. Поэтому любовь сама по себе, а мир сам по себе. Не пересекаются.

– Врешь! – воскликнул Дерюгин. – Быть такого не может!

– Не может, но есть. Вот за это я и хотел бы выпить.

– А поехали завтра семьями на остров, со скалы попрыгаем, – вдруг предложил Дерюгин. – Ты, Алексей, возьми кого понадежней. Чтоб наших дам не расстраивать.

– А как же Зинаида, у нее ж в субботу калым?

– Тут полный порядок! Она руку сломала, – улыбнулся Дерюгин.

– А что, это мысль, – согласились Суэтин и Гурьянов. – Пикник это эх! А как же она со сломанной рукой стирала? Ногами, что ли?

– Ну, ребята, вы даете! Я ж забыл сказать вам – стиральную машину купил. Вот когда затаскивали ее, и сломала. Ну, не сломала, а зашибла. Но сильно. Жить будет, а вот красить недельку, врач сказал, надо погодить.

– Что ж молчал? За стиральную машину!

8. Полет Дерюгина

Пошел дождь, и все побежали.

Суэтин любил смотреть на женщин под дождем. Они ведут себя совсем не так, как мужчины. Очень привлекательно выглядят бегущие девушки в джинсах и майках без лифчиков. Груды их свободно и упруго прыгают из стороны в сторону. Жаль, майки не пускают их на волю. А девчушка бежать не хочет. Смешно расставила ноги и хнычет, что описалась. Мать тянет ее за руку и, беспомощно оглядываясь по сторонам, что-то говорит ей коротко и зло.

Дождь, как большой начальник: едва начинает идти, как все тут же начинают бегать.

А потом дождь перестал, и все успокоились. Выглянуло солнце.

В небе молча пролетел Дерюгин. Голый, как Маргарита, но без метлы. Пролетел с десятиметровой скалы до воды, булькнул и исчез. А вынырнул далеко в стороне, как не имеющий к полету никакого отношения. Поверхность, которую он пронзил своим полетом, разгладилась и вновь отразила небо.

– Утоп, дурень! – безжалостно произнес бас и бухнулся в воду.

– Утонул! – завопила истеричная личность и поджала под себя ноги. Ее разбирал интерес.

Остальные чего-то ждали.

Бас понырял, понырял, дурня не нашел, вылез на берег и стал греться на камнях. Истеричная личность выпрямила ноги и легла на спину, устремив взор в синюю вечность. Остальные занялись прежним делом: то есть ничем или сами собой.

Дерюгин еще раз забрался на скалу и пролетел в небе в другой раз. На этот раз с криком «Е-пэ-рэ-сэ-тэ!». Публика на утопленников больше не реагировала. Бас только бухнул:

– Высоко литав, а низько сив!

А истеричная личность стала бросать в то место, куда упал Дерюгин, камни, стараясь попасть в центр расходящегося круга.

– Вон он, – сказал он басу, когда Дерюгин вынырнул в стороне. Бас не удосужился посмотреть в ту сторону.

– Хай прыгае, як лягушка. Тоже дило, – сказал он на смеси языков. – Дурням закон не писан.

– Эк сигает Дерюгин, – сказал Суэтин.

– Почему он голый? – спросила Настя. – И почему Гурьянов не прыгает? Поэт и не прыгает.

– Ты предвзята к нему.

– Я предвзята? Меня удивляет, как можно быть таким... – она не сказала, каким, – и сочинять стихи?

– А что тут удивительного? Какое отношение имеет Гурьянов к своим стихам?

– Как какое?

– Да, какое? Никакого. Поэты – дети, что собирают камешки. Чтобы писать стихи, надо остаться ребенком и собирать камешки.

– Не знаю, – с легким раздражением сказала Настя. – Он ведет себя, как половозрелый мальчик.

Подошел Дерюгин.

– В трусах, – сказал Суэтин. – А Настя сказала: голый.

– Ей виднее.

– Ой, было бы на что смотреть! – хмыкнула Настя. – Ты почему без трусов распрыгался?

– Что же я потом, в мокрых сидеть буду? Ты, значит, в сухих, а я в мокрых?

– Дачу-то продал? – спросил Суэтин.

– Продал. Третью начал строить.

– Зинаида подвигла?

– А кто ж еще?

– Это ты два полета проданным дачам посвятил? – спросила Настя.

– Очко воздвиг! В нем надежнее, чем в танке! За баню думаю взяться...

– Лучше бы на море съездил, – посоветовал Суэтин. – Сколько лет не был на море?

– Да все пятьдесят.

– Вот видишь. Но ничего. Отстроишь, Толя, новую дачу, взберешься на конек крыши и увидишь оттуда Гибралтар, чаек и паруса.

– Забраться-то можно, – усмехнулся Дерюгин, – вот только дача моя на двадцать пять метров ниже уровня моря.

9. «Сто лет с зерном на коньяке»

Гурьянов загорал на камне с «самой надежной» из своих знакомых – Алевтиной Кругловой, дикторшей телевидения.

– Вот про нашего нудиста байки рассказываю Аллочке, – сказал он Суэтину. – Хочет репортаж сделать о полетах Дерюгина.

– Не согласится он. В трусах не согласится летать. Лишнее сопротивление воздуха.

– Можно и без трусов. На телевидении сейчас все сойдет. Правда, Алла?

На свежем воздухе в виду сразу двух берегов, вдоль которых расползся город, на аппетит не жаловался никто. Гурьянов читал шуточные стишки, Суэтин рассказывал анекдоты из жизни ученых, Алевтина Круглова знакомила с жизнью городской богемы и приглядывалась к Дерюгину, Зинаида с Настей пели русские песни, а Дерюгин делился своими нескончаемыми историями. От мероприятий было не продохнуть. Собрались уже ехать домой, Дерюгин стал рассказывать последнюю историю.

– Самую последнюю. И домой. О Селиверстове. Как назначили его руководителем группы. В нашем КБ его малахольным всю жизнь зовут. Чуток плесните. Вот так... Прошу прощения у дам за некоторые слова и подробности, от коих вы, быть может, и покраснели бы двадцать пять лет назад,

исключая вас, Аллочка, – так необыкновенно красноречиво начал Дерюгин историю о Селиверстове, что Гурьянов даже крикнул, а Аллочка блеснула глазами.

Судьба сводит людей порой никак не сводимых друг с другом: с совершенно противоположными принципами, жизненными установками, всем образом жизни. Побеждает при этом, как правило, более здоровая позиция, а победителем оказывается наиболее гнилая.

Селиверстов был старый холостяк и трудоголик, вследствие чего застрял на должности ведущего конструктора. Он всю жизнь жил на отшибе от столбовой дороги социального прогресса и связанных с ним социальных катаклизмов, и ему было наплевать на все, кроме своей работы и своего здоровья. В рабочее время он работал над работой, а в нерабочее время – над собой: бегал, плавал, ходил рысцой и приседал по сто раз на дню. Разве что не летал, за неимением крыльев. («Это только я могу», – похвастал Дерюгин). Все знали его и почитали за человека, ведущего исключительно трезвый и здоровый образ жизни. То есть за ненормального. Последний год Селиверстов (как нарочно!) стал страдать мучительными запорами. Опробовал массу диет, но ни одна не помогла. Однако же веру в здоровый образ жизни не утратил. Достал несколько книг культового оздоровителя Малахова, прочел их на одном дыхании. Уринотерапию, как человек безразличный, отверг, но остальные методы стал пробовать.

Коллеги, разумеется, всех нюансов не знали. Знали, что он чего-то там жует. Жует и жует. Жив, и слава богу! Признаться, надоел своими причудами.

Как-то утром Селиверстов сказал:

– Сегодня загубил много семени.

Коллеги не знали, что и подумать. Тут заходит начальник и машинально спрашивает у Селиверстова: «Как дела?» А тот со вздохом отвечает ему:

– Погубил уйму славных мальчиков и девочек!

Ну, тут уже и женщины захлопали глазами, и мужчины стали ухмыляться. Все решили, что Селиверстов грешен рукоблудством, для подтверждения чего всякого новенького, заходившего в комнату, где сидело тринадцать конструкторов, тут же подначивали:

– Спроси у Селиверстова о делах.

– Зачем?

– Спроси, спроси!

– Как дела? – спрашивал новенький.

– Погубил уйму славных мальчиков и девочек! – вздыхал простодушный Селиверстов.

Женщины розовели от удовольствия, а мужчины, пользуясь разрядкой, шли курить на площадку и делиться анекдотами. Их дружный смех слышен был даже в приемной, а дымом провонял весь корпус.

Селиверстов же о догадках коллег не подозревал ни сном, ни духом. Утром он съел горсть проросших зерен пшеницы

– это и был весь его завтрак. Эти зерна он и имел в виду, когда говорил: «мои славные мальчики и девочки». А вечером Селиверстов подлил еще масла в огонь – поглаживая себя по животу, как некогда Диоген, он добавил:

– Все во имя здоровья!

В конце работы, когда уже все разбежались кто куда, конструктор первой категории Оксана Пятак вдруг сказала Селиверстову:

– Оздорови и меня! – и посмотрела на Селиверстова в упор и многозначительно, близко придвинув свое лицо к его лицу. Оксана пользовалась славной репутацией девушки «ищущей», но чертежница была шустрая и аккуратная. Коллеги ее ценили за это.

– Серьезно?! – обрадовался Селиверстов и отодвинулся от Оксаны, чтобы лучше рассмотреть еще одного сторонника здорового образа жизни. – Ты тоже решила вести здоровый образ жизни?

– Я давно уже его веду! – призналась Оксана. – С тринадцати лет.

– Так давно?

– Подумаешь, десять лет!

– О, для меня это целая вечность. Я перед тобой совсем младенец.

– Посмотрим, – пообещала, как терапевт, Оксана.

– Денек надо подождать, – сказал Селиверстов. – Чтоб проросло.

– Неужели надо целый день ждать? – не поверила Оксана.

– Да, сутки, если в тепле. А то и все двое.

– Двое?

– Нет, мы за сутки справимся. В тепле. Надо, чтобы корешок вырос на один-два миллиметра, не больше.

– Как на один-два миллиметра?

– Иначе вся жизненная энергия уйдет в корень.

– Ну и что?

– И никакого эффекта не будет!

Оксана озадаченно посмотрела на Селиверстова. В чем же тогда эффект, как не в корне?

Когда же Селиверстов сказал ей, что ждет ее дома послезавтра перед работой, она и вовсе озадачилась.

– Может, все-таки лучше оздоравливаться на ночь? – спросила она.

– Нет, это такая инъекция всей иммунной системе, что не заснуть до утра.

– Это же прекрасно!

– А на работе что будешь делать? Спать? Ведь все это для того и делается, чтобы повысить эффективность нашего труда.

У Оксаны в ее двадцать три года сложились несколько иные приоритеты, но со старшим коллегой хотелось не спорить, а доказать ему свою точку зрения на практике.

– И потом, Оксана, с утра организм, как струна. Натощак – самое то! Звонкая струна!

Селиверстов жил один в двухкомнатной квартире (завидный жених!), имел при себе кота и был какой-то малахольный. На него сотрудницы отдела уже давно махнули рукой и забавлялись тем, что спрашивали каждый день о том, сколько раз он присел или сколько пробежал километров.

Проснувшись утром, Селиверстов, как всегда, пытался убедить кота Гришу, что только терпение делает из неразумных тварей тварей разумных.

– Терпи, Гриша. Вот видишь, я приседаю, потом займусь водными процедурами, потом выпью стакан воды, пропылесосю квартиру, и только через час приступлю к трапезе. Я же терплю! – приводил он главный свой довод.

Кот терся у ног, и в глазах его, поднятых к Селиверстову, как к богу, не было, однако, никакого почтения. Клизму тебе поставить из того пылесоса, которым ты достаешь меня под диваном, да прочистить от всякой заразы башку! – говорили его желтые глаза.

Селиверстов показал Оксане проросшие зерна. Они лежали тоненьким слоем на влажной тряпке, накрытые такой же влажной салфеткой. Поднос стоял на табурете возле горячей батареи центрального отопления.

– Вот они, корешки-росточки, один-два миллиметра! – любовался Селиверстов завтраком. – Тут, Оксана, и твоя порция, ровно половина подноса. По Малахову!

«То-то он такой малахольный!» – подумала Оксана. Но делать нечего. Все-таки вдвоем с одиноким мужчиной, хоть

и с утра в рабочий день, да глядишь, поклюет зернышек, петушок, и на нее клюнет.

– Чудесно! – забила она в ладоши и скинула кофточку, оставшись в коротенькой майке, обнажившей пупок. – А запить будет чем?

– Запивать надо минимум через час.

– А по глотку?

– Ну, разве что по глотку.

Оксана открыла холодильник.

– Закусить-то будет чем?

– Ты шутишь, Оксана. Кто же зерна закусывает?

– Я читала у Брэгга, у Поля Брэгга, – вспомнила Оксана фамилию натуропата, о котором вчера прочитала в газете, – что зерна надо запивать обязательно коньяком. И именно утренние порции.

– А где ты читала об этом? Я не встречал.

– Новый перевод последней книги Брэгга «Сто лет с зерном на коньяке».

– Да? Не слышал. Так что, коньяк нужен?

– Обязательно.

– У меня стоит еще с советских времен бутылка армянского. По чайной ложке?

– Там горка: пять зерен – чайная ложка коньяка, потом десять зерен – две ложки, и так до двадцати пять зерен и пяти чайных ложек, а потом так же вниз. Это все в один день.

– Давай попробуем, – нерешительно сказал Селиверстов.

Получалось многовато: так, одна, да две, да... Двадцать пять ложек!

На пике горки, после пятнадцати ложечек коньяка, Селиверстов стал смеяться: ему показалось, что Оксана сидит напротив него голая. Оксана действительно сидела напротив него голая, так как успела скинуть с себя все, что ей мешало для проведения оздоровительного сеанса, и тут же начала его. Не успел Селиверстов и глазом моргнуть, как был раздет и вовлечен в процесс. Сеанс закончился рассыпанными по полу проросшими зернами и крупными, «на допивание», глотками коньяка, по очереди, прямо из горлышка. Селиверстов в этот день начисто забыл про работу. Первый раз в жизни.

На следующий день Селиверстов с Оксаной взяли еще по два дня за свой счет, а к ним по бутылке молдавского коньяка «Белый аист». Эти дни пролетели у них быстрее, чем два аиста над головой. А через неделю они, совершенно обалдевшие от счастья, подали заявление в ЗАГС. На свадьбе первый тост был за Поля Брэгга, и одиннадцать конструкторских глоток дружно рявкнули:

– Зерна на коньяке! Горько! Зерна на коньяке! Горько! Сто лет зернам на коньяке!

И весь отдел поддержал их. Пили и ели страшно много – за здоровый образ жизни и новую ячейку общества.

– Прошло больше года, – сказал Дерюгин. – Селиверстов

поправился на семь килограммов, а Оксана родила прелестное дитя, глазенками и попкой «в папочку». И после этого Селиверстова назначили руководителем группы. Вот так-то. А вы говорите: нравы портятся!

10. «А светофор зеленый»

Суэтин в хорошем настроении возвращался домой. Была пятница, и вместе со всеми он ушел с работы на два часа раньше положенного. Тому, что в пятницу можно уйти с работы раньше, чем в понедельник или в четверг, человек радуется больше, чем крепкому здоровью, долголетию и счастием в семейной жизни.

Суэтин решил прогуляться и пошел пешком. Когда он переходил балку, над его головой раздался резкий сорочий крик.

– Ну-ка, стой! – казалось, стрекотала сорока, свесившись с ветки.

– Сдурела, милая, – вздрогнул Суэтин, – чего орешь так? Однако, предупреждает меня о чем-то, подумал он. Сорока сорвалась с ветки. Несколько взмахов пестрых крыльев – и в воздухе, как колючая проволока, застыла траектория ее полета. Пару секунд она была наполнена пульсирующим током птичьей жизни, а потом растаяла. И в этот миг Суэтин почувствовал, что еще шаг, и у него в голове повиснет траектория доказательства, вспыхнет формула. Появится то, к чему он идет всю свою жизнь. Не прозевать, успеть схватить! На сером фоне, сотканном из хаотических линий умозаключений, Суэтин увидел светящееся пятно и понял, что это пятно и есть формула, которую он ищет столько лет. Пят-

но было проекцией столба света, уходящего вверх. Невольно Суэтин вслед за ним задрал голову. Да ведь это всего-навсего проекция, похолодел Суэтин, проекция... И в этот момент почувствовал невидимую руку, которая не пускала его вперед. Каждый раз – эта невидимая рука! Суэтин, застыв на месте, продолжал думать о том, что из этого мира существует путь в оба конца – в бесконечно большой и в бесконечно малый миры, и есть место, где они соединяются и переходят друг в друга. Это два направления восхождения разума к Богу. И все равно, в какой конец идти, цель у любого пути одна. Если только не перехватит кто-то другой. Все оказывается вывернутым в самое себя и нанизанным на самое себя. Вот только где эта точка перехода и что она такое? Большое уничтожается малым, плюс минусом, бытие небытием. И наоборот. И все это две стороны, два крыла чего-то неопределенного, не имеющего координаты, не содержащего информации, но имеющего все.

Так и не разглядев формулу, Суэтин вышел к перекрестку. И застыл, зачарованно глядя на светофор. Со светофором случилось что-то по электрической части – был нарушен контакт или еще что. Все три огня светофора – и зеленый, и красный, и желтый – одновременно горели пульсирующим огнем, они или никак не могли зажечься, или никак не могли погаснуть, и чей был черед, какого огня – было не понять. Огни трепетали, как сердце загнанной яркой птицы – сразу все три огня в ритме птичьего сердца. Светофор трепетал,

задышался от огней, они раздирали ему грудь. Может быть, от бессильного негодования, что такой он никому больше не нужен?

Это моя жизнь, думал Суэтин, глядя на светофор. Это я сам, на перекрестке разных дорог, трепещу, и душу мою раздирают три огня, три страсти – можно! нельзя! осторожно! Почему они никогда не приходят ко мне по очереди? Не иначе как и со мной случилось что-то по человеческой части, может быть, нарушен контакт с миром, может, что еще... А может, это во мне трепещут одновременно мое прошлое, настоящее и будущее? Но они никому, кроме меня самого, не нужны!

Настоящее становится будущим в момент, когда из альтернативного развития бесконечного множества событий реализуется одно единственное. Этот момент вечен, описывается уравнением стоячей волны. Кажется, я знаю, каким...

Суэтин перешел дорогу и зашел в парк. Он сел на ближнюю скамейку и задумался, глядя на дорогу. Задумчивость у него предшествовала всегда творческому взрыву, и он ждал его. Ждал здесь, на скамейке, чтобы никто не отвлек и не увлек на другой путь ненужных ему дел.

Через дорогу шла ворона, фалдами фрака подметая пыль. Ее грузное тело казалось еще более грузным на тонких кривых ножках. Ворона перешла улицу, пошла по обочине, поглядывая на низкие ветки деревьев. Потом пошла по газону и долго вышагивала по открытому пространству. У нее во-

лочилось правое крыло. Если выскочит кошка или пес, ей несдобровать. К вороне подлетела трясогузка, уселась перед ней, подергала хвостом, пискнула какую-то новость и упорхнула. А ворона пошла дальше. Подойдя к изгороди, она взлетела на нее. В это время и появилась кошка. Она, видимо, давно следила за ней. Через минуту на кошку сбоку налетел пудель.

Ворона почему-то напомнила Суэтину Настю.

Мыслей не было. Но даже когда они есть, их все равно не хватает на жизнь, потому что жизнь больше мыслей.

Суэтин встал со скамейки, потянулся и, повинувшись импульсу желания, пошел на выставку современных художников. На выставке был широко представлен один художник. Десятки картин изображали в разных ракурсах одни и те же предметы материального мира, которые обошла стороною душа. Там были главным образом пилы. С зубцами острыми, как змеиные зубы.

Художника не с кем было сопоставить, и это раздражало. Суэтина приучил к сопоставлениям институтский товарищ, потерявшийся в жизни, как почти все старые знакомые (все они, как пылинки: кого-то носит в воздухе, а кто-то уже осел и на землю). Он донимал всех вопросом: как тебе – Софи Лорен и Бальзак? Мне – никак, ответил тогда Суэтин. А спустя четверть века понял, что в этом вопросе было много больше, чем в любом ответе на него. Как в загадке Сфинкса. Хорошо сопоставлять Рубенса и Чаплина, Куинджи и Цеза-

ря, Бердсли и Гомера. А с кем сопоставить этого? И в чем? На его полотнах столько предметов! Их было так много, что думалось о Рубенсе, Цезаре или Гомере. Но это был не Рубенс, не Цезарь и не Гомер.

Художник вызвал в нем неприятное чувство жалостливости. Связанное с тем, что весь громадный окружающий Суэтина мир, и весь его не меньший внутренний, которые были в нем, как две воронки песочных часов, художник искусно и искусственно свел к банальностям.

Что в душе художника, то он и изображает. Если то же самое в душе у зрителя, зритель это и видит, подумал Суэтин. Всё больше художников и зрителей, которые изображают и видят ничто. Их души соединяются в момент передачи изображения. Ничто сливается с ничто, рождая резонанс душ. А когда ничто входит в резонанс, оно способно погубить всё. Всё! Мысль логически завершена, с удовлетворением подумал Суэтин, покидая картинную галерею.

А посвящу-ка я остаток дня еще и музею, решил он, проходя мимо старинного здания. В музее экспонировалась выставка драгоценных камней и благородных металлов. Чей-то изощренный ум догадался соединить в одних витринах четыре класса минералов и восемь металлов под табличкой «Алмазолы». Почему не «Золомазы»? Потому что Евразия, а не Азиопа? Что-то люди не туда пошли, решил Суэтин. Люди хотят удивить человечество. Человечество ничем не удивишь. Сегодня ему определенно не везло с познанием ми-

ра. Мир познавался через искаженные черты и искаженные представления людей о мире.

По происхождению и структуре, думал Суэтин, разглядывая металлические пластинки, на сто процентов состоящие из одного благородства, – я, конечно же, неблагородный металл. Какой? Да черт его знает, какой! Мною не занималась ни одна аналитическая лаборатория, исключая, разумеется, клинические. А те ищут в человеке всякую дрянь: сахар, соли, тяжелые металлы. Из них ни одна не сказала, сколько у меня горечи в душе. Не ведают они, что сахар, соли и тяжелые металлы образовались в результате расщепления этой горечи. Впрочем, о каком металле можно говорить, если человек состоит из воды?

Рядом с ограненным кубиком благородного черного опала было написано: «Пропась». Вот еще кто-то оказался пленником этого слова. Еще один исследователь глубин естества.

Суэтина завораживало слово «пропась». Часто, задумавшись, он безотчетно исписывал им страницу, другую. Он столько написал их за свою жизнь, что ими и впрямь можно было бы завалить самую настоящую пропась. Это настолько вошло в привычку, что иногда вместо своей подписи он скорописью выводил пропась, как будто это слово выражало его суть, его тайну. Трудно сказать, чем оно привлекало его. Завораживающим страхом перед всем непостижимым, но никак не отталкивающим из-за своей непостижимости? Стремительно уходящей вниз твердую скалы, напо-

минающей каменную молнию? Мистическим глаголом «пропасть» – пропасть, раствориться в «царской водке» Вселенной? Или церковным глаголом «пасть» – как ангелу? Или пафосным глаголом – пасть от руки врага, пасть низко, недостойно? Или омерзительной, влажной и жаркой пастью зверя? Но скорее всего, дело было в головокружительной бездне, которую означало само это слово. Этой бездной ему долгие годы представлялась и сама жизнь, и прошлое, и будущее, и неоглядное настоящее. Но с годами у этой бездны стали появляться зыбкие контуры и замерцало дно, может и ложное, но в пределах умозрительной досягаемости.

Суэтин сказал самому себе: даже благородный металл бессилен перед этой пропастью, он так же бесследно исчезнет в ней, как и обыкновенный серый камень, как живая вода, наполненная информацией и страстью, как ослепительно-сияющая молния, которая освещает целый мир.

Суэтин сказал это и почувствовал удовлетворение. От того, что не понимают этого лишь герои, которые выплавляются исключительно из благородных металлов.

Суэтин пошарил в кармане. Было несколько монет. Из чего они там – никеля? меди? На пиво хватит. На жизнь никогда не хватает денег, потому что жизнь больше всех денег мира.

11. Вагон скользил, как гильотина

Уже за полночь Настя в раздраженном состоянии проводила гостей. Она была как кипящий чайник. С некоторых пор она на дух не выносила Гурьянова. Ей вдруг как-то пришло в голову, что мама умерла из-за него. Он на нее действовал очень странно. Как Распутин на царицу, пришла ей в голову дикая мысль. Дикая, конечно, мысль, но она была, и от нее трудно было избавиться. Да и Женька, что носится с ним? Поэт, поэт! Однако, надо что-нибудь и почитать из его стихов. «Чудесной маме чудесной девушки». О, господи, когда это? А когда изменилось у нее к нему отношение и почему, она и не помнила. От погоды ли это зависит, от луны, от семейного ли твоего счастья – почем знать. Ей уже казалось, что так и было всю жизнь, только в непроявленном состоянии. Почему так получилось – она не могла, да и не хотела понять. Раздражал – и все тут! Разве мало на свете друзей, ставших в одночасье врагами? Особенно не твоих друзей, а друзей твоих родственников, твоих знакомых, друзей твоих друзей. Да полсвета таких! Гурьянов вчера достал ее своими стихами. Сколько их у него? Чего-то там про гильотину плел, про русских и французских монархов. Какие монархи, к чертовой матери! Вон в английском фильме король – точная копия Дерюгина! В Англии и то не нашли мужика – роль монарха. Монарх он и есть монарх, в единственном

экземпляре. Гурьянов же – монарх! – вообще берет в кармане носит, а в носке дыра, в кармашке авторучка протекает – пятно на рубашке осталось, а туда же, о короне с мантией пишет, о гильотине! «Всяк сверчок знай свой шесток, Лешенька, – сказала она ему на прощание, – пиши-ка ты лучше о плетне под луной». Получилось, конечно, не совсем красиво, не по-английски, ну, да как получилось. С поэтами надо афористично говорить. И доступно. А то рифмами задолбают. Припел к монархам, к их августейшим особам, зачем-то особ помельче – Толстого, Анну Каренину – «...особо скажу об особе я Анне...» – которая, оказывается, и не любовницей бездельника Вронского была и плодом воспаленного, не занятого поиском хлеба насущного, воображения графа, а «мечущейся душой великого (понимай – и как сам Гурьянов) писателя, страдающего по народу (!) и истине». На закуску поэт припас благодарным слушателям гильотину. Вагон скользил, как гильотина... Нет: вагон скользил по рельсам, словно гильотина. Нет. Вагон по рельсам гильотиною скользил...

Приснился ей жуткий сон, будто она спит в своей кровати, слышит во сне (причем отдает себе отчет, что именно во сне), как неприятный женский голос произносит: «Следующая остановка конечная», и тут же по стене, за изголовьем, шипя и ухаю, падает что-то тяжелое. И раз, и другой, и третий... И Настя понимает, что это гильотина, и каждый раз замирает в сладком ужасе, а сердце отстукивает каждый раз

– пронесло! После такого очередного падения она проснулась с головною болью и мыслью: «Да когда же все это кончится!» Наговорила много чего лишнего Евгению и Сергею и, не завтракая, ушла в институт.

Когда вечером она вернулась домой, сына не было, а муж, задрав ноги, читал Шопенгауэра. И карандашиком делал пометки. Дон Дрон! Не «Математические заметки» или, черт с ним, Кастанеду – Шопенгауэра! Насте стало досадно.

– Картошку не мог сварить? Видишь, с ног валюсь, – попеняла она Суэтину.

– А я сварил, – оторвался тот от чтива, – под подушкой. Скушал шницель – читай Ницше.

– Где Сергей? – все еще раздраженно спросила Настя.

– Ты чем-то расстроена?

– Мог бы встать, раз я пришла! Сергей где? Обо всем дважды спрашивать надо!

Суэтин вздохнул, отложил книжку, заложив в нее карандашик, подошел к ней.

– «Однажды я домой пришел... Я точно помню, что однажды. Коль захотел, и то бы дважды прийти не смог, уж раз пришел», – процитировал он Гурьяновские строки.

– Ты о чем это?

– Не хотел раздражать тебя лишний раз. Ты и так с утра как укушенная была.

– Будешь укушенной! Знаешь что? Ты больше Гурьянова не приглашай!

– Почему? Он тебя раздражает? Не общайся с ним. Меня он вполне устраивает.

– Ладно! – зло махнула Настя рукой. – Устраивает! Устроили тут мне вчера – до утра грязь вывозила.

– Без пятнадцати двенадцать ты вроде как легла.

– Это ты в своем сне увидел?

Суэтин не стал больше спорить и, взяв книгу, вернулся к чужим, таким интересным и более веселым, мыслям.

– Сергей-то где, спрашиваю? В третий раз. Или оглох?

– Тебя интересует судьба Сергея? – фальшиво удивился Суэтин. – На заработках наш сынок. Вышел в большую жизнь. А может, на большую дорогу. Преуспевания.

– Что ты мелешь?

– С другом своим новым, коммерсантом хреновым, как там его... Семен? С Семеном в Читу подался. Новым шелковым путем. За шмотьем китайским. Духовной жаждою томим.

– Ты, я гляжу, сам-то жажде своей не даешь развиться до...

– До болезненного состояния? Не даю. Вот им, родным, Артуром Шопенгауэром, лечусь. Он, правда, сам в добровольном своем затворничестве лечился флейтой... Как какой-нибудь пьяный Марсий.

– Помогает?

– Кто денег алчет, тот деньгами не насытится. Кто слова жаждет, тот получит его, – пробормотал Суэтин и поду-

мал о том, что самая большая печаль бывает не от абсолютной недостижимости идеала, а от ничтожно малого расстояния, которое осталось преодолеть до него. Прав Шопенгауэр, прав.

Настя перестала слушать его. Собрала на стол и позвала ужинать. Ужинали молча. К тому же, картошка была как глина. Очень напоминала жизнь, которую они оба месили, из которой слепили семейное счастье и обожгли его в огне неутоленных и не утоляемых желаний.

– Хочешь, анекдот расскажу? – примиряюще сказал Суэтин. – Даже не анекдот, на самом деле. Мишу Бакса знаешь? Так вот, ему вчера пятьдесят стукнуло. Посидели слегка. Поздоровили. Мы теперь тобою всё, Миша, меряем, сказали ему. Один бакс, сто баксов, миллион баксов. Сколько тебя теперь! Можно сказать, увековечили тебя. «Да, я теперь не просто еврей, – сказал Миша, – я теперь вечный жид». Молодец!

В Читу приятели приехали ночью. У Сергея никогда не было настоящего друга, и когда Семен сказал: «Ну что, друг, по рукам! Теперь нас ничем не разлучить!», у Сергея язык не повернулся вымолвить слово «друг». Он зримо увидел между собой и Семеном стену образования и какого никакого воспитания, о которой Семен даже не догадывался. «Вот он какой, тонкий мир», – подумал Сергей.

– Заметано, Семен! – сказал он.

До утра надо было как-то скоротать время. На вокзале

приткнуться негде, ни одной свободной скамейки, даже в проходах люди лежали на полу. Их загорелые и грязные лица казались бледными и чистыми. Ради чего они все валяются здесь? В привокзальной гостинице свободных мест, разумеется, не было. Хотя гражданин, который ехал с ними в одном вагоне, похожий на грузина, прошел мимо них в гостиницу, как к себе домой.

Сергей занял очередь в буфет, а Семен пошел снимать двух девиц возле колонны. Подвел их. Ярко покрашенные девичьи губы были готовы ко всему, что видели ярко покрашенные глаза.

– Знакомься. Твоя Рита будет.

Рита напоминала афишу прошлогоднего репертуара.

– Кусать хоца. Спать хоца. Рита не хоца, – как идиот, сказал Сергей и поморгал глазами. Девушки, оглянувшись, ушли.

– Сдурел? – спросил Семен. – Такие две «курочки».

Чье это слово любимое, «курочки»? А, бати Семена, Гурьянова.

– Мне лучше вареную. Вон ту. Нет, грудку.

«Гурьянова бы сюда, – подумал Сергей. – Интересно, его аппетит здесь умерился бы или нет?»

За столом сидели ханты, в унтах, с мантами и поллитрой, запахом ментола и эвкалипта. Слева баба в платке кормила деточку. У ребенка была вытянутая, как дыня, и такая же желтая и невзрачная голова. Как-то не верилось, что в ней по осени может оказаться, кроме семечек, хоть одна мысль.

Мужик напротив с шумом смаковал куриные кости и бросал их под стол облезлой собаке. Та жадно хватала их и, с хрустом разгрызая, заглатывала.

– Собаке нельзя трубчатые кости, – сказал Сергей. Мужик в ответ высморкался двумя пальцами.

Хорошо, ночь была относительно теплой. Неподалеку от вокзальной площади нашли скамейку и просидели на ней, как два воробья, до утра. Пейзаж скрасили несколько невменяемых граждан, уснувших неподалеку, а остаток ночи заняла юная гражданка, жаждущая приключений, которая не понимала ни простых слов, ни матерных, и которую пришлось в конце концов предложить проходящим мимо парням взять на поруки. Те, правда, не обратили внимания ни на девушку, ни на ее поручителей, прошли мимо, споря и размахивая руками. Девушка, как кошка, отреагировала на их жесты и, шатаясь, сама поплелась следом, крича: «Эй! Я юная пионерка!»

Когда рассвело, Сергей встал, потянулся и, передернувшись, сказал:

– Убил бы этого грузина! Или кто он там? Ни для кого мест нет, а для него есть!

Семен зевнул:

– Зря шлюшек не сняли. Поспали бы заодно.

– Тебе кто запрещал? Снял бы. Ту, что слева от Риты была. Да и пионерка еще не протухла.

– Солидарность, брат. Это святыня. Да и староваты они.

Что те обе, что пионерка. У пионерки, кстати, нос к обеду провалится. Я молоденьких люблю. Лет тринадцати-пятнадцати. У них свеженькое все такое, упругое. И маленькое. А тут пропадешь, как в болотах.

– Ты это серьезно? Тринадцать лет? В них же женского ничего нет. Да и загремишь по статье.

– Сразу видно любителя, не профессионала. С бабой скорей загремишь, чем с девочкой. Ладно, айда. Чего-то не тогда затеял разговор. К ночи надо о бабах говорить. Когда предлагают. Вон управление дороги, пошли, там у меня кореш с моей деревни. Он нам и билет, и пропуск оформит. Тут пропуск нужен, я тебе не говорил?

– Разве тут граница?

– Нет, зона тут. Вишь, сколько китаезов? Скоро это их провинция будет, помяни мое слово. Читаньюньганская, мало-мало, однако... – Семен свел в щелки глаза и в самом деле стал похож на китайца.

Семенова деревня была одной из многих, разбросанных временем вдоль железной дороги. Сколько времен было, столько и деревень. Все деревни, правда, были на одно лицо, как китайцы. Или Сергею так показалось, когда они катили мимо них.

Во времена нашей перестройки в Америке наметился общий спад экономики, глубоко взволновавший всех россиян. Многие жители деревень разочаровались в работе и, не имея никаких официальных источников дохода, занялись

прибыльным воровством. Чем глупее правительство, тем умнее становится народ.

Родная деревня Семена располагалась на длинном склоне, и когда железнодорожный состав с натугой, на малой скорости, преодолевал подъем в гору, население приступало к изъятию китайских товаров непосредственно из вагонов. К вагонам на ходу пристраивались грузовики с откинутыми бортами, сбивались запоры, отодвигались задвижки, парни, прямо с машин или заскакивая в вагон, перекидывали бабам мешки, коробки, тюки. Милиция потом, разумеется, тщательно перетряхивала все дома, но, за неимением вещдоков, ни одного протокола так и не составила, хотя и находила там и сям косвенные улики безобразий: распоротые мешки, раздранные коробки, расписанные китайскими иероглифами и всякими английскими словами. Впрочем, милиция состояла сплошь из жителей этой и близлежащих деревень. «Челноки, – отчитывалась милиция наверх, – из других областей».

Семен познакомил Сергея со своей родней, спившейся, похоже, еще в прошлом столетии и уже пропившей следующее. Родня восприняла гостя шумно, но безучастно. Как повод для выпивки, которая давно стала привычкой. Сергею не улыбалось провести еще одну ночь в обнимку с алкашами и он попросил приятеля отвести его лучше куда-нибудь «на постой». Тот отвел его в край деревни, в довольно приличный дом, с высоким крыльцом и колодцем во дворе.

– Глафира одна. Охочая. В соку. Мужик пятый год сидит.

Так что счастливого пути. Эх, завидую! А у меня уже вот такие! – Семен показал кулак. – Ладно, пошел к своим. Три дня готовились к моему приезду. Теперь до утра бузить. Может, пойдешь?

Сергей помотал головой.

– А товар уже приготовлен. Упакован. Завтра заберем...

– Дом-то прочный у тебя, – сказал Сергей, откинувшись на спинке стула и сыто разглядывая остатки пиршества. – А говоришь, одна, без мужика, хозяйство держишь?

– Одна и держу, – с гордостью сказала Глафира. – Руки-то на что мне дадены?

– Тебе не только руки дадены, – сказал Сергей и потянулся к подавшемуся к нему телу соломенной вдовушки. Ему вдруг тоже захотелось в ответ на женскую щедрость проявить щедрость мужскую, дать ей не меньше, чем она ему. Старался он изо всех сил, правда, у Глафиры природа была побогаче. Впрочем, на одну ночь Сергея хватило. «Теперь можно на пять лет залечь», – подумал он, прощаясь с гостеприимной хозяйкой, тело которой к утру из наливного и жесткого стало мягким и податливым, как квашня. Тела соломенных вдов и подходят, как квашня, на дрожжах долгой разлуки. Ну их к лешему! Себя Сергей чувствовал опустошенным коконом.

– Придешь еще? – с чувством спросила Глафира.

– А как же! – сказал Сергей, абсолютно уверенный в том,

что больше не придет к ней никогда. Хорошего понемножку!

Семен был больной с похмелья. Пока не выпил стакан водки, был хмур и молчалив, а выпив, развеселился и много шутил, рассказывал о родственниках, о которых Суэтин и слышать не хотел.

– Ванька-то, представляешь, – Семен толкал Сергея в плечо (Сергей раздраженно дергал плечом, Семен не замечал и продолжал толкать), – Ванька-то женился! Такой бирюк был, а тут девку оторвал. Смак! Эх, опять без девки ночь прошла, однако. Распирает меня, брат, мочи нет. Ничо, в поезде снимем кого-нибудь. Ты-то как? Нащелкал фоток?

– Нащелкал.

Пассажиры в вагоне везли товары и были все пьяные. Похоже, это было естественное состояние всех тех, кто из прошлой своей жизни направлялся в будущую. В купе была трезвой лишь тоненькая девчушка лет четырнадцати с большими испуганно глядевшими на всех глазами.

– Куда едешь? – спросил Семен и плюхнулся рядом с ней.

– К папе, – ответила та и отодвинулась от Семена. Семен усмехнулся.

– А я к маме. Гостинцев везу. Шубейку.

У девчушки погасла тревога в глазах, и она радостно стала говорить о том, что родители ее живут в разных городах – мама в Чите, папа в Нежинске, и вот до сентября она едет к нему и тоже везет гостинцы.

– Мама передала?

– Нет, это я сама, – снова замкнулась в себе девчушка.

– Звать-то тебя как? Небось, Яна? – Семен по-свойски подмигнул ей и достал из сумки конфеты и румынское вино («Это бабы водку пьют, а девчушкам сладенькое подавай!»).

– А откуда вы знаете?

– О, я много чего знаю. Спроси вон хоть его. Какой загар у тебя ровный. А тут?

Сергей уставился в окно, глядел на проносившиеся мимо приметы пространства и времени, оставлявшие безучастными большинство пассажиров, и вполуха прислушивался к разговору. Его не покидало тревожное чувство, что все идет как-то не так, как ему хотелось: и сама эта поездка, и Чита где-то у черта на куличках, и ненасытная Глафира, и он сам, жалкий в своем желании сравняться с чужой более щедрой природой, и сейчас этот пьяный вагон, Семен, Яна... Дичь какая-то! Куда я еду, откуда и зачем? Он вдруг ощутил в себе душу отца и взглянул на окружающее его глазами. И все ему стало дико. Он взглянул на девчушку и краткий испуг его прошел. Семен заливал ей байки. Яна раскраснелась, глазенки заблестели, она смеялась и тараторила о чем-то, спеша рассказать приятному попутчику всю свою жизнь. Глупышка, кто же так сразу выворачивает душу наизнанку перед первым встречным? Семен налил ей вина. Сергею почему-то жалко стало девчонку. Он представил, что это его сестра.

– Сока хочешь? – спросил у нее Сергей.

Яна не услышала. Она с восторгом глядела на Семена и протянула руку к стакану с вином. Да и тот стал каким-то другим. Одухотворенным, что ли. Не из деревни, что под Читой, а из Царского Села, что под Петербургом. Но руку положил ей на плечико, как усталый, выполнивший три нормы комбайнер. Уверенный, что отказа не последует. Сергей вышел в тамбур и выкурил одну за другой три сигареты. Мысли его были, как ни странно, о Глафире. Мысли, оказывается, расстаются позже, чем расстаются тела. Ведь и Глаша когда-то была такой же хрупкой чистенькой девочкой... Или не была? Как у нее гладко тут...

Когда он вернулся, купе было закрыто, и изнутри слышалась какая-то возня, глухо звучал мужской голос, не похожий на Семенов, вскрикнул кто-то голосом не Яны, ударились что-то о перегородку...

Сергею послышалось (или показалось?) слово: «Еще». Досадливо сморщив нос, он пошел в вагон-ресторан. Там он увидел четвертого попутчика из своего купе. Тот подмигнул ему с пьяной ухмылкой.

– Как там? Идут дела?

– Идут, – сказал Сергей и сел за другой столик.

Он заказал себе солянку, бефстроганов, бутылку портвейна и просидел над остывшими блюдами и не выпитым портвейном до закрытия ресторана. Он вдруг понял, что у него нигде ничего нет и никуда его по-настоящему не тянет. Нет интереса ни к чему, ни к кому. К маме? Нет, он не хотел к

маме. Он не хотел к отцу. Он не хотел к друзьям. Он не хотел к захватывающей работе. Он не хотел к... Нет, к Глаше бы он заглянул еще на ночку. Что в ней такого? А что особенного в женщине, кто ответит? Как там Семен с этой... Яной?

В купе четвертый попутчик дрых наверху, на первой полке посапывал Семен. Неприятно пахло, как только может пахнуть в купе с пьяными пассажирами. Яна сидела, положив голову на столик. Сергей потрогал ее за плечо.

– Ложись, спи. Неудобно так.

От взгляда девчушки он почувствовал боль.

– Что с тобой?

Яна выскочила из купе. Сергей вышел следом.

– Да что с тобой? Тебя Семен обидел?

– Он изнасиловал меня. Три раза. Я просила его. Плакала.

А он изнасиловал. Так грубо и больно.

Сергей стал машинально открывать и задергивать шторы. Шторки порвались.

– Я не знаю, как я теперь погляжу папе в глаза.

Сергей открыл дверь и хлопнул Семена по ноге.

– Вставай!

– Чего?

– Вставай. Поговорить надо.

Сергей вышел из купе. В тамбуре он закурил. Было прокурено и душно. Он машинально потянул дверь на себя. Дверь открылась. Проводник, видимо, тоже пьян. Ворвался грохот. Сергей подставил свежему потоку воздуха лицо и с отвра-

щением швырнул сигарету в проем. Все, курить бросил! Вот так когда-нибудь и жизнь свою с отвращением брошу, а она будет догорать и чадить на лету.

– Что случилось? – услышал он за спиной. – Чего не спишь?

– Как Яна? – спросил Сергей.

– Вот такая, – Семен из большого и указательного пальцев соорудил маленькое отверстие.

«Вся душа твоя проскользнет туда, не зацепится!» – с ожесточением подумал Сергей.

– Ты зачем изнасиловал ее?

– О! – удивился Семен и тут же протрезвел. – Да как же еще их трахать? Добровольно-то с Глашкой надо.

Сергей взял его за грудки. Семен сильно ударил его в пах, и Сергей изо всех сил отшвырнул приятеля в сторону. Тот молча вылетел в дверь, а упругий ветер, раскачивание вагона да вновь ворвавшийся в уши грохот напомнили о страшной скорости, с которой шел поезд навстречу будущей жизни. Или в будущую жизнь, оставляя чьи-то жизни в прошлом.

Через час Сергей вернулся на свое место. В купе все спали. На месте Семена лицом к стене лежал человек. Сергей вздрогнул. Пассажир повернулся и с улыбкой сказал:

– А, это вы опять! Проводник сказал: тут место освобонилось. Располагайтесь, вы мне не мешаете, – и снова отвернулся к стене. Потом повернулся и, приложив палец к губам

и показывая глазами на Яну, прошептал: – Успокоилась. Совершенно.

Это был тот человек, что ехал с ними в вагоне в Читу, что утер им нос с привокзальной гостиницей. Но это был не грузин и никто другой. Язык его был чист, как у русского эмигранта монарших кровей.

Сергей не спал до утра. Первоначальное спокойствие, длящееся несколько минут, когда он смотрел в открытую дверь, в которую улетел Семен, сменилось ужасом от неоправимости содеянного, потом надеждой, похожей на тошноту, что все образуется, потом отчаянием и наконец удивительно легкой решимостью прыгнуть в проем самому и тем самым решить сразу все свои жизненные вопросы. Ему помешал проснувшийся перед станцией проводник.

– А это почему тут открыто? – хрипло спросил он. – Безобразие.

Казалось, он вовсе не замечал Сергея. Закрыв дверь на ключ и для верности подергав ее, он прошел в другой вагон. Состав подошел к станции, затих на несколько минут, дернулся и снова набрал скорость. Словно изнасиловал один отрезок пути, а теперь насилует следующий. Нет, с отвращением отбросил от себя Сергей эту непрошеную мысль, он был как человек, вечный труженик: всю жизнь он спешит к своей цели, а оказывается, доставляет совсем чужих, незнакомых ему людей к совершенно другой, не имеющей никакого отношения к его собственной, цели.

– Ваш друг сошел ночью? – спросил ночной пассажир.

Сергей кивнул головой, язык перестал его слушаться, он словно стал размером в целый мир, мертвым и чужим, как латынь или эсперанто, и не поворачивался во рту.

Человек, как показалось, с легкой усмешкой кивнул головой.

– Коньячку не желаете? – неожиданно предложил он. – «Кизляр». Натуральный. Уж поверьте. Ваш стакан?

Сергей облизнул губы.

Человек наполнил стакан на треть янтарным коньяком. Столько же налил себе.

– Ну, за друзей! Дружба – святое дело.

Сергей закашлялся.

– Что, не так пошло? – участливо спросил попутчик. – Лимончик, пожалуйста.

Проснулась Яна. Сергей с удивлением отметил, что она и впрямь успокоилась. Совершенно или нет – неясно, но не было в лице ее и в глазах той боли, что мгновенно передалась вчера Сергею. На некоторых женщинах несчастья долго задерживаться не любят.

– Доброе утро, – улыбнулась она. – Разрешите, я пройду?

– Правда миленькая? – спросил попутчик. – Вот именно такие чистые и невинные души и составят наше духовное наследие. Нет, вы посмотрите, что там написано! Скорей-скорей, вон туда.

Поезд проходил мимо безымянного полустанка, состоя-

щего из небольшой станции, туалета и домиков с деревьями вдали. По стене голубого туалета тянулась коряво выведенная красным цветом надпись: «Духовное наследие».

– Надо же, – сказал попутчик, – подумал, произнес, и тут же эти слова материализовались в конкретные реалии. Любимое слово Михаила Сергеевича – реалии. Надо чаще думать о прекрасном и возвышенном. Чем прекраснее думы, тем прекрасней в материализации реалии.

– На стенах туалетов? – машинально спросил Сергей.

– Да вы остряк! – захохотал попутчик и еще раз наполнил стаканы на треть.

Зашла Яна.

– Семен вышел? – спросила она у Сергея. – Он говорил, что ночью ходит в этой, как ее?..

– Вышел, вышел, – подтвердил попутчик. – Был и весь вышел. Коньячку?

Яна отрицательно помотала головой.

– Похвально, – одобрил попутчик. – Для юных и нежных особ есть совершенно другие напитки: «Котнари», «Шардоне» и прочие напитки забвения.

– Портвейн, семнадцатый номер, – сказал Сергей.

– Да-да-да! Совершенно верно! Портвейн, семнадцатый номер. Совсем недавно люди давились за ним. Я прикинул как-то: задавленных оказалось в семь раз больше, чем на печально известной Ходынке. А вот и у нас припасено кое-что для дам! – он вынул из портфеля бутылку «Мадам Клико». –

Уверен, не пивали. Нет-нет, даже если и пивали, то совершенно не то. Самопальная «Мадам Клико» – это только в России, не правда ли? Это повелось еще со времен самопальных царевичей Дмитриев. Да мы сейчас и пригубим эту мадам. Пардон, мадам, не принято спрашивать у дам, но поймите меня правильно, вам шестнадцать лет исполнилось?

– Да. На следующий год. В декабре.

– Вот и замечательно. Год пролетит незаметно, а мы тем временем предадимся сибаритству. Чтобы он, год этот, не зря пролетел. Это слово... Вас как звать? Яна? А вас? Сергей? Это слово вас не удивляет?

– Нет, – ответил Сергей, а Яна хлопнула глазками.

– Слово это, деточка... Яна. Слово это означает праздное времяпрепровождение.

– Изнеженных роскошью людей, – добавил Сергей.

У него кружилась голова. От ночного события, которое, казалось, должно было перевернуть вверх дном всю его жизнь, а ледяную душу сбросить в колодец девятого круга, не осталось и следа. Или так действовал коньяк «Кизляр», напиток забвения для мужчин? Он возвращал все на места свои и оттаивал души? А что же тогда действовало на Яну – «Мадам Клико»? А до «Клико»? Ведь она после ночи бесчестья проснулась чистая и свежая, как Золушка, и взор ее – ясное стекло.

– Верно, – одобрил попутчик. – С образованным человеком приятно иметь дело. Университет изволили закончить?

– Да, мехмат. Как отец.

– Кто-то говаривал, что истинные интеллигенты возможны только в третьем поколении... Это как газоны в английских парках. Их уже столетиями подстригают. Как у нас граждан. Я так полагаю, что любой русский интеллигент еще даст сто очков вперед любому английскому джентльмену. Жаль, маловато их, интеллигентов, ну, да нам хватит.

– Бабушка моя была профессором в сельхозинституте.

– Я был уверен, что вы истинный интеллигент. Гордитесь, деточка... Яна. Расскажите своим родным, что вам повезло ехать в одном купе с двумя благороднейшими представителями мужского племени. Я доволен, что судьба свела меня с вами, Сергей, и с вами, Яна. Не обратили внимания, воздух в купе стал чище. Это, наверное, после ухода вашего попутчика. От него так разлило дешевым алкоголем. Да и этот, что в ресторан пошел, тоже гусь. Пусть в ресторане лучше посидит. Он как-то не вписывается в нашу компанию. Я когда вошел вчера сюда, брр! пахло перегаром, потом, еще невесть чем. Имманентно присущим вашему другу и иже с ним. Но – не будем больше поминать его. Сегодня, Яночка, давайте я вам еще подолью, сегодня в вагоне поезда вряд ли встретишь достойных попутчиков. Это редкость. О, прошу прощения, – он приподнялся. – Позвольте отрекомендоваться: профессор Никольский. Артур Петрович.

– Вы философ?

– В некотором роде. Вообще-то я и философ, и юрист,

и финансист в одном лице. На сегодня это очень перспективный вид деятельности. И придающий приличный статус в обществе. К тому же я имею некоторое отношение к одному из банков. Так что не бедствую.

– А что же не самолетом? – спросил Сергей.

– А куда спешить? Все там будем.

Сергею показалось, что профессор в перечне своих должностей и профессий позволил себе небольшой перебор. Никольский уловил это и пояснил:

– Видите ли, Сергей, все это приходит с годами. Быстро никогда ничего не получается. Ну, исключая, быть может, случаи протекции, помощи, покупки чьих-то услуг. В этом, кстати, совсем нет ничего зазорного. Вздор, кто думает иначе! А с годами все само собой идет в руки.

– А вы, что же, преподаете? В университете?

– Вы хотите сказать, почему же тогда не знали меня по университету? Дело в том, что я недавно прибыл в Нежинск. До этого я в Рижском преподавал. Потом в МГУ. А года три назад один мой знакомый объявился в вашем городе. Я его встретил как-то на коллоквиуме. То-се, пятое-десятое. Завязались, восстановились старые отношения. А сейчас мы друзья – не разлей вода, – профессор испытующе поглядел на Сергея. – Общие дела, знаете ли.

– Я понимаю, – кивнул головой Сергей. Он чувствовал, что со ста пятидесяти граммов коньяка стал пьян. Удивительно!

Никольский разлил из бутылки остатки. Сергей забыл, о чем хотел спросить профессора. Тот зачем-то достал кошелек, и Сергей вспомнил.

– По финансам, наверное, Артур Петрович?

– И по финансам в том числе. Видите ли, Сергей, в чистом виде никакой деятельности быть не может. А деньги, тем более, такая грязь! Особенно, когда их мало, – засмеялся профессор. – Хотя на душе, доложу я вам, становится спокойнее и чище только от них, этих самых мани-мани, что бы там ни утверждали сторонники противоположной точки зрения. Не понимают ребята, не понимают, что именно на стыке противоположных точек зрения и растет то, что они хотят или возродить, или искоренить. Ну, да каждый своим делом занимается. Первые пудрят мозги вторым, чтобы те выбрали из них очередного Фигаро, и пока эти двое таскают каштаны из огня, третьи эти каштаны кушают. Яночка, простите великодушно старика, я вам не наскучил?

– Что вы, что вы, Артур Петрович, нисколько!

– Вот попробуйте этих орешков. К вину незаменимы. Не правда ли, наш Сергей умница?

Сергей подумал было, что он вовсе не нуждается в девичьих комплиментах, исходящих эдаким крючком от профессора, но ему было приятно, что профессор тем не менее закинул этот крюк.

– О, да! – блеснула глазами девушка и покраснела. Профессор поверх ее головы многозначительно поглядел в гла-

за Сергею. Сергею почудилось, что профессор передает ему какую-то важную мысль. Потом, подумал он. Потом разберусь, что это за мысль.

У нее были красивые наливные груди. Она носила обтягивающие маечки без лифчика. Шла она быстро и ровно, так что на каждый ее шаг груди успевали подпрыгнуть два раза. И так нахально выпирали соски, что глядя на них, забывал обо всем остальном на свете. Сергей увидел ее первый раз, когда она переходила дорогу. Переходила она дорогу вообще, а перешла ему, в частности. В ней он видел одну только грудь. Остальное было довеском, что ли. Именно грудь представляла для него всю женскую красоту, все женское обаяние, всю женскую роскошь, которая только может быть. Сергей не помнил, какое у нее лицо, улыбка, ноги, плечи, глаза, ничего не помнил, вернее, все это было несущественным. Он помнил только грудь. Он узнал бы ее из тысяч любых других грудей на любом месте от нудистского пляжа до элеватора, где на всех телогрейки с робами. Когда она исчезла, он нигде не мог найти ее. И когда в той деревне он увидел Глафиру, он узнал ее. Тогда-то он и понял, что в жизни можно любить что-то одно, а все остальное только приложение к этому главному. Все любить невозможно, да и не имеет смысла. Завоевать весь мир хочется ради груди. Что ж, ничего странного.

Потом на суде, когда допрашивали свидетелей, а адвокат

доказывал, что Суэтин психически нездоров и не отдавал себе отчета в тот момент, когда выбрасывал Борисова из вагона (к тому же, совершенно без умысла), он понял, что ему все равно, что скажет о нем Глафира. Он был рад, что она помнит его. Он был рад, что она так смотрит на него. Во взгляде ее было то, что он искал всю жизнь. Он не знал, что именно, так как не успел этому дать название. Глафира была для него единственной, кто ему был нужен. Почему бы и ему не стать для нее тем единственным, без которого мир становится тускл и безрадостен?

Поезд, раскачивая, несло на запад. Его словно кто-то пытался свалить с рельс. Как-то само собой заговорили о востоке. Оно так и бывает: к чему приближаемся, того просто, затаясь, ждем, от чего убегаем, то и ворошим. Может, думаем, что прошлое, раз оно осталось позади, не догонит нас, не осудит, не взглянет в глаза: что же, мол, ты предал меня, убежал? Может, оно и так. Вот только когда мы выходим в этом нашем будущем, первым кто встречает нас – это наше прошлое. Оно, как неутомимый охотник, сделало крюк, подтвердив лишний раз, что ты всего-навсего зверь, безмозглый и ничему не желающий учиться.

– Восток хорош тем, что он есть, – начал профессор. Впрочем, он начал неспроста. Так показалось Сергею. Что-то скрывалось за отсутствием нарочитости в этой фразе.

– Да, он занимает много места, – сказал Сергей, глядя в

окно.

– Я полагаю больше, чем этот вид, – улыбнулся профессор.

Он читает мои мысли, подумал Сергей, и профессор кивнул ему в ответ.

– Психотерапевт, – сказал он.

«А, понятно, почему успокоилась Яна... Может, тогда лучше помолчать?» – подумал он. Направленно подумал, испытывая собеседника. Тот ничего не сказал. Но Сергей понял, что тот не согласен с ним.

– Все, что позади, кажется общим, то есть принадлежащим всем, а не каждому из нас в отдельности, неделимым. Неким мамонтом, придавившим муравьев.

– Муравьям от этого ничего, кроме поживы, не будет, – возразил Сергей.

– Каков молодец! Яночка, каков молодец! – воскликнул профессор.

Яна кивнула головой и потянулась к соку.

– Лучше вина, поверьте старому сморчку, – профессор налил ей вина. – Тут ни этих ваших консервантов, ни белого сахара, тут чистый виноград, солнце и страсть. Природа.

Сергей, не желая участвовать в разговоре, все равно почувствовал себя втянутым, помимо своей воли, в эту трепотню о вине, частях света и ничего не мог поделать с собой, так как... Так как уже хотел говорить, хотел обрушить на собеседника всего себя. Так как чувствовал, что сам себе пере-

крыл дыхание. Сергей вспомнил ГЭС, водохранилище, плотину. Или это меня отрывает от земли накопившаяся с годами пустота, подумал он, отрывает, как воздушный шарик?

– Это не пустота, – сказал профессор. – Это я, Яночка, молодому человеку. Он сказал, что пустота переносит людей по жизни. Я не совсем согласен с вами, Сергей, хотя я возьму вас к себе в аспирантуру. Возьму. В финансах, как нигде, нужна арифметика. Мы об этом поговорим в Нежинске. Будет время. Не согласен я с вами, молодой человек, по принципиальным соображениям...

– А зачем же тогда вы берете меня к себе в аспирантуру?

– Затем и беру.

– Перевоспитать?

– Да нет, самому поднабраться.

– А я думал: под себя подладить. Под свою школу.

– Да, я уже не сомневаюсь. Я беру вас. В бизнесе сейчас многого можно достичь. С вашими-то способностями... Тем более, вы знаете уже, что есть не только своя жизнь, но и чужая смерть.

Сергей взглянул на профессора. Тот бесстрастно продолжал:

– И чужая смерть – всего-навсего лопнувший нарыв. Больно, но гной вытек. И кожа всего организма вновь чиста. Не так ли?

– Так, – хмуро подтвердил Сергей. – В прошлом мы все одиноки.

Профессор засмеялся.

– Это в вас говорит молодость, молодой человек. Эх, молодость-молодость! Когда-то и мы были рысаками! Да-да, одиночками, не тройками. Как гнали мы к финишу! Как гнали!.. Зачем?

Сергей подумал в эту минуту почему-то об отце. Он почувствовал, что с отцом что-то неладно. Должно произойти. Или произошло. Он даже взволнованно встал, вышел из купе, глянул в окно, когда же Нежинск? Зашел, сел, снова встал, сел.

– Вы покурите, успокойтесь. Минздрав предупреждает, а я рекомендую. Покурите-покурите.

Сергей вышел в тамбур. Подергал ручку. «Вчерашняя» дверь была закрыта. Он закурил. Вспомнил, что бросил. Загасил сигарету.

– Не правда ли, успокаивает? – услышал он за спиной. – Когда последователен.

Он обернулся и ничего не ответил.

– Успокаивает, – удовлетворенно кивнул профессор. Он затыкнулся «Беломором». Заметив, что Сергей с любопытством смотрит на папироску в его руках, профессор сказал: – Привычка. Привычка сверху нам дана. Да и крепость есть крепость, а не дурь с ментолом, – профессор закашлялся. – Это и не «Беломор». Это «Брест» какой-то! Правильно предупреждает Минздрав. Ну, да предупрежденный спасен... Вернемся. Дама там одна. Скучает, поди.

И вдруг указал Сергею на дверь:

– Правда, во всякой двери есть нечто магическое? Как бы вход в ад или в рай. Открываешь ее и не знаешь, куда пойдешь.

Они подошли к купе.

– Как вы тут, Яночка, не скучали? Мы премило поболтали с Сережей. Настоятельно рекомендую вам. Редкий напиток. Вы же любите всякие соки. Так вот, лучший сок и лучшее вино – в беседе с умным приятным молодым человеком, – профессор подмигнул Сергею, а на Яну посмотрел серьезно.

Девушка смутилась. Профессор удовлетворенно кивнул головой. Сергей отметил про себя, что профессору нравится, как все идет. Похоже, его замысел удастся ему. Какой замысел, черт возьми?

– Да, в прошлом мы все одиноки, – продолжил профессор беседу. – Давайте-ка коньячку. Такой же... Приходим в одиночестве, идем по жизни в одиночестве и уходим из нее в одиночку. В одиночку лучше, – неожиданно засмеялся он. – Правда, их сейчас почти и нет. Камеры переполнены.

– Всякий уход, исход приносит наслаждение, – пришла Сергею такая вдруг безумная мысль. Мысль – переменить во что бы то ни стало тему разговора. Уж чересчур была она провокационной.

– Да, интересно. Даже смерть?

– Даже смерть. А также все естественные отправления организма, из всех дыр и щелей, извините, – вдруг ожесточился

Сергей. – И роды в том числе. А также слова, звуки, запахи, ноты, рисунки, рукоделие. Все, что исходит изнутри, высвобождает и очищает. Даже то, что мы выбрасываем из себя в пустоту наше прошлое, как паук паутину. Вон оно, остается за окном. Бежит, скулит за нами следом. Ему не догнать нас (глаза профессора замерцали при этих словах – Сергей удивился; нет, ему показалось). А значит, приносит наслаждение.

– И насилие? Убийство, например?

– Не знаю, – искренне сказал Сергей.

Профессор засмеялся.

– Вот тут я не совсем согласен с вами, молодой человек.

Это сублимация (ведь вы говорили, насколько я понимаю, о ней?), эти все либидо, сублимации, вытеснения – выдумки бездельников. К тому же, не наших. Наши больше пьют, а уж потом умствуют. А те, наоборот, умствуют, а потом пьют. Эта ваша сублимация (пардон, их) не имеет никакого отношения к трудящемуся члену общества, то есть к подавляющему его (я имею в виду общество) большинству.

– Не понял, – сказал Сергей. – Вы имеете в виду, говоря о подавляющем большинстве, – численном подавляющем большинстве общества или – этом большинстве, подавляющим общество?

– Все вы прекрасно поняли, молодой человек. Вон Яна смотрит на вас с недоумением. Что ж там непонятного, так, Яночка? Выпьем за общество. Наше с вами. Так вот, я не

совсем согласен с вами, Сережа, потому что наивысшее наслаждение испытываешь не тогда, когда источаешь что-то, а когда копишь в себе, копишь-копишь, пока оно не прорвется не наружу, а внутрь тебя. О, это совершенно другое дело! Так могут немногие продвинутые на том же Востоке и очень-очень немногие на опрокинутом вверх ногами Западе. Оттого, что ваша юность, как вы изволили выразиться, исходит из вас, как паутина, вовсе не следует, что она уходит от вас. Паук, пока живет, – паутина в нем. Так и все наше, отпущенное нам, время. Оно внутри нас, как бы мы его бездумно и на что бы безоглядно ни тратили. Мы им опутываем не кого-то, а самих себя. Пока не превращаемся в кокон, из которого вылетает душа. Куда? Это спросите у бабочки. Там совершенно другие времена. Другое время – другой сказ.

– Красиво плетете паутину, профессор.

Тот гордо откинулся на спинку.

– Профессионально, знаете ли...

– Да-да, – согласился Сергей. – Увы, в моих университетах таких учителей не было.

– Это поправимо.

– Профессор, а ведь если копить только в себе и не источать, не дать вырваться страсти на себе подобных людей, так ведь и роду людскому придет конец?

Профессор опять замерцал глазами.

– В конце, молодой человек, – заговорил он, выделяя каждый слог, – в конце концов и будет самое большое наслажде-

ние для последних оставшихся. Вот эти несколько человек, вознесшихся на недостижимую высоту разума, и сдерживают в себе столько сил, энергии, семени, которые способны возродить вновь землю и вернуть ей золотой век!

– А дальше?

– Вот только века этого золотого больше не будет. Прошел он. Источился весь и принес сам себе наслаждение. Больше никому. У всех прочих одна досада, что ничего им не досталось.

– А произведения искусства? Творения зодчества?

– Бросьте. Высохшие капли чужой страсти на подоле истории. Вам-то что до них? Вы что, сами не в состоянии создать нечто бессмертное, как вы полагаете? Создавайте. В этом вы, благодаря этому вашему источению, обретете куда больше удовольствия, чем от знакомства с чужими вещами. А не можете, так убейте! И все станет на свои места.

– Как? – воскликнула Яна. – Как убейте?

– Да я шучу, Яночка. Это метафорически. Убейте – значит, дайте жизнь. Это из контекста всей нашей беседы.

– А-а, – протянула, ничего не поняв, девушка. Однако тут же спросила: – Я что-то не пойму. Вы все про источника говорите, про извержения. Сергей, так? А как же быть с нами, с женщинами?

Профессор засмеялся.

– А вас полонить и насиловать, – не удержался Сергей.

Яна вжалась в угол.

– Ну, зачем вы так, Сережа? Он шутит. Он у нас большой шутник.

– Извините, – сказал Сергей, взяв девушку за руку. – Сорвалось.

– Как то самое источенное из вас слово? И вы получили сразу же наслаждение? – воскликнула Яна.

Профессор задумчиво посмотрел на девушку.

– Типичный женский вопрос, – сказал он. – Из вас выйдет замечательный журналист. Женщина-журналист. До-тошный, остроумный, въедливый до чертиков! Умница. Поступайте на журналистику. Я вам помогу, – он похлопал девушку по руке. – Помогу-помогу. Это в моих силах. Женщина как раз и является тем благословенным Востоком рода человеческого, к которому он должен весь устремиться.

– То-то сейчас столько всяких бисексуалов, трансвеститов и прочего маразма, – сказал Сергей.

– Это другое. Это флуктуации. Отсевки, шум. Женщина все вбирает в себя. Это Харибда человечества. В ней высшая мудрость и сокровенная власть. Ибо изливаясь, она не истощается, ибо извергая, она не становится извергом. Женщина – луна, при свете которой все бродит, зреет, вынашивается и живет. Недаром на Востоке женщина связана именно с луной и весь восточный мир живет именно в подлунном мире... Что-то я, братцы, устал. Пойду-ка в ресторан, перекушу. Не желаете? Ну, да вам лучше поболтать без меня, старика. Надоел я вам своими сентенциями. Да и истощился,

чувствую. Пойду, подпитаю мысль бифштексом. С кровью.

– Мои мысли в его присутствии как в каком-то магнитном поле, – сказал Сергей, когда профессор ушел, заботливо закрыв дверь. Он вдруг вспомнил грудь Глафиры, их близость, свое вневременное забытье...

– А в моем? – спросила вдруг Яна, протянув руку за его спиной и поворачивая стопор на двери. Ее дыхание защекотало Сергею затылок. Он развернулся к ней, увидел в прорези халатика грудь и обнял ее...

Когда Сергей пришел в себя, он с удивлением увидел, что за окном уже начало темнеть.

– Я что, спал?

– Да, соснули немного, – раздался из-за двери голос профессора. Он заглянул в купе. – А мы тут с Яной о чем только не переговорили, пока вы спали. Жаль, без вас. Интересная была беседа.

– О чем? – потянулся Сергей и вдруг вспомнил, как он с девушкой только что забыл обо всех словах на свете, будто их и не было вовсе в природе, этих слов.

– Об одиночестве. Яна тут много наговорила о том, что всю жизнь была одинока и никто ее не понимал. Ни родители, ни учителя, ни сверстники.

– И что?

– А я разубедил ее... Пытался разубедить, во всяком случае, что она глубоко не права, когда судит об одиночестве из глубины самой себя. Об одиночестве можно судить только с

какой-то вершины, приподнявшись над собственным эгоизмом.

– Где все не источаемо и неизреченно? – спросил Сергей.

– Нет, вы мне положительно нравитесь. Как, Яна?

– Мне тоже, – сказала та.

Когда поезд подошел к Нежинску, профессор Никольский куда-то исчез. Словно его и не было. Только визитка осталась... Яну кто-то встречал. Она помахала Сергею рукой. Ему вдруг показалось, что у нее, как у бога Шивы с Востока, четыре руки и глаз во лбу, которым она прожгла Сергея насквозь.

12. Служение человечеству

Много лет Суэтин наивно полагал, что главное в жизни это подвижничество и служение человечеству. Собственно, этому научила его своим примером мать. Сам он не провозглашал этих лозунгов, но верил тем людям, кто озвучивал его мысли. Суэтину как-то даже не приходило в голову, что лучше всех озвучивают чужие мысли дикторы и попугаи. Но когда к сорока годам он увидел, что его сверстники-бездари заняли посты, а самые глупые из них стали вдруг изрекать непогрешимые истины, он понял, что опоздал на жизнь.

Служение человечеству после защиты диссертации обернулось должностью начальника лаборатории и повышением месячного оклада, статьями и докладами, насыщенными цифрами и картинками, непременно с участием во всех заседаниях и попойках, членством во всех комиссиях, и не требовало (в отличие от всего предыдущего периода) ни искр прометеева огня, ни бессонных ночей, ни подвижничества. Служение не вызывало больше срывов в психике или сбоев в здоровье, а напоминало то ли лишайник, то ли въедливую живучую плесень, состоявшую из приставок «квази» и «псевдо». Непонятно кто убрал натянутые струны ежеминутной любознательности, а вместе с ними и музыку небесных сфер. Мысль уже не взлетала в запредельные выси, а хлопала крыльями над головой и ладошками на всевозмож-

ных симпозиумах и конференциях, позвякивала стеклянными бочками фужеров и рюмок, шуршала новенькими грошовыми купюрами за сданный этап научно-технической «Владимирки» или очередное «изобредение» ума. Нет, это был не пресловутый уровень или порог компетентности, это был просто другой образ жизни, который надо было соблюдать, чтобы так жить дальше. Отказаться же в сорок лет от карьеры и сопутствующих ей знаков внимания судьбы не так и просто, как кажется со стороны состоятельных критиков. От чего-то отказываться можно в юности, а в зрелом возрасте за это надо хвататься, пока еще есть силы это удержать.

Да, прошло уже десять лет, не меньше, подумал Суэтин. Он вспомнил вдруг о том времени и понял, что все последующее было лишь повтором тех дней.

Тогда на очередную конференцию съехалось полстраны. Одних только приглашенных ученых из Москвы и ряда других научных центров было сто пятьдесят человек да еще десятка два директоров и главных инженеров основных предприятий отрасли и представителей научно-технического управления и Госстандарта. На пленарном заседании присутствовали также в роли научных генералов первый секретарь горкома и секретарь райкома. Возглавлял президиум конференции начальник главка Барабанов. Это был крупный и твердый мужчина, любящий во всем, что касалось других, менее крупных и менее способных к администрированию,

исполнительность и точность, но и достаточно мягкий, чтобы не говорить им всем без разбора «ты», во всяком случае на пленарном заседании. Барабанова второй день мучила изжога и он постоянно подливал себе содовой, то и дело выходя на время из президиума.

Суэтин на четверть часа задумался и перестал следить за ходом конференции. Он пребывал как бы вне себя и вне своих должностных обязанностей. Ему показалось весьма любопытным то обстоятельство, что все, кто сидел в зале, с радостью воспринимали критику в свой адрес. Они словно специально собрались сюда, чтобы выслушать в отношении себя как можно более жестких и нерадостных слов, радостно подставляя помоям грудь и голову. Странно, что диких лошадей разума всю жизнь объезжают люди, не имеющие понятия о лошадях. Впрочем, тут собрались исключительно ослы и пони. Да еще мулы, много мулов, способных только к тяжелой физической работе и весьма терпеливых и неприхотливых к условиям жизни.

В уши его ворвался смех зала. Смеялись над репликой начальника главка, которую он удачно отпустил по ходу доклада в адрес профессора Морозова. Профессор в начале пятидесятых был удостоен сталинской премии за укрепление обороноспособности страны по представлению самого Берии. Берия тогда сказал: «Если надо, Морозов с блеском докажет, что говно – это конфетка! Таким людям цены нет!» Начальник главка вдруг вспомнил об этом и на слова про-

фессора: «Если надо, наша кафедра добьется этого!» – сказал: «Мы знаем, профессор, вы с блеском можете доказать это!» Профессор, вертя указкой, пытался улыбнуться, и от напряжения у него на лбу надулась жила. Ее было хорошо видно даже из двенадцатого ряда. А у Барабанова от удачной шутки напрочь прошла изжога.

На Суэтина вдруг нашла такая тоска, что он встал и покинул зал. И в последний момент удержал дверь, которая должна была хлопнуть так, чтобы навеки закрыть его карьеру. Что удержало его? Инстинкт самосохранения? Просто рука застыла от удара судьбы.

Он тогда шатался по городу, как пьяный, не помня себя. Он тогда впервые понял, что тоска это то, что удерживает в вертикальном состоянии человеческий скелет. Тоска – это и есть жизнь. Вдруг увидел перед собой медведя. Медведь шатался по клетке. Перестал шататься. Уставился на Суэтина. Глаза в глаза. Вот оно соприкосновение двух бездн, у каждой из которых свое время. И в этот момент Суэтину показалось, что он медведя понимает лучше, чем начальника главка Барабанова, чем академика Дринкина, чем профессора Морозова, чем Настю, чем самого себя, в конце концов. В глазах медведя было два вопроса и там же оба ответа:

1. Что же ты, друг Суэтин, такой большой, а никак не поймешь, что в этой жизни есть одно лишь благо – и оно есть у тебя: ты смотришь на меня сквозь прутья клетки с другой

стороны, со стороны свободы. Чего же тебе надо еще? Представь, что ты стал скульптурой, и тебе сразу же твоя сегодняшняя свобода покажется безграничной, даже если ты будешь скульптурой Наполеона.

2. Что же ты, друг Суэтин, занимаешься всем на свете, кроме самого света? Почему ты не довел до конца того дела, ради которого ты и появился на этот свет? Почему ты испугался неудачи, насмешек, почему ты испугался какого-то Дринкина? Почему ты вцепился когтями, которых и нет у тебя, в видимость благополучия? Это такая хрупкая веточка: обломится, упадешь на землю и свернешь себе шею.

Думает, небось, чего я уставился на него, подумал Суэтин. Два шатуна. У нас теперь с ним шатунно-шатунный механизм. Куда выедем на нем, мишка? Из одной страны Шатунии в другую страну Шатанию? Остаток дня Суэтин провел в зоопарке, и звери с птицами его успокоили. Домой он вернулся почти спокойный.

Он с улыбкой рассказал Насте, как сегодня, вместо того, чтобы протирать штаны на конференции, а потом наливать водкой, он прекрасно провел время в зоопарке, где имел беседу с бурым медведем.

– Ты знаешь, Настя, я только сегодня понял, что медведь обходится совершенно без начальства. Мне почему-то стало его безумно жалко. Я долго и, похоже, безуспешно пытался вразумить его, как много он потерял от этого.

– И как же ты вразумлял его? – Настя внимательно смот-

рела на Евгения. В последнее время он стал какой-то не такой.

– Ну, как? Словами, конечно. Я ему говорил о том, что хороший начальник не должен замечать стараний подчиненных выглядеть идиотами. О том, что... Давай по порядку вспомню. Значит, так: я ему говорил о том, что хороший начальник не должен замечать стараний подчиненных выглядеть идиотами.

– Это ты уже сказал, – Настя села на табуретку. В голове у нее вертелась шальная мысль: в своем ли он уме?

– О том, что завтрашний начальник чистит сегодняшнему начальнику башмаки, только что оттоптавшие вчерашнего начальника. О том, что начальник может в кабинете не иметь зеркала, так как лица подчиненных, как зеркала, повторяют выражение его лица. Тут только не перепутать, у кого зеркала венецианские, а у кого кривые.

– И это ты говорил медведю?

– Ну, не людям же. Люди сочли бы меня по меньшей мере сумасшедшим. Хорошо, народу мало было. Еще говорил ему о том, что подчиненные весьма искусно ведут бой с тенью грозного начальника и, как правило, всегда выходят в нем победителями. Говорил о том, где много начальников, там нет закона. Рассказал о том, как надо случайно встречать начальника в туалете. На всякий случай, чтобы почаще попадать тому на глаза в неофициальной обстановке. Одно забыл сказать ему: некоторые начальники (в силу разных причин)

терпеть не могут коллективного решения своих маленьких и тем более больших личных проблем.

– Ну, и что твой мишка? – засмеялась Настя.

Нет, вроде в обычном своем желчном состоянии духа. Пройдет. Выговорится, проспится, и пройдет само собой.

– Мой мишка? Кивал головой, соглашался. Я, наверное, первый был, кто с ним так по душам и долго разговаривал.

– Да уж! Наверное, первый. И последний.

– Рассказал ему о начальнике заводского КБ. Я спросил мишку: верит ли он в любовь? Мишка махнул головой – верит. А вот начальник КБ, сказал я, сомневается, есть она на свете или нет ее. Во всяком случае, документацию на нее он еще не получил. Рассказал и о том, как выглядеть строгим. Это же главное, что требуется от начальника, – выглядеть строгим.

– Неужели он все это слушал?

– Еще как! Даже об обычных разносах подчиненных, которые те называют вспышками или всплесками деятельности и добавляют: высшей нервной... Ладно, что я все о себе да о себе? Как твои бройлеры?

– Живут, растут и развиваются. Как мир во всем мире.

– Мне иногда кажется, что бройлерами стало все человечество. Как-то уж слишком быстро все растут. Погляди хоть на нашего Сережку. Их поколение созреет в два раза быстрее нашего...

– И что в этом ужасного, ретроград ты наш?

– А следующее еще быстрее, чем их. Человечество превратилось в бройлера.

– А чем тебе не нравятся бройлеры?

– Чем? Не знаю.

– Мясо у них нежное. Дешевое.

– Ну, разве что мясо.

– Ты ждешь от бройлера чего-то еще?

– От бройлера я ничего не жду. Я жду от человечества.

– Извини, забыла: ты же у нас гражданин мира!

Видя, что Настю раздражает этот разговор, Суэтин замолчал. Он хотел сказать еще о том, что как жизнь скрипача складывается из звуков, жизнь художника из мазков кисти, жизнь математика из легиона символов, так и жизнь человека вообще – состоит из мгновений его жизни. И если эти мгновения убыстрять, человек не успеет за ними. То есть его оболочка, как беспилотная ракета, будет лететь куда-то, а душа безнадежно отстанет. Страдания и раздумья нельзя убыстрить, а без страданий нет сердца, без раздумий души. Ускоряя жизнь, лишь ускоряешь смерть. И в первую очередь умирает душа, не созрев и наполовину, и сердце, не намучившееся до конца. Еще что-то хотел сказать, да позабыл.

– Огурчики засолились? – Суэтин достал банку. – Ах, эта сладкая пора грибочков и малосольных огурцов! Выпьешь?

– Налей. Вот столько.

Они выпили и стали жевать огурцы под совершенно виртуальные для большинства граждан советы радио нежин-

ским садоводам и огородникам. Впрочем, это было лет за пять (а может, за десять) до появления термина «виртуальный».

Уже когда легли спать, Евгений долго ворочался, потом сказал:

– Вспомнил.

– О, господи, что ты вспомнил? Дверь не закрыл?

– Вспомнил, что хотел сказать, – Суэтин почему-то решил, что он Насте привел все свои соображения и еще обещал рассказать о тех, что выскочили из памяти. – Если человека начать кормить твоими бройлерами, он точно превратится в бройлера. Как бы это тебе объяснить? Алкоголик становится алкоголиком от алкоголя, наркоман от наркотиков. Алексей прав, когда все сводит к одной еде...

– Совсем рехнулся. Спи. У твоего Алексея есть заботы поважней.

13. Практика – критерий истины. Сон – истина бытия

Теоретиками становятся те, кто ни черта не смыслит в практике. Жизнь теоретика состоит из условий и допущений. Ему постоянно надо что-то доказывать или опровергать. Теоретика можно разглядеть солнечным днем в прорезь черного ящика, где он барахтается среди начальных и граничных условий, аксиом и формул, как в змеином гнезде. А жизнь в это время идет мимо него, как прохожий. Практик же – тот самый усталый прохожий, и участь его – грязь и сбитые ноги. Практику, конечно же, сложнее. Как правило, ему везет меньше, так как достается больше. Технологу Липкину, например, приятелю Дерюгина, катастрофически не везло ни в чем. Все шишки и синяки на свете были его. Как по технологической части, так и по природной. Они были его и начальными, и граничными условиями, и необходимыми, и достаточными, чтобы жизнь превратить в ад.

Дерюгин и Суэтин с женами (Гурьянов с очередной пассией) еще на заре туманной юности стали организовывать совместные застолья с регулярностью зарплаты. Поскольку зарплату в те годы выдавали регулярно, то и все остальное шло в полной пропорции с этой выдачей. Традиционный ответ на традиционный вопрос «как дела?» был «регулярно!»

Застолья в течение квартала делали полный круг по всем

его участникам, так что за год все бывали у каждого по четыре раза. В «Трех товарищах» одно время даже висел годовой и квартальный план семейных встреч, а под ним добавлен «Встречный план» встреч чисто гаражных. Потом встречаться семьями стали все реже и реже, пока не ограничились ежегодным кругом, зато число встреч гаражных возросло в несколько раз.

На этот раз повод для встречи был внеплановый: Дерюгин неожиданно для себя получил квартиру Липкина.

Дерюгин любил рассказывать о технологе Липкине. Он у него был притчей во языцех. Несчастий, обрушившихся на Липкина только за последнее время, другому человеку с лихвой хватило бы на целую жизнь. Недавно, например, он пришел на работу с синяком под правым глазом. У Липкина есть старенький «Москвич», на котором он гоняет по нашим дорогам, как Шумахер. Даже в дождь. Стал Липкин лихо объезжать большую лужу и лихо ободрал бок вишневому «Мерседесу». Вышли оба водителя. Который поплотнее, посмотрел на технолога – взять с него нечего – молча заехал тому в глаз и уехал с места ДТП. Липкин поднялся, отряхнулся и поехал себе дальше, вознося молитвы вперемешку с проклятиями. В тот же день Липкину в заводской столовке на кассе сказали: «Доберите до талона еще котлету». Казалось бы, все просто, так его и тут угораздило вляпаться в историю. Отнес он свой поднос на стол, взял вилку и пошел на раздачу «добирать» котлету. Выбрал, которая потолще, во-

ткнул в неё вилку и понес на свое место. А котлета – возьми и разломись. Полкотлеты на пол упало, а еще полкотлеты – женщине, пьющей компот, за шиворот. Котлета была только что с противня: горячая, черная и жирная. Женщина взвизгнула, взвилась и посадила Липкину синяк под другой глаз, на свободное место. А потом стояла, схватившись за край своего столика, и долго откашливалась, поперхнувшись компотом. Дома жена Липкину не поверила и, даже не сказав: «Дыхни!», отоварила поварешкой по лбу. «Всесторонний тройной удар судьбы!» – прокомментировал на диспетчерской начальник цеха внешний вид Липкина.

Дерюгин не просто любил рассказывать о Липкине. Он рассказывал о нем с упоением и потрясающей достоверностью. Гурьянов даже предложил ему содействие в публикации «Истории технологии». Технолог и впрямь был неисчерпаемый кладезь несчастий. Его мог за здорово живешь избить какой-нибудь ревнивец прямо на пороге собственного дома – перепутать с другим счастливецом.

– Липкин в тот день проспал, рассказывал Дерюгин. – Не умывшись, не завтракая, так небритый и побежал на работу. Вылетел, как дурной, из подъезда на улицу, а тут его и взяли на рога. Хотя это пустяк. У него вещи и покруче случались...

Вот так незатейливо общались друзья со своими женами (Гурьянов на этот раз был один, чем несколько озадачил друзей) в середине девяностых годов уходящего от них столетия. Затейливость нужна на Ученом совете или в президиу-

ме собрания, где ничего другого нет. Или когда спустя много-много лет захочешь найти в них некий смысл и оправдание самому себе. И были счастливы они своим общением, и ничего им больше не надо было. Тем более что Дерюгин квартиру получил. Жизнь, правда, думает по-своему и постоянно вносит свои коррективы. Мы-то думаем, что делаем свою жизнь, тогда как она то и дело делает нас. Да еще как делает!

– Невероятный даже для Липкина случай: я посвятил себя Липкину, а Липкин посвятил свою квартиру мне!.. Жена от него ушла. Причем резко вверх. Оседлала москвичка из министерства. Забрала с собой сына, чтобы получил в Москве приличное образование, а также румынский гарнитур, который она купила на скопленные Липкиным вознаграждения за рационализацию и изобретательство. «А квартира мне теперь ни к чему! – опрометчивая от счастья, заявила она на прощание своему «горю луковому». «Раз так – и мне она больше не нужна! В ней приметы несчастья!» – заявил он вечером в пивной и тут же получил от меня предложение об обмене. И согласился! С радостью согласился поменять свою двухкомнатную квартиру, загубившую ему жизнь, на мой дом у реки. Теперь утонет, точно утонет, – прогнозировал Дерюгин. – А не утонет – так его затопит наводнение...

После закуски Зинаида подала на стол любимые ею котлеты с картофельным пюре. У нее на пять котлет шел килограмм фарша.

– Добрые котлеты! – одобрил Гурьянов. – Они у тебя, Зина, всегда классные!

– Средство придумали очищать печень, почки и прочие органы, в которых накапливаются шлаки, – сказала Настя. – Симкин принял три стандарта, очистился! – Настя победоносно оглядела всех.

– Эти средства прежде всего очищают карманы, – сказал Суэтин. – Мозги надо сперва твоему Симкину очистить, а уж потом печень.

– Нет, правда. У него были родинки по всему телу, коричневые такие, а после лечения их не стало.

– Все тело стало коричневым. Как у дона Педро.

– Как ноги-то твои? – спросила Зинаида Гурьянова.

– Да на месте пока, – Гурьянов приподнял штанину.

– Жаловался, что болят.

– А-а, болят. От бедра до колена. И щиколотки.

– Приседать надо.

– Селиверстов сказал: сколько лет, столько приседаний, – пояснил Дерюгин. – Сама-то пробовала? – спросил он у жены.

– У меня только пятнадцать раз получилось. Шестнадцатый – стул помог.

– Ну, ты, Зинуля, свою норму выполнила. Да это и не главное для любви, приседания, – сказал Гурьянов и стал патетически рассуждать о любви. О поэзии и эросе. О творчестве и его истоках. Зинаида со вздохом стала собирать посуду со

стола. Гурьянов раскинулся на диване и светло обращался к люстре. Люстра подмигивала ему.

Суэтин не слушал Алексея, листал газету. Дерюгин, делая вид, что слушает, просматривал пустые бутылки на предмет остатков. А Настя помогала Зинаиде и вполуха слушала Гурьяновскую трепотню. Она несколько раз перевела взгляд с мужа на поэта и обратно... Сидят, два самодовольных самца. Один весь ушел в рифмы, а второй вообще непонятно куда. Мужики не могут без самовыражения, лишь бы делом не заниматься! В ней росло раздражение. Она порезала о тупой нож мизинец.

– Все любовь, любовь... – раздраженно бросила она. – Одна любовь! Не надоело? Какая любовь! На любовь нужен душевный настрой, душевный подъем. Женя, дай йод. Зина, йод где?

– Ты смотри, швейцарец прыгнул на сорок пять метров, – оторвался от газеты Суэтин.

– На сколько? Что ты мелешь? Кто это прыгнул на сорок пять метров? – возмутилась Настя. – Йод дай, говорю. Видишь, кровью исхожу. Зина, где йод у тебя?

– Вот – швейцарец Смелько. Фамилия, правда, не совсем швейцарская. Хохол, наверное. Прыгнул на сорок пять метров. С железнодорожного моста. Я даже представляю этот прыжок. Как трехступенчатая ракета. Сначала летит тело, потом сердце, а потом душа.

– Красиво.

– Что красиво? – набросилась на Гурьянова Настя. – Вы что тут все, с ума посходили? Зина, они тут все с ума сошли.

– С котлет, – сказал Дерюгин.

– Что красиво, спрашиваю? – не унималась Настя.

– Спрашивают – отвечаем. Посходили все с ума, как весенние снега. Красиво – вон там солнце садится, а мы тут черт знает о чем говорим. Ведь сегодня самый долгий день...

– В этой жизни, – сказал Суэтин. – Вот йод.

– В этой жизни – не знаю, но в этом году – точно, – уточнил Гурьянов.

– Киев бомбили, нам объявили, что началась война... – спел Дерюгин. – Мы вот тут прохлаждаемся, зубы чешем, а в это время наши города и села уже горели. Никто не будет? – он крякнул и допил водку из горлышка бутылки.

– Сгорели они уже давно, города твои и села. И уже отстроены, и хоть опять их жги, – процедил Суэтин. – Вон наш дом, тридцать пятого года, того и гляди рухнет. И нас погребет под собой. Будем, как австралопитеки, греметь под завалами своими костями.

– Приснился мне как-то кошмарный сон, – задумчиво произнес Гурьянов. – Будто бы я – султан. Дворец у меня, гарем и янычары. А еще полк из детей. Родных моих детей. И я там по понедельникам преподаю историю русской поэтической мысли. На турецком языке.

– Тьфу на вас! – сказала Настя и ушла на кухню к Зинаиде. – Зина! – стала она жаловаться ей впервые за все эти

годы. – Что-то происходит. Почему мне так тяжело? Все кажется, что беда по пятам идет. Не могу ничего с собой поделаться. Спать перестала совсем!

– Да успокойся ты, – сказала Зина, сгребая остатки еды на тарелку. – Это, наверное, возрастное. В жар бросает? Кровь приливает к лицу?..

– Мы домой пойдем. Хочу лечь пораньше. Может, усну?..

Пленка масла толщиной в молекулу успокаивает волнение на воде. Что успокоит меня? Сон? Сон, толщиной меньше молекулы, успокоит ли он мои волнения? Или они во сне просто уходят вглубь и будоражат во сне мой мозг, как глубинные громадные волны?..

Насте приснился сон, будто она с мужем вышла прогулять собаку (у них появился откуда-то рыжий пес Дружок), а по двору ходит красивая светло-серая лошадь. Не крупная и не длинная, а тонконогая, стройная, легкая, с прямой шеей и головой. «Чья это такая красивая лошадь?» – подумала Настя. Когда вернулись с прогулки, лошадь все еще была во дворе. Она тревожно бегала по кругу. Насте бросилось в глаза, что Дружок отнесся к лошади, как к своей: завилял хвостом и часто задышал. Настя открыла дверь в подъезд, лошадь оттеснила их и забежала в подъезд. Было очень светло: солнце из окон освещало самые глухие закоулки подъезда. Лестница шла не маршами, закручиваясь, с этажа на этаж, а широко и прямо, но тоже с лестничными площад-

ками, так что лошадь легко поднялась до четвертого этажа. Между четвертым и пятым этажами на ступеньках лежал рыжий персидский кот Гришка. Лошадь остановилась на площадке четвертого этажа напротив Настиной квартиры и, глядя на кота, ударила копытом о пол и слегка заржала. Из-под Гришки потекло. Ручеек стек в лужицу на площадку возле двери. Дверь в квартиру была открыта, и лошадь зашла туда. Сразу же была не прихожая, а огромная комната, пустая, залитая солнцем. Лошадь буквально горела в солнечном свете. Она успокоилась и медленно шла вдоль стен, словно изучая обстановку. Настя привычно забеспокоилась, чем накормить животное. «Женя, разогрей-ка слегка кастрюльку с кашей и кроши туда еще хлеба, – сказала она мужу, – а я пока за Гришкой подотру». Настя подтолкнула кота, чтобы тот шел в квартиру, и стала вытирать лужу. «Это очень хороший сон, – подумала она во сне. – Красивая лошадь, светлая, солнце, зашла в мой дом...» На пятом этаже закрылась дверь, послышались шаги, показалась стройная, как эта лошадка, женщина. Она грациозно шла, держа в руках прелестный букет совершенно белых роз. Из-под маленькой шляпки «менингитки» с вуалькой блеснули выразительные черные глаза. В это время заржала лошадь.

– А кто это у вас? Лошадь? Какая красавица!

– Да вот, лошадь.

– Прелесть! – женщина послала лошади воздушный поцелуй. Та ответила ржанием.

Настя зашла в квартиру, выглянула в окно и увидела, как там в хозяйственный двор дома через дорогу человек, очень похожий на ее мужа, заводит еще одну точно такую же серую лошадь. «Может, эта лошадь тоже этого хозяина?» – подумала Настя и открыла окно, чтобы спросить его об этом. Человек с лошастью скрылся, а на тротуаре, задрав голову вверх, на Настю смотрела женщина с розами.

– Вы не заметили, куда ушел тот человек с лошастью? – крикнула ей Настя.

– Он ускакал туда, – указала букетом белых роз женщина вверх.

– Куда? – не поняла Настя.

– Туда!

– А кто это был?

– Ваш муж!

14. О Коктебеле, нудистах и частичном вегетарианстве

– Как Дерюгин-то выступил на своем юбилее! – вспомнил Гурьянов.

Суэтин улыбнулся. На пятидесятилетии Дерюгина, когда уже пора было расходиться по домам и многие были, что называется, на бровях, Дерюгин, как юбиляр, взял ответное слово:

– Вот и настала пора, – сказал он, погладив лысину, – настала пора юбилеев. Я первый вошел в нее. Кто-то стал каргой, кто-то занудой, кто-то просто лысым хреном.

Дерюгин снова погладил свою лысину и снова повторил слово в слово свою речь. Потом в третий раз, пока все не заорали:

– Да что ты хочешь сказать?

– Настала пора юбилеев, говорю, а с нею и склероз. Не помню, что хотел сказать. За него, родного... как его? Ну, только что сам назвал, на букву «з», кажется.

От четырехкратного воспоминания о слове «юбилей» Суэтину стало тоскливо.

– Я ведь, Леша, думал: из меня Ландау выйдет... – неожиданно для самого себя сказал он. – А вышел пшик один. Ведь работа сделана уже, а пристроить некуда! Хорошая работа, это я без балды говорю.

– На таком заводе и некуда? – удивился Алексей.

– Да какой там завод! Из двадцати цехов два остались.

– Ну, а по старым каналам? Через Москву?

– Не говори мне о Москве. Всех в одночасье обратили в ничтожеств. Сколько нас – столько ничтожеств, видимо-невидимо.

– Это у нас невидимо, а по телику они хороши видимы. Думаешь, ты один такой неустроенный? – с горечью произнес Алексей.

– Неужели и у тебя проблемы?

– О! Проблемы! Еще какие! Я ведь, Женя, пять лет (пять лет!) не печатался. Раньше один фольклор собирал, в период застоя. А тут чего только собирать не пришлось: и ягоды, и грибы, и папоротник, и шишки, и клюкву, и лекарственные травы, и мед диких пчел!..

– Зачем ты все это собирал?

– Женя, ты как с неба свалился! Жрать хотел, вот и собирал! Соберу, а потом на рынке продаю. Ты-то на окладе, а у меня... – Алексей присвистнул.

– И сам продавал?

Гурьянов насмешливо посмотрел на Суэтина, но ничего не сказал.

– А что ж ты мне никогда об этом не говорил?

– А ты не знал? Мы, Женя, разве хотим знать что-то о другом? Я и бутылки пару месяцев собирал, и медь тырил, и газетами торговал. Колготки продавал, Женечка, и очень

даже успешно! На центральном рынке прямо из коробки. В руки возьмешь их, как гармонь, да как растянешь, и ну, расхваливать! Под соответствующие стишки. Даже почитательницы моего поэтического гения брали. Я извинялся перед ними, расшаркивался, предлагал расписаться на колготках, как на новом сборнике стихотворений! Одна согласилась. Три дня процветал мой бизнес, а потом менты замели. Писательское удостоверение помогло. Представляешь, майор читал мои стихи! И даже помнил некоторые наизусть! Вот не думал! Отпустил и даже товар не реквизирует.

– Ты же, Алексей, хотел «свободы»? Вот и получил.

– Свобода? Что такое свобода? В тридцатые годы ее в землю зарыли, в шестидесятые залили водой, в восьмидесятые пустили на ветер, а сейчас вообще она горит синим пламенем, твоя свобода! – Гурьянов закашлялся и выпил воды. – Как у эков, век свободы не видать!

– Моя? – усмехнулся Суэтин. – Наша, Леша, наша общая, одна на всех. Оттого ее так мало на каждого! Однако, как ты ее разложил по знакам зодиака.

– Жень, давай больше не будем о ней, а то я материться начну, – Алексей взял пульт и включил телевизор.

Минут пять молча смотрели на драку в негритянских кварталах Нью-Йорка. Гурьянов убавил звук.

– Какого только дерьма не показывают, – сказал он. – Постой, ведь сегодня двадцать пять лет прошло, как мы знакомы. Тоже юбилей! Жаль, Дерюгин захворал. Что Настя-то

нет? Настя где?

– На концерте Настя. Леша, а как у тебя с «точеной фигуркой»?

– Никак, – вздохнул Алексей. – Там мир музыки. А это вообще труба.

В сущности, за четверть века человек узнает всё: чувства, мысли, речь... А потом на это только садится пыль. «Живи еще хоть четверть века...» Суэтин поднял стакан, поглядел, прищурившись, на свет. Водка в граненном стекле была почти неразличима. «Неразличима, как юность моя!» – пропел внутренний голос красивым меццо-сопрано, но не Настиным. Евгений вздохнул. Выпил, глядя на репродукцию картины Малевича на стене. Что с ним так носятся все? И я чего-то там вякал о нем. Умные до тошноты слова. Ведь вот тоже что-то хотел сказать мужик, думал выразить себя! А на самом деле как было: выразит и видит – опять ошибся! И так от одной ошибки к другой брел, брел... Как по лесной чаще. Когда выберешься из чащи ошибок на простор, оказывается, идти-то дальше и некуда. Вот так и появился «Черный квадрат». В Африке сложно понять и черный квадрат, и черного человека Пушкина или Есенина. Во всяком случае там его поймут негативно.

– Вот послушай, что я тут придумал, сидя напротив этой картинки, – сказал Суэтин. – Никогда я не был Монтесумой. Ты меня не спрашивай о нем. Впрочем, кое что мне известно о нем. Монтесума возглавлял союз племен. Ежедневно вы-

пивал пятьдесят чашечек шоколада. Имел шестьсот жен. А все равно сгнил в земле. Племя, в котором я живу, давно уже не в Союзе, а само по себе. Ежедневно я выпиваю, но не шоколад и, конечно же, не пятьдесят чашечек, а сколько позволяют деньги. Они позволяют мне одну бутылку в неделю. Жен у меня не шестьсот, а одна. Она меня и имеет. И до того, как сгнить в земле, я уже полвека гнию на ней. Что тут добавить? Что я не Монтесума? Так это и так видно. Мне никогда и не быть им.

– Жень, клёво! Хочешь, пристрою. Ты запиши. Эссе – хоть в центральный орган!

– Угу, в женский. Жаль, нет Дерюгина, – вздохнул Суэтин. – Видел последнее мое приобретение – «Оксфордский словарь»? Двести сорок тысяч слов, между прочим.

– Что? – переспросил Гурьянов.

– Двести сорок тысяч слов, между прочим, – повторил Суэтин.

Глюки, подумал Алексей. Куда же это Семен подевался? Обещал позвонить...

– Так вот, из них половина – греческие и латинские. В основном научные термины. Как ты думаешь: выпускник Оксфорда без него из дома выходит?.. Что-то я давно Аглаю Владиславовну не видел. Жива?

Гурьянов почувствовал угрызения совести. Он уже несколько лет не вспоминал о ней.

Суэтин нащупал кусочек колбасы, положил его под язык.

– Ты, прямо, как валидол ее ешь, – сказал Гурьянов и отрезал себе два кусочка.

– Вегетарианец я, – поморщился Суэтин, глядя на свернувшуюся возле бутылки колбасу.

– Плохо тебе, – пожалел Евгения Гурьянов и положил в рот сразу оба кусочка.

– Мне плохо. Тебе хорошо. Колбасы больше достанется.

– Извини, Женя, не знал, что ты колбасу не ешь. Вроде всю жизнь ел. И довольно-таки хорошо. Проблемы с пищеварением? Думал: наоборот, хорошо, кружок целый взял. Сказал бы, я бы сырок купил, а сейчас, тц, ни копыя! Может, ты того, частичным вегетарианцем побудешь? Не каждый же раз?

– Ладно, не привыкать. Да там на кухне всякой жратвы завались. Разогревать неохота. Настя придет, разогреет. Я, Леша, в Коктебеле привык отдыхать... Мы с Настей столько раз ездили туда! Давно уже...

– «Отдыхая» – недееспособное деепричастие.

– Да ты знаешь, – Евгений поднял пустой стакан и повертел перед глазами. – Там в бокалах вино искру давало, отливало золотом, вышибало слезу! Панама, белые штаны... Тебе не кажется, что есть что-то общее в названиях «Черный квадрат» и «Медный всадник»? Да и по сути...

– Это который Планерское? Папа едет в Коктебель – папа будет как кобель!

– Какие пошлости ты говоришь! Плесни-ка, – Суэтин все

разглядывал картину. Лет десять уже он бился над загадкой, что же нарисовал Малевич. – Эх, душа, душа! Атмосфера там, Алексей, особая. Море, воздух, поэзия! Кобель! – передернулся он. – Чистота там и возвышенный строй мыслей.

– Я понимаю. Там дом творчества, бывали и мы. Ты же там с Настей познакомился?

– Там серебряные сумерки и так и кажется, что в сумерках этих на скамейке и вокруг нее собрались поэты серебряного века, чуть сбоку первые пролетарские поэты, тут же Андрей Белый, а по центру Горький, Шаляпин, Скиталец...

– Шаляпин – разве скиталец?

– Еще какой, – Суэтин выпил и с тоской посмотрел на свернувшуюся колбасу. – Помню: Коктебель двадцать лет назад – ни-ко-го! Пустыня! Слева море – чайки летают, справа горы – на планерах спускаются. Повернешься на сто восемьдесят градусов: справа чайки, слева планеры. И ни одной сволочи! Вдали виноградники, совхоз какой-то, жутко целительная от чахотки роща. Дальше Старый Крым, домик Грина...

– Расписываешь, как живописец. Он что, на стене? – Алексей отправил в рот очередные два куска колбасы. – Инте-ересно ка-ак!

– Куда ему! Мне вон та картинка нравится, – указал Суэтин на неизвестно кем и когда нарисованный рисунок.

Рисунок напоминал игральную карту. Белый собор на берегу спокойного озера был изображен дважды: прямо – как

бы летящий в голубом небе, и опрокинуто – как бы плывущий в нем. Он тогда такой же то ли в небе видел, то ли в реке, в тот славный день, когда Настю со свадьбы украл. Или просто думал о нем?

– Вот, посмотри, вроде бы одно и то же нарисовано. Как червовый король. Похоже, художник сделал копию – и вся недолга! Некоторым больше нравится опрокинутое изображение. А тебе?

– А мне один черт! – сказал Гурьянов. – Не молиться же в нем!

– А я вот что подумал: ведь в озере отразится лишь то, что произойдет на небе, а никак не наоборот. Так что любое отражение даже божественной небесной красоты – будь это твои стихи, или серенада Моцарта, или лилии Моне – это не творчество, а жалкая копия. Творить надо на небе!

– Ну, ты скажешь! Все творческие союзы в момент развалятся! Что им делать на небе? С неба на землю легче упасть, чем наоборот.

– Дом Волошина помнишь? Он раньше вообще один на берегу стоял. Из открытой двери – запах жареной картошки! Хочешь: поднялся на крылечко, позвонил, тебе откроют, спросят, чего надо. Не грубо: «Чего! надо?» А ласково: «Чего надо?» Даже: «Чего изволите?» А скажешь: посмотреть, мол, хочу, как Максимилиан Александрович жил – впустят, смотри! Не посмотрят, что ты, может, бич какой. Там акварельки на стенах, подписанные все, книжки стопками, ми-

лый беспорядок. Только не вздумай сказать, что сам пишешь стихи! Избави бог! Тут же дверь захлопнут и скажут: «Извините, мы в стихах не разбираемся!» А как там не писать стихи, как там не бражничать и не петь раздолжные песни? Там природа и та: вдоль рифма идет, а поперек виноградники. Рифмы валяются, как камни или галька! Иные, как булыжники. А есть, как скалы! А вино с гор ручейками бежит! Хочешь, голый ходи, хочешь, прямо на берегу спи – ни одна сволочь не пристанет, не потревожит. А сейчас!..

– Да, сейчас!.. – Гурьянов со вздохом стал резать колбасу.

– Я в том году был, на денек заскочил, специально заехал – это какой-то кошмар!..

– Да, Жень, я вот слушаю тебя – прав ты. Я тоже был там в прошлом году. Какая поэзия? Меня чуть не убили! Булыжником. Может, и рифмованным. Из-за кого? Из-за нудистки одной, не успел спросить даже фамилию. Поверишь, ни одной строчки там не написал! И не пьянствовал вроде.

– Не стони! Строчки он ни одной не написал! Лентяй! Слепой Гомер, глухой Бетховен, Ренуар с изуродованными артритом руками – какие тебе нужны еще доказательства тому, что творит дух, один только дух и ничего, кроме духа. Дух, Леша, надо содержать в чистоте. И в повышенной боевой готовности.

– Дух! Скажешь! Когда я нудистов этих на дух не выношу.

– Да-да. Машины, бутылки, ларьки, пакеты, пьяные хари, то ли бомжи, то ли рокеры, то ли хакеры – хрен поймешь, а

нудисты, да-да, сколько нудистов! Леша, ты не представляешь!

– Как не представляю? Представляю. Говорю, чуть не убили из-за одной. У меня к ней был чисто практический интерес. Поинтересовался: вы и презервативы не признаете, поскольку это одежда?

– В городе сейчас меньше голубей, чем там нудистов. Не знаю, я по ним шел, как по плевкам! А страшные!

– Во-во, у такой я и поинтересовался, – Алексей опять зажевал два куска.

– Да, вся наша русская жизнь, как и русский язык, строится в основном не по правилам, а по исключениям из этих правил. Ладно, Алексей, согласен на твое частичное вегетарианство! Сделаем и для него исключение.

– Оно не мое, оно твое.

– Теперь мое! Отхвати-ка кусман граммов эдак на сто! – Суэтин, не очищая, бросил кусок колбасы в рот. В нем боролись противоречивые чувства. Сознание еще вскрикивало в агонии раскаяния, а желудок кричал: давай! давай! давай! Евгений, не пережевывая, проглотил этот кусок. Великий дух великого постника сложил крылья и сел в кусты. Кусты от опустившегося на них величия поникли и пожухли. Человек, начавший борьбу со своими пороками, не подозревает, что срубает голову гидре.

– Как? – поинтересовался Алексей. – Хорошо идет?

– Хорошо, – сознался знаток старого Коктебеля и помор-

щился. – Надо подумать над этим.

– Чего думать? Над колбасой не думают! А что ты вегетарианцем заделался? В секту, что ли, записался какую? Толстовец?

– Какая секта, Леша? О чем ты? Мясо не жру, потому что в глотку не лезет!

– Вот те раз! Как это?

– Не лезет, потому что противно стало. Сергей с полгода мясом занимался, таскал рефрижераторы из Бельгии. Веришь, глядеть на мясо больше не могу! Как тогда, помнишь, на куриной свадьбе.

– Ловко ты тогда Настю из-под носа у жениха увел! Что, и Настя теперь не ест мясо? – Алексей жалостно посмотрел на Евгения, словно прощался с ним навеки.

– У Насти свои вкусы. Осталось там? Плесни-ка. И еще такой же кусок отрежь... Когда умру, некому будет и вспомнить о том славном времени!..

– Настя, значит, все поет?

– Кантату разучивают. Серикова.

– Кто спевается, кто спивается – каждый занят своим профессиональным делом. Кстати, знаешь, почему бабы живут дольше нас? Американцы открыли...

– Потому что нам делать на земле нечего.

– Нет, они открыли, что у них две хромосомы, а у нас одна.

– Ну и что? С одной-то не знаешь что делать.

– Какой-то ты, Женя, сегодня мрачный... Мне, кстати,

вчера опять твой юношеский портрет попался. Не нужен? Удивительно, но он сейчас стал похож на тебя.

Кажется, не жизнь прожил, а просмотрел пошленький фильм в темном зале. На стене чьи-то тени... Вход был, потом эти тени, и – пожалуйста на выход!

По телевизору в красивом до уродливости синем свете один подонок красиво убивал другого. Эстетика красивого кино – это и медленно падающая ваза, и плывущие по полу во все стороны хрустальные осколки, и медленно падающий с моста в реку автомобиль, пару раз медленно поворачивающийся в воздухе и медленно погружающийся в воду, и здание, оседающее под бомбой, как земля на откосе, а потом на месте здания, над щебнем и пылью, медленно густеющее облако. Эффектные и красивые кадры. Не имеющие ничего общего с простыми человеческими чувствами ужаса, потрясения, невозвратной потери. Вредные кадры, злые и нечеловеческие. Уродливая антиэстетика кино.

Суэтин выключил телевизор и долго смотрел на темный экран. Ему показалось, что он понял, в чем смысл картины «Черный квадрат».

Сегодня утром он случайно зашел в церковь, в которую заходила когда-то его мать. Прослушал службу, и у него возникла потребность покаяться и просить прощения. Убранство церкви, сама служба, огни и голоса, а пуще всего глаза молящихся затронули что-то в его душе, до чего он нико-

гда не докапывался и даже не подозревал о его существовании. Но в чем каяться, перед кем, за что просить прощения и у кого – он четко не знал. Потребность именно покаяться, именно просить прощения выросла внутри него, как беспокойство, как угрызения совести, точно так же, как детские страхи вырастают вместе с нами в страхи взрослые.

Потом он пришел в парк и только через два с лишним часа осознал, что все это время сидит на одной и той же скамейке и думает одну и ту же думу. Почему он себя чувствует виновным в чем-то, у кого просить прощения и за что? За то, что тебя изнутри раздирает когтями творческая и иная неудовлетворенность? За то, что не находишь себе покоя нигде? За то, что и рад бы обрести пристанище где угодно, да этого «где угодно», похоже, нигде нет?.. До каких пор я буду мучить себя и моих близких? До каких пор буду влачить существование, которому я не принадлежу?

– Скорее всего, тут нарисована женщина, – Евгений кивнул на картину, – с двумя хромосомами. Вон одна, а вон другая. О чем это мы с тобой беседу вели? О таланте? Ну, за талант! Талант всегда пропьет себе дорогу.

Над головой второй день ходит женщина. Каблуки ее нервно меряют потолок по диагоналям. Так, наверное, ходили женщины и перед первой мировой войной, и перед нашествием Наполеона, и перед походом Лжедмитрия. Для человека, прожившего хотя бы шестьдесят лет, ясно, что лю-

ди девятнадцатого века, восемнадцатого и так далее к началу всех веков были теми же самыми людьми, что и сейчас, а проблемы, волновавшие их, и методы, и зверство, с которым они их разрешали, были теми же самыми проблемами, методами и зверством, которые будут, пока будут над головой стучать женские каблуки. Вот только дожить бы до этих шестидесяти, когда оглохнешь от жизни и перестанешь слышать женские каблуки. Дожить бы до шестидесяти, чтобы у бездны мрачной на краю понять простые вещи.

Суэтин откусил полкуса колбасы и вдруг вспомнил, как он еще в юности был на ипподроме (единственный раз в своей жизни) и выиграл в тотализатор. Он тогда наугад поставил на красивую светло-серую лошадь, легкую и грациозную. Как она шла! Как она красиво шла! Она летела, не касаясь земли...

А ведь она так похожа на Настю, прошептал он неслышно, ужаснувшись своему открытию. Неужели он ее погубил? Заездил, пропил и продал! Евгению захотелось по-молодому помчаться за ней вдаль, сломя голову, быстро-быстро, догнать ее и бежать рядом, голова к голове, долго-долго...

– Звонят, – сказал Алексей.

– Настя пришла. Сергей откроет.

15. Темнота

Как только Сергей занялся бизнесом, все на свете потеряло свою цену, кроме тех товаров, которые надо было выгодно купить в одном месте и выгодно загнать в другом. И эта взаимная выгода обтесывала душу с двух сторон, как полено. Все многообразие жизни, все ее краски и аромат свелись к абстрактному понятию «цена», которая обхватила шею удавкой.

А потом и товары в его глазах тоже потеряли цену. Понятие «цена» ушло из его жизни.

За тот кредит, что он взял под автомобили, его могли десять раз убить. Бог миловал, там все обошлось. Но с компаньоном Воосом, которого с подачи профессора Никольского подсунул ему сосед Симкин, вышла незадача. Все вроде было просчитано, схвачено, прикрыто, гарантирована была сумасшедшая прибыль... Сергей ошибся в главном – в начальных условиях: он рассчитывал на порядочность того человека, который рассчитывал на его простоту. Словом, «лопухнулся». Воос исчез вместе с эшелонном разноцветного металла, скупленного по дешевке на трех заводах. Как когда-то исчез незабвенный Александр Иванович Корейко. Исчез куда-то и Никольский, хотя с месяц назад, случайно встретившись с Сергеем в универсаме, он интересовался, как у него идет бизнес, и обещал устроить через Симкина очередной

выгодный проект.

– На этот раз уже попрошу у вас, молодой человек, комиссионные не только Симкину, но и мне «боковик», напрямую. Процентом пять. Как?

– Хорошо, Артур Петрович, какие разговоры!

– Вам, кстати, привет от Яночки. Она прекрасно устроилась. Прекрасно!

Все прекрасно, но все исчезли! И теперь Сергея третью неделю достают звонки. И голос в трубке из вежливого и мягкого стал грубым и жестким. Симкин стал прятаться от Сергея, а при встрече клялся достать «эту эстоняру» из-под земли и тут же «урить» обратно в землю.

Увы, свой бизнес Сергей строил на стропилах расчета, а не на фундаменте, ибо фундамент у него был другой. Математик может рассчитать все, что угодно, и любую муть облечь в логический панцирь, но там, где царит арифметика, там логика становится бессмысленной. Ибо там за рубль убьют, а сто тысяч выкинут коту под хвост. Собственно, чего ожидать от «простых» людей, когда «государевы» вообще убьют ни за грош? Чего ожидать в стране, которая политиками разодрана на подтирку?

Неделю назад Сергей понял, что весь внутри почернел.

Неделю назад он понял, что ему хочется всех своих врагов (а их становилось с каждым днем все больше) бить головой о стены, которые давили на него со всех сторон.

Ему было очень плохо. Никогда ему не было так плохо.

Он сжимал себе голову, тер грудь, дико смотрел по сторонам и не мог понять, отчего ему так плохо.

Его всего раздирала непонятная злоба ко всему на свете: одинаковая к слову «да» и к слову «нет», одинаковая к улыбке и к брезгливой гримасе, одинаковая к родным и к чужим, одинаковая к себе и ко всем прочим.

Ему страстно хотелось причинить боль себе, родным, чужим, всему белому свету, наконец! Ни своя, ни чужая жизнь ничего не стоили для него в эту минуту. Не было для него в этот миг ни радости, ни светлого лика, ни нерушимой заповеди, никакой святости не было для него!

Страшный настал для него миг. Страшный оттого, что рано или поздно он настает для каждого в жизни, и каждый наедине с собой решает, как ему быть.

Сергей на мгновение, только на мгновение, ужаснулся, как легко можно соскользнуть в пропасть звериных инстинктов, как легко можно совершить непоправимое, как легко лишиться разума, как легко обернуться в кокон, который навек покинула душа. Этого мгновения хватило, чтобы непоправимое не свершилось. Впрочем, поправимое тоже ведь не исправишь. Совершённое не переведешь в разряд совершенного. Совершенное – отнюдь не всегда совершённое, вспомнил он слова отца.

Но нет! Кто сказал, что не свершилось?..

В подъезде его поджидали трое. Двое сидели на подоконнике, а третий пошел навстречу, покручивая цепочкой.

Ах, так! Вы пришли? Ладно!

Сергей понял, что в нем была только ярость. Понял, что вот-вот у него разорвется грудь. Лопнет голова. Из порванных вен хлынет кровь. Рот порвется и из него вырвется звериный вой. И всего его разнесет в клочья, в пух, на мельчайшие атомы и молекулы, разнесет во все края земли, во все ее окраины и захолустья, разнесет к чертовой матери!

Сергей вдруг почувствовал пронзительную, до этого ни разу так остро не испытываемую, радость оттого, что он сейчас разнесет здесь все в пух и прах, разрушит стены, сорвет двери, а от этих подонков не оставит даже следа. Он легко представил себя огромным, под потолок, увидел себя как бы со стороны: темным, бесформенным, с горящими глазами, ревушим и ужасным. И он выпрямился перед ними, захохотал, подпер своды подъезда плечами и, бешено вращая глазами, заревел, как зверь. Встречавшие его увидели что-то невообразимо огромное, занявшее весь подъезд, и их вымел на улицу его дикий рев и собственный первобытный ужас.

– Что это было? – спрашивали они друг друга и ничего не могли сказать вразумительного. Тот, кто их послал, тоже ничего не понял из их сбивчивого объяснения, но убедился, что отважных людей в сто раз меньше, чем подонков...

Сергей слушал музыку, когда что-то вдруг вытолкнуло его из кресла. Он нутром почувствовал, что приехали к нему. Прислушался к звукам во дворе и услышал хлопанье автомо-

бильных дверок и резкие голоса. Он выглянул в окно на кухне, но никого не увидел. И тут же раздался звонок в дверь. Делать нечего, от судьбы не уйдешь – открыл дверь. Зашли трое. Толстяк первым.

– Поехали, – коротко бросил толстяк.

– Кто там? – вышел из комнаты отец. – Вам что надо?

– Сыч, объясни ему, – повернулся в дверях толстяк.

Стоявший сбоку коротко и сильно ударил Суэтина в висок рукояткой пистолета. Отец упал на пол, из головы хлынула кровь. Сергей кинулся на Сыча, но от подножки упал и забарахтался под двумя тушами. Сыч стукнул его по затылку пистолетом...

Гурьянов замер в темном проеме. Он потушил свет, когда услышал шум в коридоре. Двое выволокли бесчувственного Сергея на площадку. Третий сильно захлопнул дверь.

Мертвая тишина, смешанная с тишиной мертвеца, вошла в Гурьянова немым вопящим ужасом, от которого он оглох. Он понял, что случилось нечто бесповоротное, после чего уже не будет возврата не то что к прошлому, не будет возврата даже к самому себе...

Настя пришла около двенадцати. Квартира была полна людей, залита светом, но в ней не было Сережи, не было Евгения, и свет померк в ее глазах.

Сергея сдавили с боков две откормленные туши. Он пришел в себя и застонал.

– Не рыпайся! – пихнули его локтем.

На переднем сиденье восхищались дизайном и мощностью машины:

– Воще, в натуре, думаю, ну, клёво, ну, воще, круги во, и так, ш-ш-ш! ш-ш-ш! понял, круто! с места, ряу-ряу! вж-ж-ж! и ушел, воще, класс! и эта, сама, перед воще, и жопа, аттас... птц!..

Привезли Сергея на окраину города, в заброшенный дом. Спросили, вспомнил ли он, куда его компаньон Воос загнал эшелон с металлом. И когда Сергей вспыхнул: «Сколько можно спрашивать об одном и том же!» – его даже не стали бить, просто сбросили в каменный мешок под пол. Закрыли люк и придавили его, судя по звуку, шкафом, что стоял в углу комнаты. Шаги наверху смолкли. Стало глухо. Темнота стояла кромешная. Ни одного фотона света не было в яме. Сергей почувствовал себя как бы вырванным из обычной жизни, где темнота воспринимается как контраст или оттенок света, но не как полное отсутствие его. Эта темнота наступает, наверное, только в гробу. Впрочем, и там, по здравом размышлении, она не должна быть такой.

Первая мысль была: как замечательно, что меня оставили в покое. Кости, кажется, целы. Глаза видят. Видят? Кровь не хлыщет. Не чувствую. Затылок мокрый, липкий, но вроде не проломлен. Живой. Когда говоришь сам себе: «живой» – верить или не верить? Если есть тот свет, там надо верить слову «мертв». Мертв? Нет, не верю. Значит, еще этот свет. Вот

только где он? Этот, этот... Обязательно что-нибудь придумаем, что-нибудь обязательно придет в голову. Раз она еще на плечах. Не может быть, чтобы ничего не придумал. Сейчас отдохну, приду в себя, присмотрюсь к новому месту...

Отец?! Что отец? Нет отца! Эта мысль была похожа на пропасть. И если был отец, то только где-то в ней, в бездонной ее синеве. Скользнул туда, как молния, и все.

Присмотреться, однако, не удалось. Ни сразу, ни постепенно. Темнота просочилась, проникла внутрь тела, внутрь всего организма, в голову, в мысли, в сердце и даже в место, которое называют адамовым яблоком, оттого, наверное, что его часто сжимают от переживаний чисто женские спазмы.

Темнота снаружи накрыла плотным покрывалом, укутала всего, замотала, как в кокон, затолкалась в уши, рот, глаза, в голову и в сердце. И у темноты вдруг, помимо отсутствия всякого цвета, света и запаха, образовались щупальца, присоски, лапки и крылышки – и были это щупальца, присоски, лапки и крылышки животного страха. Казалось, они ползали по нему, как по поверхности шара, стремясь проникнуть внутрь. Как темнота пронзала Сергея всего насквозь, так пронзил его насквозь и страх. Он боялся пошевелить пальцем, он ощущал опасность на расстоянии миллиметра от поверхности кожи, она переливалась, задевая его за невидимые волоски, которые и так стояли дыбом от ужаса.

Сергей начал метаться, натыкаясь на стены, подпрыгивал, но до потолка не доставал, хотя чувствовал, что до него бук-

важно рукой подать. В подвале, понял он, нет ничего: ни койки, ни табуретки, ни тряпки, ни воды, ни питья. Ничего нет. Остался он один на один со всем белым светом, которого не было совсем. Весь белый свет обернулся вдруг черным. И все тут.

Последняя здравая мысль, которая посетила его, была о том, что от белого света порой темно в глазах. Но если раньше он не сомневался в том, что на душе в этот момент может быть светло, то теперь он совершенно не видел этого света и даже стал сомневаться в том, есть ли он вообще...

Он, видимо, какое-то время спал. Проснувшись и открыв глаза, он с содроганием понял, что не может отличить сон от яви, и что все равно – открыты глаза или закрыты, ими он ничего не видит. Или видит все, так как только у всего, наверное, признаки абсолютно черного тела. Тела, которое засасывает все в себя, не выпуская из себя ничего, ни кванта света или надежды.

Сначала хотелось есть. Потом только пить. Потом уже ничего не хотелось, так как любое желание невольно наводило на мысль о свете, и становилось больно глазам и какому-то объему в груди, не занятому еще темнотой. Как в погибшей подлодке в одном из отсеков какое-то время еще плавают пузырь воздуха, в котором можно спастись или хотя бы протянуть существование, так и в душе сохранялся какое-то время пузырь надежды.

Потом он почувствовал себя в некой другой реальности

или другой абстракции (он готов был уже воспринимать реальность как чью-то абстракцию, злую шутку, приключившуюся почему-то именно с ним). Нервы... Трудно было сказать, как вели себя нервы, так как их просто не стало. А мысли, образы, слова и тем более умозаключения свелись к тривиальным конвульсивным движениям рук, ног, шеи, лица. Он видел себя как бы со стороны, видел в этой абсолютной темноте, и был жалок самому себе, но делать было нечего.

Он увидел свет. Открыл глаза – свет погас. Снова закрыл – свет не зажигался. Через час или два, может, через сутки он почувствовал, как у него устали глаза, ресницы, затылок – от постоянного мигания. Все это время он мигал, мигал, мигал, надеясь еще хоть раз увидеть свет. Безрезультатно! Потом он почувствовал, что у него устали руки и онемели пальцы. Оказывается, он в такт морганию сжимал и разжимал кулаки.

Самое ужасное в этой темноте было то, что она не имела ощутимых и ощущаемых границ. Насколько же голод и жажда более легкие испытания, чем испытание темнотой! Конечно, сказывалась еще и тишина, но тишину можно было нарушить, подавая голос или хотя бы ударяя по стене или полу рукой. Темноту же никак нельзя было ни прогнать, ни нарушить, ни скрыть, ни проявить ее в более очевидной, не такой всеохватной форме.

Сергей пошел вдоль стены, ведя рукой по холодной шершавой поверхности. Он описал один раз периметр, другой,

третий... Неожиданно рука провалилась в пустоту. Сергея будто кто-то дернул на себя, он сделал пару шагов, но не наткнулся на стену, не расшиб себе лоб, не упал. Видимо, он попал в боковой коридор. Коридор раздваивался. Сергей пошел направо... передумал, налево... чуть не сорвался... стукнулся о притолоку... снова рука провалилась в пустоту, снова его кто-то дернул на себя... он удержался на ногах, не упал... направо... под рукой холодная шершавая стена... шум... шум в голове, шум в темноте, хриплый шум... кто-то дышит, дышит сама темнота... поворот, а там вроде как свет... все светлее и светлее... Вспышка света – выход! И – глаза в глаза – тяжелый, нестерпимо тяжелый взгляд, глаза налитые кровью, горящие бешенством, огромные и безумно красивые глаза! Сергею показалось, что он уперся в зеркало и увидел самого себя. Голова была его, а туловище угадывалось бесформенное, огромное, занимающее весь проход. Сергей сделал шаг навстречу, и уже путь преграждала не его голова, а голова быка, в которой было столько мощи, что она могла рогами поддеть и скинуть весь груз земли, нависший над ними. Бык не давал пройти и не давал развернуться и уйти от него... Яростно блеснули глаза, блеснули два кривых клинка, обдало жарким зловонным дыханием, и тяжкий хрип пронизал Сергея...

Очнулся он с мыслью об одиночестве. В одиночество легко уйти. Из одиночества трудно выйти. Одиночество – лабиринт, в котором тебя за углом поджидает Минотавр – ты

сам. Растерзать самого себя – не это ли смысл мифа о самом себе, не это ли цель желанная?.. Тебя не спасет Тесей. Ибо Тесей – тоже ты сам. Ибо ты един во всех мыслимых тебе лицах. Тебя не спасет Ариадна – ибо она даст тебе клубок нитей, которые еще сильнее запутают тебя. Клубок ведет тебя к выходу, а он оказывается всего лишь входом. Входом в лабиринт, то есть в самого себя. И стоит тебе увидеть чуть брызнувший свет, как ужас повернет тебя и погонит прочь в темноту. И все начинается вновь.

В одиночестве есть что-то абсолютное, как в абсолютной пустоте или молчании. Ни один звук, ни одна искорка не потревожат тушу первобытного нечто. И ты в этом нечто не видишь, не слышишь, не ощущаешь ни постороннего, ни своего. Может быть, это ты уже превратился в то самое нечто? Ты не видишь даже тени времени, бегущей по стене отчаяния. Не слышишь потрескивания и не видишь пламени свечи, в котором сгорает твоя жизнь.

Сергей долго пытался отвлекать себя подобными рассуждениями, и когда ему стало казаться, что он занимается ими уже всю свою жизнь, во всяком случае не меньше суток, когда он страшно устал от них и ему захотелось действительно найти молчание внутри самого себя, он понял, что этого молчания никогда не будет, он понял, что прошли не сутки, прошла жизнь!

Ему вдруг захотелось страстно бежать куда-то, мчаться, сломя голову. Он вскочил, подпрыгнул – пустота! Кинулся

влево – препятствие! Вправо – тоже! В отчаянии он сел на пол, прикрыв от сполохов далекого внутреннего света свою голову. Выхода нет, стал убеждать он себя. Все вопило в нем: выход есть, он обязательно должен быть. Он тут. Сбоку, наверху, под ногами, в конце концов! Выхода отсюда нет, убеждал сам себя Сергей. Выход отсюда один – через самого себя. Уйти в себя, блуждать там по лабиринту. Сразиться с собственным Минотавром. Спутать этот чертов бабий клубок. Проломить в себе стены и вырваться к свету! Только сосредоточиться. Только сосредоточиться. Только найти в себе силы не паниковать. Только найти в себе силы погрузиться в самого себя. Вот так, сперва по пояс. Ах, как холодно и одновременно горячо! Потом по шею. Потом с головой. И не дышать. Не смотреть. Не чувствовать и не слушать. Замереть. Прислушаться к тому нечто, ибо то нечто и есть ты. Разбуди его, расшевели, он проснется, потянется и поможет самому себе найти естественный выход, о котором ты при рождении забыл. И я выйду к ним, к людям.

Сергей уже не удивлялся этой мысли. Если раньше он воспринимал всех людей как некую темную массу, враждебную ему, то стал воспринимать ее сейчас, эту массу, в самом себе как нечто желанное, светлое, что позволит ему стать самим собой.

Почему эти мысли пришли ко мне, когда я не слышу их лживых слов и заверений, когда я не чувствую в пальцах слизь их страстей и труху обещаний, когда я не чувствую

гнилой запах их мыслей и мускус подмышек, почему? Истинно, прозреваешь только в темноте. Как Эдип.

Я убил своего отца? Я убил его? Не может того быть! Он сам погубил себя, сам. Ну, что он выскочил? Зачем? Мои проблемы, я их сам и решу. Зачем? Зачем он вышел? Там же еще Гурьянов был?.. А тот где?

Отец достал всех своей неудержимой страстью раскрыть истину. А она вот тут, во тьме, во тьме сознания. Зачем он вышел? Бедная мать! Как она теперь там? Отца нет... Может, жив? Нет, после такого удара... Он во мне, во мне, раз я думаю о нем. Мама, прости меня! Папа, прости и ты, если можешь простить!

Никуда он не делся. Он весь влился в меня. Теперь его отчаянные попытки понять самого себя будут раскачивать меня, как утлое суденышко над пучиной.

Да, прозреваешь в темноте, а общность постигаешь в изоляции. Правильно, когда общество изолирует от себя индивида, оно тем самым приручает его к себе. Как дикого необузданного зверя. Оно умиряет его, холостит, принуждает к повиновению. Но зачем? Что, общество – тоже организм, не зависящий от составляющих его индивидов? Даже если все индивиды хотят одного, общество дает им всем другое?

Вот он, основной закон жизни; и кто не понимает его – тот дурак; кто оспаривает его – тот самоубийца; а тот, кто пытается индивидам внушить мысль, что все зависит только

от них самих, – преступник. Преступник, преступник, преступник. Трижды преступник он, и трижды пусть будет проклят!

Мы девять месяцев находимся в полной изоляции внутри материнской утробы, внутри Вселенной, где один Бог – мать. Нам дано девять месяцев на то, чтобы подготовиться к появлению на свет, мы девять месяцев, уверен, думаем только об одном: как нам достойно провести наше заключение в этой светлой клетке жизни, не свихнуться, не преступить законов, которые составляют здоровую структуру, не распасться вследствие этого и достойно покинуть эту жизненную тюрьму.

Предположим, я вернулся в утробу, чтобы вновь обдумать все. Мне предоставили эту возможность. Дали этот шанс. Его нельзя упустить. Его нельзя убыстрить, нельзя отринуть, нельзя убежать от него. Его надо поднять, взвалить на себя и нести, покуда хватит сил. И тогда, когда сил уже не будет, когда ноги превратятся в голые кости, и тогда надо идти, не сваливая с себя этот груз, так как без него ты превратишься тут же в пыль, в ничто, и тебя сдует первым же мановением ветра и разнесет без следа во все стороны Вселенной.

Сколько сил было приложено в природе к тому, чтобы из пыли на свет появился именно я, чтобы именно я осознал это и не отказался от самого себя. Вот почему самоубийство – самый большой грех. Но как же тогда все живут? Да так и живут, через самоубийство, отказываясь от самих себя, от-

казываясь от того, к чему их предназначило Провидение.

Эти мысли помогли ему в первое время заточения. Иногда его охватывала паника, но он уже легче изгонял ее из себя. Он уже нашел способ борьбы с ней в партере, когда она, казалось, уже пересиливает, но не знает еще всех твоих сил.

Потом он стал ощущать себя на краю пропасти. Он прижался спиной к шершавой холодной стене. Мимо лица срывались капли конденсирующейся на уступах влаги, из-под ног и от спины падали вниз и булькали глухо где-то далеко внизу (на счете пятнадцать) каменные крошки, шорох крыльев слышался в вязкой тьме – или то сворачивался ко сну его прежний ужас? Это мама плачет, это она летает и ищет меня, думал он...

Наверху послышался шорох. Вроде как шаги. Он закричал, но голос свой не услышал. Голос был словно залит черной смолой, увязли в этой липкой мертвой смоле тоненькие лапки голоса, тельце его все ближе и ближе к черной липучке, еще одна конвульсия – и тельце навсегда уйдет на дно липкой ядовитой черноты.

Он прыгал. Или ему казалось, что он прыгает. Он кричал, или ему только казалось, что он кричит. Послышались шаги. Легкие, словно ангелы ступали по потолку.

Вот и конец мой пришел, подумал Сергей. Но пришла и давно не приходившая трезвая мысль: если я думаю про свой конец – это еще не конец.

Долго толкали шкаф. Сдвинули, открыли люк. Сергей за-

крыл глаза...

Как он очутился наверху, он не понял.

Выйдя на свет, он не увидел его.

Открыл глаза и ничего не увидел.

То есть он видел все, но открытыми глазами мертвеца.

Прозрачные ослепительные силуэты в прозрачном ослепительном воздухе. Через какое-то время силуэты и воздух стали отдаляться друг от друга, хотя не было еще ясно понятно, где силуэты материального мира, а где воздух воображаемого.

Оказалось, это дети случайно зашли в дом и случайно слышали слабые звуки под полом. Случайность, помноженная на случайность, дает вероятность жизни. Ее практически у Сергея не было, но оказалось, что есть.

От слабости он не мог ступить и шагу. Приехала скорая помощь, увезла его в больницу. Там Сергей узнал, что пробыл в подполе без еды, воды и света ровно неделю.

Как же так, недоумевали многие, разве можно семь дней провести без воды?

Можно, говорил Сергей, если нет еще и света. Вода нужна, оказывается, только на то, чтобы расщеплять в организме свет. В этой новой реальности время приобретает совершенно другую протяженность, в этой реальности организм живет и питается другими вибрациями: вибрациями ужаса. Вода ему не нужна. Вода от ужаса может превратиться в лед, и лед этот будет крошиться и взрываться от внутреннего, про-

низавшего его насквозь, ужаса.

Он был еле живой от усталости. Глаза смыкались сами собой. Он буквально рухнул на кровать, не успев ответить на вопросы врача. Но только закрылись глаза, как на него тут же буквально обрушился ужас темноты. Темнота сводила его с ума. Ночь он не уснул и бредил наяву. Ему мерещились ангелы, которые вели души на водопой, как овец. Души пили невидимую воду с закрытыми глазами, и блаженство стояло вокруг них в форме яйцеобразного нимба.

Три месяца Сергея лечили психотропными средствами, приучали спать сначала при ярком свете, потом в затененной комнате, потом уже в темноте. Уходил каждый раз страх плавно, как вода с песчаного берега, а накатывал холодной волной и сразу погружал всего с головой.

Еще полгода Сергей не мог засыпать без яркого света и месяца два приучал себя спать с ночником. Он даже в полудреме то и дело открывал на мгновение глаза, как бы проверяя, не пришла ли из Вселенной эта жуткая крошечная мгла.

Потом долго еще любой звук ударял сразу по нервам. Даже скрежет табуретки о пол, когда ее двигали в лоджии, вызывал в организме нестерпимую боль.

Много месяцев он не решался выйти на улицу. Шум улицы, ее разноголосица давили на него, как на папуаса.

Когда он первый раз вышел из дома, то увидел двух парней у соседнего подъезда. И один громко говорил другому

(неестественно громко, будто нарочно хотел, чтобы его слышал Сергей):

– Темно, хоть глаз выколи. Иду, сам не пойму куда. И вдруг рядом, в натуре, под боком, вот так вот: цок-цок-цок! цок-цок-цок! Ну, думаю, хана! Счетчик включили.

– Кто?

– Да мало ли кто! Да хоть этот, – парень, хмуро окинув взглядом Сергея, кивнул вверх. – Я быстрее, и тиканье быстрее, я замедляю ход, и тиканье замедляется. Первый раз чуть в штаны не наложил, вот те крест! Веришь, шерсть дыбом встала.

– На ком?

– Чего на ком? На мне – на ком же еще? А на свет вышел – собачонка рядом бежит. И когтями по асфальту: цок-цок-цок! цок-цок-цок! А кругом темно, как у негра в жопе.

Сергей, съезжившись, поспешил уйти. Не от испуга. Не оттого, что он испугался за себя, а оттого, что он боялся причинить другому человеку зло. Ему показалось в этот миг, что говорящий был одним из тех, что кинули его тогда в подвал.

Господи! Когда я избавлюсь от этого кошмара!..

И вдруг на остановке автобуса он столкнулся с Яной. Он вздрогнул от неожиданности.

– Как ты? – спросил Сергей, хотя прекрасно видел, как она. Она стала той, кого называют «бабочкой», «куколкой», всяко называют.

– Хорошо, – с профессиональной улыбкой сказала Яна.

– И я хорошо, – сказал Сергей, хотя видел, что Яна смотрит на него с жалостью и не видит в нем ничего хорошего.

– А вот мой автобус, – встрепелась Яна, вспрыгнула на подножку и обернулась в дверях. Глаза ее были полны слез.

– Я прощаю тебя! – крикнула она и помахала ему рукой.

Оказавшись на каком-то пустыре, Сергей поднял голову к небу и закричал:

– Господи! Почему все прощают меня? Ты слышишь? А кого простить мне?

Это был одинокий крик. Не залаяли даже собаки, не каркнула даже ворона. И Бог не услышал. Или был в этот миг страшно от него далек.

16. Восторг души и пламень сердца

И вот после того, как они вновь обрели друг друга, оба они оказались на небесах. И на груди их болтались дощечки «Моня» и «Маня». И стали по небесным законам – он Мо-нею, а она Манею. Художник с бородой и табличкой «Отец» так и прозвал их: Моне и Мане.

Он на ставке «спец по моностиху», она – «спец по дистиху». Но ставка у нее двойная, так как для дистиха требуется работать в два раза больше. Моня стал возражать: у женщин, мол, и так язык мелет в два раза шустрее, за что же тогда платить, за природу не платят, хоть и арендуют; но его не стали слушать.

Здесь нет ни мужчин, ни женщин, сказали ему, и вообще помолчи, когда не спрашивают. Оказывается, уже подвели итоги конкурса под девизом «Кто кого?» И уже определились финалисты: Моня и Маня. И у каждого были свои бөлельщики. Полнеба за него, а другая – за нее. И все ангелы. Так что тут лучше, конечно, заткнуться и помолчать. Объявили финал. Трубой. Заложило от грома уши.

И «Отец» воскликнул:

– Сходитесь!

И Моня, терзаемый творческим зудом, с криком, похожим на вопль, сорвался с небесной площадки и полетел над землею. Он моностихи посылал очередями, как поэму или

сонет.

И на каждое восклицание Мони тут же отзывалась Маня. На каждую его строчку двумя своими. И каждый раз складно, хотя непонятно, кому нужен был этот склад. Но две четверти небесного полушария жили каждой своей жизнью, и одна болела за него, а другая – за нее.

– Как, подскажи, жениться на Царевне Спящей?! – рыдал Моня.

– Ах, знал бы принц, что Спящая Царевна – не девушка, а бабушка его! – издевалась Маня.

Когда Моня (с досады) попытался овладеть Манею чисто физически, а не стихом, и не смог, он забил крыльями и оглушительно заорал в неизбывной тоске:

– Овладевайте знанием, как девой!

А Маня поправила его:

– У евнуха большой житейский опыт! Невинность девушкам дается на всю жизнь!

– Холостить его! – прогремело по небу.

И небо накренилось, и с него скатилось солнце, а с другого бока напозла луна. Моня соскользнул с неба и камнем полетел на землю.

– День завершен благополучной смертью! – вопил победно он и не расслышал, что кричит ему вдогонку Маня.

А вверху орал художник, что с бородой и табличкой «Отец»:

– Игра сделана, дети мои! Ставок больше нет!

Упал Моня на землю и обернулся козликом не козликом, а Лешей Гурьяновым, а Маня так на недостижимой высоте и осталась, только не Маней, а Настей Анненковой. Причем Леша Гурьянов как был, так и остался холостяком, а Настя Анненкова все так же в браке с Женей Суэтиным...

Н-да, подумал Гурьянов, перебрал я вчера. Что за дичь я орал во сне? Свой меч перековал я на орало?

Почему «брак»? Если браки заключаются на небесах, то кто же тогда бракодел?

И вдруг он почувствовал себя плохо. Его стало трясти в ознобе. Что же это я? Какой там счастливый брак? Ведь вчера было девять дней! Это же мы с Дерюгиным сидели рядом. Господи, что со мной?! Женя, Женечка, прости меня, ради бога, прости!

Надо к Насте сходить. Вчера ляпнул ей что-то не так. Что-то злое. Нехорошо как...

Гурьянов позвонил Дерюгину – никого. Через пять минут еще раз – длинные гудки. На третий раз трубку взяли.

– Да? – отозвался невидимый старик.

– Извините, я ошибся, – хрипло сказал Гурьянов.

– Леха, ты, что ли? – спросил Дерюгин. – Что с твоим голосом?

– Я. Ты дома?

Трубка сипло дышала. У нее не было сил.

– Жди. Еду. Возьму.

Гурьянов вздрогнул – из зеркала в него уставился чужой.

Опухший, как Поволжье в последние семь столетий. О, господи, неужто я? Гурьянов улыбнулся себе, но безответно. Взяв в гастрономе пива с водкой, залез в троллейбус. Едва не уснул в пути. Хорошо, кто-то задел по уху. На нужной остановке. Ничего не бывает случайным. Даже по уху дают тогда, когда надо. И Дерюгин тогда хорошо припечатал. При знакомстве. Печать дружбы навеки. Самая жесткая фигура – треугольник. Нет треугольника! Чего там в бреду я читал? Летая под небесами? Моностихи? Бред! Подлечусь, все образуется.

– Толя, треба лечиться! Симптом одолевает. Моностих.

– От моностиха, Леша, выпей на ночь снотворное со слабительным. Тут же оставит тебя. У меня, Алексей, жизненная драма. Семейная. С поминок вчера пришли, и я... Нехорошо поступил. Обидел жену прямо в глаз. Зинка тут же мне заявление: чтоб выметался к чертовой матери. Сутки на сборы. А я вчера вообще был как голый нерв. Нехорошо получилось. Может, уладишь? У тебя получается с аргументами.

– Улажу, – пообещал Гурьянов. – Только сперва выпьем маленько. Я вчера тоже был хорош. Что я там Насте брякнул?

– Ничего не брякнул.

– Обиделась она на меня за что-то. А за что?

– Не бери в голову! Ей вчера не до обид было. Улажу я, Леша. Ты, главное, мне с Зинкой уладь! А я тебе с Настей улажу. Она же не родная тебе.

И Гурьянову почему-то больно стало от этих слов: «не

родная».

– Не родная, – сказал он.

Ах, почему мужчины собираются в гаражах? Почему так любят посидеть на кухне? Почему в минуты, когда сознание их сужено до размеров кирпича или бетонного блока, им подвластна Вселенная? Какая радость переполняет их? Радость – от водки? банки бычков в томате? луковицы? граненого стакана? газеты-самобранки? Почему горят глаза, почему трепещет сердце? Откуда безудержная тяга к общению, кто выбирает темы для разговоров по душам, а еще вернее, для задушевных бесед – о чем? о ком? Какая разница? Хоть ни о чем. Хоть ни о ком. Хоть сразу обо всем на свете.

Спросите у них в этот момент: где семьи их, где женщины, где дети? Не скажут. Поглядят на вас пустыми глазами. Ибо у них они наполнены другим. Ибо забыли они на час-другой обо всем, что отрывает их от самих себя. Это самые светлые и самые чистые дни в их жизни, когда они вновь дети, когда с их плеч снят груз ответственности за жизнь.

И как же ошибаются жены, когда судят и ругают их, и поносят почем зря. Их бы, сволочей, пожалеть в этот миг! Их бы приголубить и сказать только: «Ты посиди, родной, посиди тут, а я тебя дома подожду. Излей свою душу, затуши в ней язвы и ожоги. Я подожду тебя, мой ненаглядный, подожду!»

Но – граждане! То же самое относится и к женщинам, ко-

торых с посиделок ждут по домам забытые ими мужья. Ждут и лелеют, дурни, коварные замыслы.

Им бы всем подождать, не выворачиваться наизнанку. Всего-то часок-другой. А потом поговорить по-доброму. И все было бы замечательно. И не было бы спившегося и озлобившегося друг на друга населения, так как каждый знал бы, что дома его ждут, что он нужен, что его любят. И каждый дома был бы уверен, что к нему спешат, к нему рвутся, к нему сейчас позвонят в дверь...

– Нет, все-таки она обиделась на меня! – не унимался Гурьянов. – С чего?

– С чего? – вдруг заорал Дерюгин. – Да ни с чего! Сон ты ей дурацкий рассказал, вот с чего!

– Ну и что? Раз приснился. Потому и рассказал.

– Зачем рассказал?

– А что в нем такого? – наморщил лоб Гурьянов и тут же вспомнил, о чем он рассказал.

Это и не сон был. Настя рассказала про серую лошадь, а он спяна: и я, мол, тоже накануне видел сон. И рассказал. Зачем?

Будто бы пришел он на остановку автобуса. Тогда еще, четверть века назад еще до их знакомства. Когда «Три товарища» только подготавливались в небесах. Вроде как и выходной день, а надо ехать куда-то. Толпа приличная ждет автобус. Прямо перед остановкой громадная лужа. Густая, кофейного цвета. Гурьянов будто бы в белых брючках, отутю-

женный, напомаженный, не иначе на свидание едет. И автобус в это время показался вдали. Гурьянов, сильно изогнувшись, чтобы не замараться, как-то задом обходит лужу, а автобус уже тут как тут. Остановился как раз напротив Гурьянова. Толпа подалась к нему. Гурьянов зашепел влезть первым. Дверь автобуса открылась, показался почему-то Суэтин, кивнул ему и спрыгнул с подножки. Гурьянов успел заметить, что Евгений был в странных резиновых калошах, которые уже лет двадцать не носит никто. Спрыгнул и тут же ушел под воду, а вода, всколыхнувшись, стала штопором уходить вслед за ним. Гурьянов оторопело смотрел на воронку и думал о своих чистых белых брюках. В это время из-за автобуса вывернул Дерюгин, бросил на ходу – что же ты! – и вниз головой прыгнул в канализационный люк. Слышно было, как Дерюгина увлекает и бьет по трубам поток, как он страшно ругается, как голос его становится все тише и тише. Гурьянов понимает, что ему надо тоже броситься в люк, но отдает себе отчет, что это совершенно бессмысленно.

А может, это был все-таки сон?

– С тобой, Толя, – говорил в стол Гурьянов, – ты не обижайся, надо все время разговаривать. Чтобы беседу поддерживать. Нет, это прекрасно. А вот с Женькой я мог молчать часами. Мы с ним прекрасно понимали друг друга и так. А если говорили, то одними словами и об одном и том же. Мы с ним, видно, выросли из одного двудольного зерна времени.

– Леша, – со слезами на глазах говорил Дерюгин, – Леша,

как же так? Ведь вот только что мы втроем сидели тут...

Дерюгин вдруг сорвался, схватил выдергу, сдернул табличку «Три товарища» и стал колотить ее со страшной силой. А потом плакал и молотком выпрямлял ее на верстаке.

А Гурьянов никак не мог понять, куда же делись все слова, которые звучали в этом гараже столько лет. Если они звучали, должны же они где-то осесть, должны они где-то храниться, должны хоть кого-то еще волновать?

Посидев в гараже, друзья решили зачем-то заглянуть на речку, на то место, где они любили сиживать втроем. Выпили, во всяком случае, они каждый в полтора раза больше обычного. Раз третьего не дано. Гурьянов потом никак не мог вспомнить, что понадобилось им конкретно в тот раз возле реки, но что потащил Дерюгин – он помнил прекрасно, и совесть его хоть в этом не мучила.

Когда они возвращались с реки (а может, только шли туда?), надо было перейти через железнодорожную насыпь, на которой вечно стоял состав, чуть ли не со времен гражданской войны. Состав был длиннющий, вагонов сто, и обходить его что справа, что слева было бессмысленно. Никто никогда не обходил. Полустанок охраняли плакаты: «Не подлезай под вагон!», «Выигрывая минуту, можете потерять жизнь!» и тому подобное. В лицо потенциальному нарушителю железнодорожных заповедей свирепый мужик с плаката тыкал толстым пальцем. Гурьянову показалось, что он насмешливо и с подначиванием посмотрел на Дерюгина и заговорщицки

подмигнул Гурьянову.

– А полезем! – сказал Дерюгин. – В жизни ничего не выигрывал. Может, минуту выиграю? Ну, е-пэ-рэ-сэ-тэ!

Дерюгин поднырнул под вагон, и состав в эту минуту дернулся. Выцветший от времени плакат окрасился от упавшего на него солнца в красный цвет, и мужик на плакате многозначительно подмигнул Гурьянову. Потом поднял толстый палец вверх и произнес: «Я же говорил!»

– Сволочь! – заорал Гурьянов. – Сволочь! Сволочь!

17. Трехлапый Джон Сильвер

На сорок дней Настя пошла на кладбище через весь город пешком. Ей не хотелось никого видеть. Хорошо, что никого и не встретила. Была среда, день предательств и отступлений. На кладбище народу было мало. Не считать если тех, что внизу. Все отдыхают, почему-то подумала Настя. У нас День города, а здесь, по аналогии, наверное, Ночь. А еще у нее вертелась в голове фраза из детства: «сорок сороков». Что это такое – она не могла вспомнить. Перед поворотом направо, на развилке, где два дня назад лежала земля из выкопанной ямы, уже была чья-то могилка. На могилке, свернувшись калачиком, лежала рыжая собака. Она положила голову на передние лапы и смотрела на Настю. Настя вздрогнула: собака была точной копией собаки из ее вещего сна.

– Дружок, – машинально сказала Настя и прошла мимо.

– Подайте, Христа ради, – подошел к ней молодой еще мужчина с запахом старого перегара. Настя дала ему два рубля. Тот поглядел на монету.

– Может, добавьте? – сказал он и тут же шарахнулся в сторону от взметнувшегося кулака. – Премного благодарен!

Настя положила цветы, постояла, задумавшись, над местом, где теперь век лежать ее мужу, куда отворили двери для его брэнного тела, посмотрела вверх, куда в растворенные Богом ворота унеслась на светло-сером коне невидимая

его душа, потом по сторонам, на окружающий ее сверху мир деревьев, населенный белками и сороками, и поддерживающий его снизу подземный город, жители которого так редко бывают в гостях друг у друга. А может, наоборот, они постоянно вместе, подумала Настя, и им вместе не так одиноко, как было здесь? На кладбище честолюбия могил не меньше, чем на кладбище чревоугодия. Жить надо скромно, подумала Настя, так, чтобы гвозди в гроб не вгоняли торжественно и громко. О чем это я? Какие гвозди? Это воспоминания детства: тогда гробы заколачивали с каким-то шальным ухарством, зажав гвозди в зубах.

Как глупо все произошло, как глупо! Я-то, я-то, не могла прийти раньше всего на один час! Дался мне этот хор! Да, хор непременный атрибут всякой трагедии. Опоздала на час – опоздала на жизнь. Что-то похожее висит под мостом. Выиграешь минуту, потеряешь жизнь. Выиграла целый час! Потеряла шестьдесят жизней...

Приложила она к сердцу ком могильной земли, но не отлегла скорбь, нет, не отлегла!

Но кто это – женщина с букетом белых роз? Морок.

Опять бомж. Он было направился к ней, но потом резко свернул в сторону.

Часа два простояла она почти в полной тишине. Здесь, лицом к лицу со смертью, она впервые в жизни ощутила время не как стремительный поток, рвущий ее на части, уносящий от самой себя, а как неотъемлемую часть самое себя. Время

бушует внутри нее, и только она сама может его укротить, успокоить и даже, кто его знает, повернуть вспять. Внутри были какие-то голоса из давнего и недавнего прошлого, но они таяли, не успев толком запечатлеться в ее сознании. Из гула и свиста выплыл вдруг голос Гурьянова:

«Сидим мы, значит, вот тут... Перед экраном... О чем-то говорим... О чем?.. Звонок. Думали, ты. Шум в коридоре. Сергей с кем-то говорит. Женька встал... Еще почему-то взглянул на себя в зеркало. Знаешь, когда из дома уходят, в зеркало глядят... Я ему: сиди, куда ты? «Что-то не то», – сказал и вышел... Ну, а потом... потом слышу, спрашивает, кто, мол, такие и что надо. А потом... глухой стук, возня какая-то, дверь хлопнула. Я выскочил. Он лежит, а Сергея нет. Тут же дверь внизу хлопнула, машина загудела. Огни не зажигали, я в окно глянул. А потом позвонил... ты пришла... Что потом? Потом все уже поздно...»

На мгновение замерло сердце: по аллее шла женщина с розами. Нет, показалось...

«...Скажи ему при жизни, что так вот умрет – не понял бы и обиделся еще... Всю жизнь куда-то спешил, что-то свершить хотел... Высокое...»

Настя представила мужа, всегда такого стремительного, неумного, жаждущего все получить тут же, сей час, непременно. Он бы и здесь, над собственной могилой, не смог выстоять спокойно и пяти минут. Словно тянул его кто-то в пропасть. В его записях все математические выкладки

обернуты лентой, исписанной словом пропасть. Конечно, его подкосили последние годы, но кого они не подкосили? Все спешил, тянул на себя года, рвал их, отбрасывал прочь, будто впереди они были лучше. Злой стал в последние дни, желчный.

– Почему ты не любишь людей? – спросила она.

– Ты ошибаешься. Я люблю людей за то добро, которое хотел им сделать.

– О, как горят глаза у иных поэтов, когда они слушают стихи другого поэта! С таким же неподдельным интересом собаки нюхают на пригорке чужое собачье дерьмо, – сказал он как-то вечером, когда они возвращались с презентации сборника стихов Гурьянова.

– Ужасно! Это ты сказал ужасно! Ужасно ты это сказал! – воскликнула она.

– Почему? – возразил Женя. – Это единственное, по чему собаки судят друг о друге: здоровые они или больные. Судят, по-моему, вполне здраво. Человеку бы так! И к больной собаке здоровая не подойдет, а здоровую обнюхает, да еще не раз.

– Но стихи!

– Что стихи? Стихи-стихи! Стихи все пишут! По стихам точно так же видно: болен поэт или здоров. Если болен, пиши. Если здоров, разгружай вагоны. И вообще, в здравом рассудке писал стихи только Гомер. Наверное, потому что он их пел. И наверняка считал себя композитором, а не по-

этом. «Илиада» была всего лишь словами к его песне вечно-го странника. И вот этот слепец повел за собой тысячи еще больших слепцов, и все они свалились в яму, где делать больше нечего, кроме как писать сонеты и поэмы!

– Чем тебе насолил Гомер? – спросила тогда она. Зачем спросила? Ведь он уже начинал прозревать.

Ей припомнилось, как он бросил недавно, между прочим: пожил, мол, пора и на покой. Странно, что он даже мог подумать такое! Эх, Женя, оставил меня одну! А ведь он наверняка в свой последний вечер обсуждал с Алексеем что-нибудь прекрасное... И Толи не было, он бы не допустил этого, он... Почему же рядом оказался Гурьянов, а не я? О, Господи, прости! Где же я-то была? Ты все пела – это дело!

Настя вспомнила, как однажды Гурьянов плакался: помру, мол, тогда оценят; а Женя ему: поэт, как актер, нужен при жизни. А математик разве не нужен?

Куда свернула эта женщина с белыми розами?..

Когда Настя возвращалась домой, она увидела рыжего Дружка на том же самом месте. Он по-прежнему лежал, положив голову на передние лапы. Как он похож на Дерюгина! Словно Дерюгин пришел на могилу друга... Нет, там ближе.

– Дружок! – остановилась Настя возле него. Протянула собаке печенье.

Пес встал и, потянувшись, подковылял к Насте на трех лапах. Задняя правая лапка болталась на одной только шкуре.

– Бедный ты мой! – ударила Насте в голову жалость. Она

представила похороны его хозяина: пес мешает всем, вертится под ногами, его гонят, бросают комьями земли, машут лопатой, невзначай или специально попадают лопатой по лапе. Теперь ему, несчастному, хромать всю жизнь. Трудно ковылять, Дружок? Ждешь, когда вернется хозяин? Жди-жди... Настя скормила ему всю пачку печенья. Пес вернулся на прежнее место. Настя несколько раз оглядывалась, пес глядел ей вслед. Потом был поворот, и Настю вынесло в обычную городскую сутолоку. Гурьянов...

«...О тебе, Настя, много говорил... А потом вдруг, ни с того, ни с сего: а ведь когда я умру, некому будет и вспомнить о том славном времени... Что он имел в виду?..»

В следующий раз Настя пришла проведать Женю только через неделю и сразу же увидела Дружка на могиле.

– Ты здесь? – Настя не удивилась, увидев его. Как же она забыла о нем? Ведь он вызвал в ней в прошлый раз такое острое чувство жалости! – Чем же тебя угостить? Прости, миленький, сегодня у меня ничего нет.

Пес снова положил голову на лапы.

Возвращаясь, Настя позвала его за собой. Пес глядел на нее, раздумывая, потом поднялся. Перерубленная лапка больше не болталась. Видно, отпала сама собой. Всю дорогу Настя рассказывала псу о своей жизни. Пес, покачивая головой, плелся рядом.

Возле дирекции кладбища Настя увидела нескольких мужчин. Она подошла к ним и спросила, где тут можно ку-

пить печенье или колбасу.

– Помянуть?

– Да вот ему.

– Сильверу? Да он сытый! Его тут все подкармливают.

– Печенье съел в прошлый раз.

– Печенье он любит.

– А кто ему лапу так?

– Да сам виноват. Машину подавали назад, а он подлез.

Он ее потом сам и отгрыз себе. Болталась, как тряпка.

– Я видела, – сказала Настя. От этой прозаической подробности ей стало невыносимо жалко собаку. – Пойдем со мной, – позвала она пса.

Мужчины одобрительно заговорили все разом.

– Бери, бери, не пожалеешь: надежный пес. Лучше мужа! – засмеялся толстяк.

Настя заметила, как его подтолкнули в бок.

– Спасибо, – сказала она и пошла с Сильвером к остановке автобуса.

Мужики долго смотрели ей вслед. Тоже люди, подумала Настя. До сих пор она воспринимала всех работников кладбища, разумеется, не как прислужников дьявола, но и как не совсем реальных людей, с которыми можно запросто поговорить о погоде или попить чайку. Даже с ее жизненным опытом с ними можно было, как ей казалось, реально общаться лишь через бутылку или сотенную. Одно то, что они отворяли врата земли и отправляли в них очередную жертву болез-

ни или несчастного случая, населяло душу Насти суеверным ужасом. Сказано: не бойся смерти. Сказано, да не услышано почти никем.

– Что же мы будем с тобою делать, Дружок? Сильвер. Нет, давай лучше по-нашему: Дружок. У нас все Тимошки были. Вот пришла пора и для Дружков. Подожди меня здесь, я тебе колбасы куплю. Кровяную хочешь или ливерную? Жди.

Она нашла спустя месяц после похорон мужа записку под настольной лампой, которую тот написал, видимо, за день до смерти. «1) Вымыл пол. 2) Сходил на рынок. 3) Прибил полку. 4) Полил цветы... А жизнь прошла...»

На полгода Настя приехала на кладбище, но из-за сугробов не смогла пройти к могиле. Она прошлась по аллее туда-сюда. Вокруг был пронизанный солнцем бор, белизна снега и синева неба, глубокая тишина – и Настя отчетливо услышала, как ее душа, точно собака, потянулась, зевнула и стала радостно драть лапами мерзлую землю. Она вспомнила, что Женя говорил ей как-то о точно такой же минуте в его жизни. «Неужели ты оставил меня?» – подумала она.

Настя поняла, что для нее, как для собаки, не было ни прошлого, ни будущего, ни рождения, ни смерти, ни воспоминаний, ни фантазий, ни разочарований, ни надежд. Для нее было в этот миг только счастье этого мига солнечного бытия, и оно было воистину бессмертно, так как это была не умершая, не умирающая любовь.

«О, Земля, прими в свое лоно усопшего мужа, – произнес

Гурьянов над гробом Евгения. – Да обретет он и там мир и блаженство души». Ее всю передернуло тогда. И тут же стало стыдно, что раздражение пересилило горе.

– Мог бы у могилы и без своих стихов! – в сердцах сказала она на поминках. – И без лона!

Гурьянов много выпил, но сказал тихо:

– Бог с тобой, Настя! Они не мои. Это Феэтет так сказал о Кранторе. Один греческий мудрец о другом.

– Так что ж ты тогда повторяешь!

– Потому и повторяю.

Прости, прости и ты меня, Лешенька, прости! И ты, Дерюгин, прости. Что же ты, Толя, так – оставил Зину тоже одну?

18. Настенька

Так же, как белый цвет есть смешение всех прочих цветов, а прозрачная ясность дня получена от слияния света и тени, так и белое ясное чувство старости – есть результат смешения ярких, в том числе и противоположных, чувств всей жизни. Пусть чувство это кажется несколько бледным и оттого слабым – это обманчивая слабость! На самом деле это самый сильный и жизнестойкий цвет, так как он вобрал в себя и пережил все остальные. Юношеские метания, право, щенячий писк и напрасная трата времени. Кажется, что старость, доживая эту жизнь, бездумно и бездарно расходует последние ее крохи. Как это ошибочно, господа! Если у вас появились вдруг такие мысли при взгляде на старика, эти мысли завелись в вас самих, от собственного невежества и грязи.

Аглая Владиславовна подняла голову и сделала над собой усилие, чтобы взглядеться в лицо женщины, склонившейся к ней. Для нее все лица уже потеряли свою выразительность и очертания, так как все они были, как правило, безликие. Оттого, быть может, что за ними не угадывалось души. Да и ей, по правде говоря, не хотелось больше вглядываться ни в кого. Она уже всех их пропустила через себя. Все они уже должны быть от нее далеко-далеко. Невозвратно далеко.

– Настя, – узнала она. – Настенька.

– Вы почему сидите здесь на камнях? Простудитесь!

– Не простужусь, Настя. Я давно на них сижу. От камней не простудишься.

– Да почему вы здесь? Почему не дома?

– А это и есть мой дом. Дворец – из мрамора и гранита.

Не каждому в конце жизни жить в таком.

– Вам, что... негде жить? Вставайте, пойдем ко мне. Я вот булок купила, чаю попьем.

– Чаю? – оживилась Аглая Владиславовна. – Давно не пила чаю. Помоги-ка мне. Я, Настя, все кока-колу пью, вернее – допиваю, – хихикнула она.

– А я вас давно не видела. Наверное, лет двадцать, – Насте стало вдруг тревожно, будто она очутилась на краю пропасти глубиной в двадцать лет. Она, наклонившись над старой учительницей, смотрела на нее, узнавала и не узнавала ее и чувствовала, как тело ее инстинктивно подается назад, точно и впрямь боится свалиться в разверзшуюся бездну.

– И я тебя давно не видела. Да и других никого... – Аглая Владиславовна, протянув Насте руку, задумалась, вспоминая, кого же она видела в последний раз. – Да и где бы я кого видела? Я тут все сижу, а вы все работаете. Работаете? Кем?

– Работаю помаленьку, – Настя не стала уточнять, кем.

– Я помню твою защиту. Тогда много о ней говорили.

– А я вот здесь теперь живу. Как мама умерла, сразу и въехали сюда. Еще в восемьдесят втором.

– Славная была женщина. Красивая. Анна... Ивановна? Царствие ей небесное, славная-славная. Таких мало было родителей. Ты смотри, рядом с метро! Ты тут почитай каждый день по два раза ходишь, а я тебя не видела ни разу. Или у тебя машина?

– Продала. Некогда с ней. Да и не люблю я машины.

– Я их тоже не люблю. От них такое амбре.

– Да, сегодня содержать ее – с ума сойти можно.

– Сегодня сойти с ума – значит, остаться при своем уме.

Надо же: динозавры вымерли, а вот машины не вымрут!

– Скорее мы вымерем, Аглая Владиславовна.

– В тебе не было этого пессимизма. Что-то случилось?

Насте стало смешно: не виделись двадцать лет, а вопросы задает, будто общаемся каждый день!

– Случилось? Столько всего случилось, что уже все равно, что случилось.

– А я сижу там на граните и все Лермонтова читаю. Вас вспоминаю всех по очереди, а иногда сразу, как на фотографии. Так и общаюсь с вами все время. Лермонтов – он, Настя, мне понятен стал полностью тогда, когда я уж из школы ушла. Ведь вот как странно: совсем молодой человек был, а слова – словно из ларца вечности доставал. Как старик.

Аглая Владиславовна остановилась у двери в подъезд, взяла Настю за руку и прочитала едва слышно: «С тех пор, как вечный судия мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока».

В этот момент из дверей выскочил Настин сосед Симкин с злым лицом. Он что-то проорал внутрь подъезда, а потом со словами «Сука! Сука! Вот же стерва!» пролетел мимо, не заметив женщин. Опять поссорился с женой, подумала Настя. Аглая Владиславовна переменялась в лице, будто оскорбили ее.

Вот почему она не видит никого – она боится испугаться их, подумала Настя.

– Пойдемте, – сказала она. – Я здесь живу.

– Рядом с этим? – вздрогнула Аглая Владиславовна.

– Нет, – соврала Настя.

– Мне кажется, это Симкин.

– Да, – удивилась Настя, – Симкин. Вы его знаете?

– Увы. Он был прилежный ученик. Что изменило так его?

Настя отнесла этот вопрос к разряду риторических, но учительница задала вопрос опять:

– Как ты думаешь, Настя, что могло изменить его так?

– Я его совсем не знаю, – опять соврала Настя.

Не рассказывать же ей сейчас о прилежном Симкине, который, как Лермонтов, воевал в Чечне, а до этого в Афгане, Югославии, еще где-то... И не был ни поэтом, ни мистиком, поскольку с потрохами погряз в земном с девками, «бабками» и гнутыми пальцами.

– Ведь вот из благополучной семьи...

Настя с трудом сдержала себя от реплики.

– С высшим образованием. Ведь он железнодорожный

окончил...

– Не спешите, Аглая Владиславовна, здесь крутые ступени. Кому сейчас нужен его железнодорожный?

– Это так, – словно опомнившись, согласилась учительница. – Он, наверное, охранником где-нибудь служит, при чужом добре? Своей жизни-то нисколько не жалко. Пустая она у него – чего жалеть? Несъедобные плоды просвещения.

– Не знаю, – сказала Настя и поразилась ее пронизательности. – Вот мы и пришли.

Учительнице понравилось у Насти. Она с удовольствием задержалась возле книжных полок, на которых увидела красный четырехтомник Лермонтова.

– Шестьдесят четвертого года. Под редакцией Андроникова. Неплохой. О, «Роза мира»? «Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры». Я не Эдип – загадку не разрешила. Впрочем, и Сфинксу до него далеко. Чудная старуха? Чудная. Я посижу. Устала. Юбка чистая. Я газетку всегда подстилаю. Ты иди-иди на кухню, собирай чай. Я отдохну. «И ненавидим мы, и любим мы случайно...»

Настя открыла холодильник, и ей показалось, что Женя у нее за спиной. Она замерла. Учительница продолжала декламировать:

– «Ты не должна любить другого, нет, не должна! Ты с мертвецом святыней слова обречена!»

Настя вздрогнула, резко обернулась. Учительница стояла перед зеркалом и разглядывала себя.

– Не узнаю. Давно не смотрелась, а сейчас вот глянула на себя как бы со стороны и вижу кого-то чужого. В душе-то я все та же прежняя Глаша, которой папа читал «Утес». Тебе папа не читал «Утес»?

– Со сливками или с лимоном?

– Что, одновременно?

– Ну почему же? – засмеялась Настя. – Можем и по очереди.

– Я бы хотела начать с лимоном. А потом – со сливками!

– Да ради бога!

Гостья, не допив и второй чашки (со сливками), сморилась. У нее повело глаза, и Настя поняла, что встать и идти куда-то у старенькой учительнице сил не хватит.

– Может, полежите, Аглая Владиславовна?

– Что ты! Что ты! Я и так доставила тебе уйму неудобств.

– Какие неудобства? Я одна. Пойдемте, я уложу вас. Вам надо отдохнуть.

– Отдохнуть надо, – неожиданно согласилась учительница. – Ты права, у меня нет сил, даже чтобы встать.

Настя провела гостью в зал и уложила на диване.

– Я буквально на минуточку, – забормотала Аглая Владиславовна, – чуть-чуть, одним глазком.

И тут же уснула. Настя накрыла ее пледом.

Зачем-то включила телевизор. Показывали «Унесенные ветром». Фильм вывел ее из себя. Ну, кричит эта американская дура, кричит о том, что она никогда не будет больше

бедной, что она убьет любого и зарежет, кто станет у нее на дороге. О чем бы ты кричала у нас, Скарлетт, о чем? Окажись ты у нас на единственной дороге, на которой мы все и где мы все только мешаем друг другу. Ты бы всех убивала и резала? Россияне – равнение на Скарлетт! Попробовала бы ты, Скарлетт, у нас пожить, без всякого смертоубийства. Эх, в подметки ты не годишься ни одной нашей бабе! Ни одной, даже убогой старухе!

Проспала Аглая Владиславовна, не просыпаясь, до утра. Проснувшись, увидела записку на столе, в которой Настя просила дождаться ее.

Аглае Владиславовне стало не по себе. Будто укололо что-то. Ей показалось, что вчера она спросила Настю о чем-то, о чем никак нельзя было спрашивать. Она стала припоминать, но припоминались давно ушедшие годы, когда и Насти-то еще не было совсем...

Аглая Владиславовна чувствовала себя неловко из-за причиненного Насте неудобства, ну да уже ничего нельзя было исправить. Надо же, за несколько месяцев успела отвыкнуть от чая с лимоном! Как выгнали ее зимой из квартиры, так и перебивается тем, что ночует в школе, а днями сидит в метро и читает вслух Лермонтова. Понятно, до нее никому нет дела: «Какое дело нам, страдал ты или нет?» Но, глядишь, кто-нибудь да услышит: «Скажи мне, ветка Палестины: где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была?»

Услышит тот же Гурьянов (как он – надо спросить у Насти) и напишет хотя бы так: «В покрытых рябью лужах ветки. Упавший тополь слушает кого-то. Быть может, голос сломанной судьбы?» Или: «Тополь спилили. Лежит он и слышит, как рыдает земля». Или: «Надежды, опадая, обнажают ствол злобы». Впрочем, он все это уже написал.

Сидя у метро или на лестнице перехода и не прося подаяния, а читая Лермонтова и лишь изредка глядя в глаза прохожих, лучше понимаешь, что это такое: «страна рабов, страна господ». Радуешься, что всеобщее косноязычие и поголовная безграмотность уже готовы породить правильную речь. И надеешься, что у избранных мысли хоть изредка взмывают выше пупка.

19. Чем заняты жены исполняющих обязанности мужей

Черные брови, красный рот, резко континентальные черты лица, высокая грудь, полные сильные руки – полная противоположность субтильным дамочкам, которые страшно смелые, так как боятся всего, – вот он где стратегический резерв нации: в проходах и за прилавками центрального рынка. Резерв (опять же в противоположность дамочкам) привык все делать своими руками, а мужик ему нужен исключительно тверезый и при запахе одеколона со всей головы. Мужик откликается на зов: «Ну, и где ты, паразит?!» – как услышит, тут же ползет, как мураш на теплую завалинку.

Почему паразит? Потому что паразит. У Машки вон муж и у Плашки муж. А так лучше бы и не было совсем! С них хоть картины маслом пиши. И вешай над входом в дом. «Выход отца семейства из-за праздничного стола». Взгляд – стоп-кадр. Руки, ноги, голова – будто не родные и из разных мест. Язык говяжий. Мычит и ревет. Волосы спутаны. Ширинка расстегнута, галстук в соусе. Галстук прилип к рубашке. Изо рта течет слюна. На щеке алый бантик чьих-то губ. Милые женщины! С Днем защитника Отечества! А через пару недель и с Женским вас днем!

Как только попадете в мясные ряды, будьте осторожны! Когда вы поравняетесь со смазливой продавщицей, она вам

тут же попытается всучить свинину с костью по цене вырезки. Она схватит кусок в обе руки и будет вам виртуозно демонстрировать ее достоинства и скрывать недостатки. Она будет встряхивать ее, вертеть, сжимать, разжимать, приговаривать: «Нежнейшая! Свежати́на! Мед!» Свинина будет волноваться в ее руках, трястись, как плечи и грудь цыганки. А пухлые плечи и полные руки, лукавые глаза и смачные губы самой продавщицы лишь добавят страсти в этот заразительный танец. Не верьте ей – надует: всучит кость, обвесит и обсчитает, да еще пригласит почаще заходить к ней.

Советую вам пройти мимо и идти сразу в птичьи ряды.

На рынке в птичьем ряду птицу уважают. Птица совсем не то, что рыба. Рыба – она, что в реке, что в океане, одна и та же – пресная. Слабый посол, средний посол, сильный посол – посол и посол, хоть наш, хоть турецкий – дядька с гербом и флагом. Скажешь ему: посол! Он и посол, и посол, и посол! Оно и мужик: хоть просоленный контрактник, хоть засахаренный депутат – как только, так сразу в сон.

Когда рыбу режешь, можно сказать: это мясо рыбы; но когда режешь птицу, никак не скажешь: это рыба мяса. Отсюда сразу видно: птице уважения больше. Опять же о депутате – кто он такой? Так себе: хоть правый он, хоть левый, хоть по центру – причинное место одно, а забот много. Ни рыба, ни мясо, лягушачье филе. А контрактник – хоть и железо, да один ствол без приклада.

Исходя из этих и еще ряда соображений, Настя совершен-

но разочаровалась в мужчинах-полковниках и мужчинах-политиках, которым в последние пять лет неоднократно отдавала вместе с голосом и душу, и стала торговать не в рыбных рядах, а в куриных. Хоть курица и не птица, но и не рыба. Оно и баба не человек, а присмотришься – лучше мужика. В рыбе какая-то ледяная бессмыслица. От нее без ума разве что японцы с эстонцами. Курица же бедрышками и головой очень напоминает женщину, а повадками и лапами мужчину. А попкой подходит обоим. Цыпленок же табака – точная половинка российского герба. А два цыпленка табака – уже целый российский гербарий. В конце концов, у курицы есть, хоть и куриное, четырехкамерное сердце, а у рыбы – что ни вытащишь из брюха – одни кишки с пузырем да жабры. У рыбы, наверное, сердце там же, где у человека душа. У кого в пятках, а у кого к резинке трусов привязана.

Именно этот день был первым рабочим днем Насти в птичьих рядах центрального рынка, и именно в этот день ей удалось сразу продать три ящика куриных шей. Вот это подарок к празднику! А до этого Настя уже несколько раз работала продавщицей птицы – то на районных базарчиках, то в специальных павильонах от мясокомбината. И нигде не удавалось прочно зацепиться: то «фирма» лопнет или конкуренты сожрут, то сама Настя просчитается – оно, весной и летом деньги слипаются, а зимой и осенью пальцы на морозе не гнутся, то «шеф» пьяным средь бела дня под юбку лезет.

Центральный рынок – это крутое повышение в карьере. Прилавки – чем хуже кафедры? Академия своего рода. После смерти мужа ей вообще не хотелось работать. А когда стали определять, куда направить Сергея – в тюрьму или клинику – она вдруг запила. Запила, запила, потом опомнилась, уволилась из института, где ее доцентских денег было хрен да маленько, не хватит даже на лекарства Сергею, и подалась в птицеторговлю, чтобы хоть как-то помочь сыну. Никого ей не хотелось видеть: ни коллег, ни беззаботных студентов. А тут – безучастные лица, липкие деньги. Поторгуешь, не думая ни о чем, вечером придешь домой, отмоешься от них под горячим душем, и на душе чуть-чуть посветлеет.

Так, кто там? Мужик с огромным рюкзаком ползет вдоль птичьего ряда. Похож на «дальнобойщика». «Дальнобойщики» – парни рискованные и при деньгах. И запах от них – не просто пот, а еще и запах дальних стран и запредельных территорий. Какая никакая, а тайна, без которой и мужик не мужик, а копилка недоразумений. А тошно станет от тайн – пошлешь его куда подальше – он и покатит себе.

Настя не стала подзывать мужчину подобно девяти процентам рыночных торговки, а улыбнулась издали, как родному, и ласково шепнула что-то: угадай, мол, что. Мужчина приостановился, угадывая.

– Еще живая! – пронзительно закричала Настя, то ли подражая, то ли пародируя продавщиц рыбы по ту сторону забора. – Самая свежая птица на базаре!

– Кончай базар! – вздрогнула от ее крика соседка справа. – Не пугай клиентов!

– Неужели живая? – клюнул мужик с рюкзаком.

– Живее всех живых! Смотри! – Настя подняла безжизненную голову жертвы куриного геноцида. Прежде чем купить, принято полюбоваться тушками, доставленными на прилавок прямиком из поры куриного девичества. Белым тельцам с желтыми выпуклостями и синими впадинами была присуща некоторая манерность, как у Лукаса Кранаха Старшего. И от них исходил легкий запах всеобщего разложения, начавшегося в Средневековье. Покрытые пленкой глаза когда-то были прекрасны, клюв слегка приоткрыт, но никак не более недели назад, цвет «лица» хоть и синюшный, но с красивым отливом оранжевого. Веселая головка!

– О, смотри, жиру сколько! Навар будет! Две? Три штуки?

– Четыре.

– Так, следующий! – разочаровалась Настя: шутник нашелся! – Не загораживайте, гражданин! В ваш рюкзак, пройдите в говяжьих ряды, целый задок влезет. А тут деликатес! Тут пупки и сердца! Может, разбитые навеки!

– Но я действительно хочу взять четыре ящика куриных шеек. Шейки – по пятнадцать?

– Четыре ящика? Куда вам столько?

– У меня две лайки. Обожают шейки. В морозилку брошу, до мая хватит. Самый дешевый продукт на сегодня. Баранки вон в два раза дороже! И самое лучшее угощение: дал по шее

– сразу и успокоились!

– По шее? Хорошее угощение, – Настя засуетилась. – Ой! У меня, может, и не будет столько! Маша, одолжи пару ящиков шей, завтра верну.

– А пусть покупатель у меня возьмет! – стала вбивать клин Маша и тарашить бесстыжие глаза. «Бери и меня!» – мог прочитать в них любой грамотный мужик.

Настя перевела напряженный взгляд с Маши на гражданина с рюкзаком и улыбнулась ему как можно шире. Гражданин улыбнулся ответно и широко.

– Нет-нет! – сказал он Маше. – Я с ней первой договорился.

– А, ну тогда она вас и отоварит. Настя, где шеи брать будешь?

Такой подлости даже от конкурентки Настя не ожидала.

– Пол-ящика – твои.

– Ящик.

– Черт с тобой!

– Конкуренция! – воскликнул покупатель. – Частная инициатива!

– Да! Конкуренция! – воскликнули Настя с Марией, с неприязнью глядя друг на друга.

– А как вы понесете? – озаботилась Настя.

– Очень просто: у меня вот тут колесики выдвигаются. Покачу.

– Если вам тяжело все сразу увезти, два ящика оставьте у

меня. Я все равно буду до вечера.

– Хорошо, – охотно согласился мужчина. – Мне это все-ма кстати. Когда вы уходите?

– Для верности приходите часов в пять. А то потом у меня свои дела. Вы, случаем, не «дальнобойщик»?

– Он самый. Как догадались?

– По запаху.

– Ну, значит, около пяти?

Подошел Гасан.

– Хозяин зовет.

– Чего надо? – хмуро спросила Настя.

– Чего надо, там узнаешь. С праздником хочет поздравить.

– Как выручка? – спросил «хозяин». – Новенькая? Садись! – похлопал рядом с собой. Налил полстакана водки, подвинул тарелку с беляшами.

– Вегетарианка я.

– Чего? – не понял «хозяин». – Это такое половое извращение, да? – он положил Насте на плечо руку. Настя скинула ее.

– Ты что? Ты что! – возмутился «хозяин». – Шутку не понимаешь, да?

– Шутку понимаю. Я не Машка. Ее лапай, да? – Настя взяла беляш. – Не жалко? Подарок к женскому дню. Песика угощу.

На улице подошел Гасан. Вздохнул с дружеской улыбкой.

– Резать будем. Лицо портить будем. Жалко. Праздник все-таки.

Настя достала беляш и воткнула в открытый улыбкой рот Гасана, а потом коленом ударила его в пах. Тот скрючился, вылупив глаза и зажав зубами беляш, а Настя сказала:

– Еще подойдешь, вообще яйца отрежу. Жалко, да? В праздник – без яиц?

– Ну, как? – с вызовом спросила Мария.

– Что как? Раз так, два так, будет пятак. Вот так.

Настя с ненавистью посмотрела на ящики с куриными останками.

– Вот шейки, – издеваясь над самой собой, заговорила она, – тут пупочки, тут лапки, бедрашки, печень, головы, сердца... Это ж какую голову надо иметь, чтобы купить все это, какое сердце, чтобы сожрать, какую печень, чтобы переварить, и какие лапки, чтобы унести отсюда ноги?..

– Ты чего это? – Мария с удивлением глядела на нее. – Гасан обидел? Или «сам»? На сигарету.

– Давай. Спасибо.

– Они, сволочи, даром ничего не делают – всё через постель!

Без десяти пять, когда сумерки опустились на рынок и люди почти разошлись к накрытым столам, подошел «дальнобойщик». Стал с прибаутками загружать шеи в рюкзак. Тут же появился Гасан с двумя сподвижниками.

– Отойди, мужик. У нас разговор по душам с этой жен-

щиной, – Гасан бесцеремонно, даже не глядя на «дальнобойщика», оттеснил его от прилавка. «Дальнобойщик» поднял свой огромный рюкзак и опустил на голову Гасана. Тот молча свалился на землю.

– Упал! – удивился «дальнобойщик» и поглядел на спутников Гасана.

Один из них заскочил ему за спину и ударил в бок ножом.

– Ах ты!.. – «дальнобойщик» поднял рюкзак, но в это время в него второй раз вошел нож...

Завизжали женщины.

– Куда смотрит милиция? – воскликнул простодушный голос.

Настя схватила весы и обрушила их на голову того, кто был с ножом. Тот рухнул на землю, забрызгав кровью прилавок. К прилавку от павильона бежали люди «хозяина». Тут подлетел «БМВ», резко затормозил, и из него, матерясь, вылез огромный мужчина в длинном черном плаще. Поглядел на итоги битвы, на подбегающий резерв, поднял вверх руку. Люди «хозяина» остановились. Насте мужик показался знакомым. Ну и мяса в нем – гора горой. Никак Гора? На свободе, значит.

– Ну, чего тут? – гора мяса подошла к прилавку. – Чей лоток?

– Иван!

Гора посмотрел на Настю и не удивился.

– Ты? Знал, что наши дорожки пересекутся. Ты заводила?

Или этот? – Гора указал на сидящего у стены «дальнобойщика». Тот зажимал рукой бок.

– Он, – указала Настя на отползшего от прилавка Гасана.

Гора поманил людей «хозяина». Указал на Гасана.

– Он тут лишний. Позовите-ка Гошу. Этого увезите в больницу, – ткнул толстым пальцем в «дальнобойщика».

Гасана увели в «кабинет», его дружка с разбитой головой потащили туда же. «Дальнобойщика» посадили в «Жигули» и увезли. Торопливо притрусил «хозяин». Гора кивнул ему на автомобиль. «Хозяин» скользнул в дверцу. Следом с трудом забрался Иван. Машина просела. Дверца захлопнулась. Машина отъехала к воротам и остановилась. Потом развернулась и выпустила Гору и «хозяина». «Хозяин» стал быстро и зло говорить о чем-то своим людям, резко кивая на Настю и на Гору, потом ушел.

– Баста, Настя. Проблему закрыли!

– Что ты ему сказал?

– Гоше? Я ему сказал: если ты проблема, тебя решают. Вот что я сказал ему. Много не люблю говорить. Работай, Настя. Ни одна сволочь, даже такая, как я, – не тронет тебя!

Там, где все многообразие человеческих лиц сводится к двум дуракам, из которых один покупает, а другой продает, где вся роскошь человеческого общения да и вообще вся человеческая жизнь запечатлена, как на могильном камне, надписью «купился – продан», где встречные потоки денег и товаров выкручивают человека, как мокрую тряпку, – там

человеческое слово, вовремя сказанное, дорогого стоит.

А когда все слова были сказаны, Настя взяла ящик и с такой бешеной силой бросила его на землю, что куриные сердца разлетелись во все стороны, как от взрыва. Две бабки до темна ползали по рядам, но смогли отыскать всего несколько кусков.

20. Захомутали

Гурьянов почувствовал зверский голод и свернул в первую попавшуюся столовку.

Давненько он не заглядывал сюда. По молодости, помнится, хороши тут были люля-кебаб. Упругие, сочные. По прошествии стольких лет – скольких же, рассеянно размышлял Гурьянов – здесь многое должно измениться. С Женькой любили сидеть вон там.

Очередь была минут на десять. Впереди Гурьянова три женщины плотного телосложения, несовместимого с умственным трудом, обсуждали, судя по всему, размеры мужских рубашек.

– Шею должен облегать, но не очень плотно. Чтоб проходили два пальца, – крепкая женская рука показала, как именно должны проходить два пальца.

Надо же, сколько заботы о мужике, подумал Гурьянов. Рубашку купи, да еще чтоб шею не жала.

– А если убежит? – спросила та, что помоложе.

Конечно, убежит, подумал Гурьянов. Мужик на то и создан, чтоб убежать. Уж меня-то не захомутаешь!

– Не убежит! – вздернулась крепкая рука. – Главное, чтобы ошейник прочный был и цепочка, лучше металлическая.

От долгого воровства у работников столовой, похоже, стали образовываться фобии. Кассирша, например, явно боя-

лась остаться внакладе и, глядя на поднос, уточняла у каждого посетителя: у вас два компота или один, хотя прекрасно видела, что компот один; у вас кефир или сметана, хотя еще четверть века назад этот вопрос потерял всякий смысл; у вас две лапши или одна, хотя кто бы это взял две лапши, когда и одной было достаточно, чтобы подавиться, а остаток приклеить к ушам комиссии рабочего контроля, проверяющей через «задний проход» качество блюд.

Широкая, как плита, и такая же жаркая, раздатчица в любом своем сечении была равновеликой фигурой. От подошв до головы. Когда она с достоинством несла свое тело между плитой и раздачей, казалось – шествует Екатерина Великая. Тарелка, даже глубокая, в ее руке выглядела как блюдце, и не как санфаянс, а покрытый глазурью мейсенский фарфор. Она не только величественно, но и долго несла свое тело, так что забежавшему перекусить за один ее проход можно было и проголодаться. Если бы ее взяли центрфорвардом футбольного клуба, скажем, такого, как «Милан», она безусловно была бы центром внимания болельщиков: на ней отдыхал бы глаз и умиротворенно гасли безудержные итальянские страсти. Она была даже чем-то симпатична.

Гурьянов с поклоном принял второе блюдо из ее рук. Он отметил расширившиеся глаза раздатчицы, взглянувшей на него. Словно бы в них мелькнула некая мысль, давно не залетавшая туда.

Гурьянов без особого аппетита отобедал гуляшом с пер-

ловкой (люля-кебаб исчезли в прошлом вместе с сочностью и упругостью готовящих их поварих) и лениво допивал безвкусный компот. Ему не хотелось вставать. Он рассеянно смотрел на очередь, в которой никогда больше не будет Суэтина. И словно ничего не изменилось. Не изменилась плотность очереди, и среднее количество ее членов наверняка осталось прежним. Что-то Женя говорил про очередь, про какую-то волновую функцию... Где та волна, что унесла его? С точки зрения всеобщего спокойствия это было разумно, что в очереди ничего не изменилось, но это был не человеческий разум, это было нечто непонятное ему. Если бы каждый задумался, куда девается огромный храм, что в душе каждого, когда душа излетает из тела, и куда делся храм, что был в душе Суэтина, этот храм, может быть, и стал бы на это мгновение видимый всем, притянутый множеством одной и той же мысли. Гурьянову показалось, что он видит очертания этого храма. Ему послышался вдруг голос друга. Гурьянов вздрогнул.

Со скрежетом проехал по полу стул, приподнялся в воздух и легко опустился на пол столик. Под большим телом в белом халате застонал стул. Гурьянов вернулся к реальности. Перед своими глазами он увидел женские глаза, налитые лаской.

– Что же ты, Лешенька, не обращаешь на меня никакого должного внимания? Где пропадал столько лет? – спрашивала раздатчица, загородив собой зал и заняв сразу две тре-

ти обзора.

Улисс-Гурьянов вспомнил этот голос. Нет, это была не сирена, но точно одна из ее правнучек. Голос, густой и напитанный калориями, принадлежал (не может быть – впрочем, может) некогда юной выпускнице кулинарного техникума, смешливой и жизнерадостной. Помнится, у нее был перспективный план развития на его счет, составленный, похоже, коллективным разумом общепита, вовремя, по счастью, вспугнувший его. Тогда он с явным сожалением сказал Суэтину: «Прощай, общепит! Ты три месяца давал пищу моему уму. Подаюсь на вольные хлеба». «Вольному воля, спасенному рай», – напутствовал его Суэтин.

– Катенька, девушка моя! – фальшиво обрадовался Гурьянов.

– Вообще-то я Нина, – с неизбывной лаской в очах, но слегка дрогнувшим от обиды голосом, произнесла бывшая в неоднократном употреблении девушка.

– Пардон, не признал, – смешался поэт.

– Зато я признала тебя, – успокоила его Нина. – За тобой не угнаться.

«Особенно с твоей комплекцией, – подумал Гурьянов. – Нина, что за Нина? Хоть убей, не помню».

– Тебе нравилась моя грудь, – распрямилась Нина, глаза ее заблестели. – Ты называл ее «моя пажить». Помнишь, ты, как артист, любил спрашивать: «Позвольте пастушку склонить голову на эту пажить?» А я говорила: «Позволяю», а

твою пастушью дудочку называла, ой, вспомнила, «мой барашек». Помнишь? Да ты и весь кучерявенький такой был! Как твои стишки – пишешь всё? Про эту, как ее, порнографию?

– Эротику, Нина, эротику.

Гурьянов понял, что пропал. Как он мог забыть Нину, от которой пришлось удирать не просто из данного ареала питания, а вообще на деревню к дедушке! Ведь его, несмотря на все его «нет», уже доставили к загсу, как коня в стойло, где уже был готов и корм, и подстилка, оставалось проржать «да» и ударить копытцем, ставя закорюки под залогом грядущего счастья. На счастье, Гурьянову скрутило желудок, а в туалете было окошко, через которое, как в детективе, пришлось удирать к неомраченному предстоящей свадьбой будущему. От будущего, собственно, оставалось всего ничего, так, маленькая шкурка от барашка, что бросят возле постели на пол. Все равно не удрал, подумал Гурьянов. От судьбы не удерешь. И он с удивлением понял, что в принципе, если его сейчас так же поведут под венец, он не будет шибко брыкаться, а воспримет как должное. И потом – такие пажити! Уйдешь на посевную, до уборочной не воротишься!

– Нина, Ниночка, – почти искренне обрадовался он. – Это пелена, пелена спала с моих глаз. Конечно же, это ты! Ну, как ты, родная?

– Да вот видишь, не жалею, – еще шире распрямила Нина грудь. – А ты, гляжу, сублиней стал, съежился манехо.

Волосенки пообтрепались, глазенки не так блестят.

– Да, есть такое, – вынужден был признать Гурьянов. – Призора должного не было, вот и пообтрепался.

– Что же убежал тогда от призора? Как беспризорник. Погляжу на тебя – и не поэт ты, а прям самый настоящий Макаренко. «Педагогическая поэма» – твоя многострадальная жизнь! Чего утек, малек? Был бы тебе, был, и призор, и догляд. И кушать подано, и постелька вот она. Что ж убежал тогда?

– Да вот как-то... – заелозил на жестком стуле Гурьянов. – Молодость, глупость, понимаешь...

– А я помню, помню твои слова, обращенные ко мне, не испарились они из моего сердца! «Позвольте возложить, мадам, на алтарь Купидона ваши бедра...» Мне никто не говорил так больше...

Гурьянов ужаснулся. Неужели он говорил это?

– Но бедра-то возлагали? – вырвалось у него.

21. Все мы живем на земле

Неужели Аглая Владиславовна? Не видел ее сто лет. Года два назад Гурьянов, конечно же, испытал бы страшный стыд при встрече с нею – ведь он после смерти матери виделся с ней всего несколько раз. Но сейчас он лишь вздрогнул, когда она посмотрела на него. Старушка явно не узнала его. Никто меня больше не узнает, даже она, с болью подумал Гурьянов. Постарела как... Что она делает тут? Неужели просит милостыню? О, Господи!

Гурьянов вытащил портмоне, изучил его содержимое и подошел к парню, торгующему лотерейными билетами.

Аглая Владиславовна смахнула тем временем с камня мусор, вынула из сумки картонку, пачку старых газет, соорудила из них на высокой ступеньке гранита нищенский свой трон и расположилась на нем, как августейшая особа.

«Господи, дай мне с душевным спокойствием...»

Открыла заветную тетрабочку и стала читать, шевеля губами. Слипшиися страницы, потерявшие белизну и упругость, исписанные ею еще четверть века назад, когда век ее золотой уже пошел к закату, обветшавшие страницы уже и не читались. Но она по привычке читала. Читала, точно так же, как по привычке жила потерявшую белизну и упругость жизнь.

«...встретить все, что даст мне сей день».

Чернила выцвели, бумага истончилась и обтрепалась скорее не от ежедневного соприкосновения с пальцами и глазами Аглаи Владиславовны, а от воздействия ничего не щадящих безучастных мгновений времени. От них школьная тетрабочка в двадцать четыре листа скоро превратится в решето. Как папин шарфик, что носил он на шее... тут он, в этом кармашке, где ж ему еще быть?

Подошел крупный мужчина с изможденным лицом. В глазах его страдание. Вроде видела где-то его, а приглядишься – вроде и нет. Бородка с усами вроде как шли ему, но он словно занавесился ими. За ними не угадывалась душа. Да мало ли их, лиц этих, за жизнь промелькнуло! Поздоровался. Лицо как будто знакомое. Светлое. Сейчас и лица-то у всех почернели – то ли бомжи с мороза, то ли из Африки народ.

– Здравствуйте, – ответила Аглая Владиславовна.

Мужчина топтался на месте. Она отложила тетрабочку и спросила у мужчины, не забыл ли он чего здесь.

– Нет, – ответил тот, смутился и отошел, оглянувшись.

Она снова взяла тетрабочку. Мужчина не уходил. Он снова направился к ней.

– Извините, – сказал он. – Простите мою настойчивость и бестактность. Вы ведь Аглая Владиславовна?

Она вгляделась в его лицо. Усы, бородка. Глаза. Что-то знакомое в глазах, но это знакомое где-то вдали, не разглядеть уже. Вроде видела где-то. А вот голос точно слышала. Сколько их прошло в ее учительской практике! А сколько

прошло здесь, многие туда-сюда каждый день ходят...

– Вы журналист? – спросила она, лишь бы спросить что-нибудь. Хотя могла и не спрашивать. Он был первый, с кем она в этот год заговорила. Ей было трудно произносить слова, они слежались внутри нее, как пласты земли.

– Нет, я не журналист, – ответил мужчина и снял шапку.

Аглае Владиславовне это понравилось. Перед нею никто не снимал шапку уже, наверное, лет двадцать. Да и она не сняла свою ни перед кем. «Молодец, не сует пятаки, – подумала она. – Значит, в его глазах я еще ему какая никакая ровня».

– Откуда вы меня знаете? – спросила она.

– Я учился у вас.

– Вот как...

– Да, уж давненько. Лет сорок прошло. Много.

– Это много?

Мужчина сел рядом на ступеньку. Аглая Владиславовна невольно отодвинулась.

– Бог с вами, батюшка! Что это вы? Встаньте. Встаньте! Не надо опускаться на землю.

– Не желаете ли приобрести лотерейный билетик? – наклонился над ними некто в берете. – Исключительно на счастье. Остался всего один. Непременно счастливый.

– Какой же он тогда лотерейный? – мужчина встал со ступеньки. – Впрочем, давайте. Если выиграю – выигрыш этой дамы. А проигрыш – он всегда мой.

– Поздравляю вас, мадам! – сказал берет, глядя мужчине через плечо. – Ваш выигрыш пятьсот рублей. Получите.

– Берите, Аглая Владиславовна, они ваши, – мужчина протянул ей деньги и незаметно махнул беретом, чтобы тот ушел.

– Что вы! Что вы! – испуганно замахала та руками. – Бросьте! Оставьте их себе.

– Ни за что! – сказал мужчина.

– Такого не бывает. Такого в принципе не должно было случиться. В лотерею я вообще не верила никогда.

– А зачем верить в нее? Дело случая.

– Вот оттого и не верила. Меня в том году приглашала к себе одна знакомая. Дом хороший у нее, а в нем пахло отчаянием. Можете себе представить это?

– Нет.

– Я тоже не могла. Пока не увидела это своими глазами. Она взгляделась в мужчину.

– Нет, не могу припомнить. Вот так, вроде, знаю вас, а так – нет.

Гурьянов вздохнул, расстегнул шубу. Не узнает, старушка, меня, не узнает, подумал он. И неожиданно для себя улыбнулся.

– Ой! – вдруг встрепенулась Аглая Владиславовна. – Леша! Не узнала. Не видят глаза ничего. Голос у тебя особенный, а все равно не узнала. Прости. Главное, много думала о тебе. Но не думала, что увижу вот так. Как ты, все бобылем?

– Женился, Аглая Владиславовна.

– Женился! Счастлив?

– А как же! Знакомая ваша, что приглашала к себе, кто это? У кого дом хороший, а пахнет отчаянием?

– Да ты знаешь ее: Настя Анненкова. Суэтина, то есть.

Старушка пожевала беззубым ртом, подумала и произнесла:

– Лешенька, у меня ведь к тебе разговор есть. Его уже и откладывать нельзя. Хорошо, что мы встретились. Не обессудь, если что не так. Твоя мама... Нина Васильевна была несчастный, оттого тонкий человек. Царствие ей небесное! За три дня до кончины она мне рассказала кое-что...

Аглая Владиславовна, словно колеблясь, взглянула на Гурьянова. Тот терпеливо слушал.

– Она просила передать это только тебе одному. Собственно, это только тебя одного и касается. Передать тогда, когда мне уже самой настанет пора идти к ней.

22. Передача

– Настя!

Настя оглянулась и увидела взлохмаченного изможденно-го мужчину.

– Что вам угодно? – раздраженно спросила она.

– Ты что, не узнаешь меня?

– Алексей, где твоя борода? Ты что такой... взлохмаченный, бледный?

– Болел я...

– Пил, наверное?

– Не без этого, – усмехнулся Гурьянов. – «Что за болезнь, когда выпить нельзя» – помнишь, Толя любил говорить?

Настя взглянула Алексею в глаза и увидела в них боль. Она отвела взгляд.

– Женился я, Настя, представляешь?

– Поздравляю. Что-то незаметно по тебе. Опух вон весь.

– Это я, Настя, опух от счастья.

– Знаю ее?

– Вряд ли. Я ее прятал от всех.

– Красавица, наверное?

– Да! – встрепенулся Гурьянов. – Перебирал как-то отцовы бумажки и нашел вот это... – он достал из внутреннего кармана свернутую пополам ученическую тетрадь. – Очень любопытные записки. Я бы сказал, высокохудожественная

проза. Все под своими именами. Прочти-прочти, не пожалеешь. Там немного. В бате пропал незаурядный талант. В самом конце увидишь. Вначале всякая дребедень...

– Тебе самому-то тетрадь не нужна? Как память об отце?

– Память и так со мной.

Настя недоверчиво и, как показалось Гурьянову, брезгливо стала переворачивать мягкие от времени страницы.

– Как ноги? – спросила она.

– Болят. Болят, точно душа на них ходит с костылями.

– Контрастные процедуры помогают.

– Ладно, Настя, прощай... Ты куда? – спросил Гурьянов.

– К Сергею, – ответила Настя. – Сегодня у меня встреча с ним.

«Где?» – хотел спросить Гурьянов (он не знал, закончился ли суд), но у него не повернулся язык.

– Привет ему.

– Спасибо, передам. А ты куда? – безучастно спросила Настя, укладывая тетрадку в сумочку.

– Я? – спросил Алексей. – Сам не знаю, куда. Я там не был еще... К ним.

– К ним? К кому это?

– К родителям нашим.

Настя долго смотрела Гурьянову вслед. У нее сдавило сердце и не хватило сил окликнуть Алексея. Она вдруг осознала, что из огромной прошлой жизни, в которой было столько всего, остались только они с Алексеем. Он шел, тя-

жело ступая и глядя себе под ноги. На углу сидел нищий с кепкой на земле. Гурьянов остановился возле него и вывернул все свои карманы. Сложив все, что было в них, в кепку, он завернул за угол и исчез...

Подошел трамвай. Настя села на одиночное сиденье и нашла в тетрадке то место, о котором говорил Алексей. Собственно, оно само развернулось перед ней. Видимо, Гурьянов часто раскрывал тетрадь в этом месте. Странно, слева чернила выцвели совсем, а справа, похоже, еще и не просохли. И почерк другой...

«Как там Сережа?» – подумала Настя и углубилась в чтение.

«Николай Федорович, как всегда, был на своих «художествах». После работы он сразу шел на очередной «сеанс». Там рисовал, ужинал и прочее. Приходил часам к одиннадцати, а то и вовсе застревал до утра. Нина Васильевна давно привыкла к этому темпу жизни. Собственно, с третьего или четвертого месяца ее замужества. Поначалу, вроде, и хорошо все шло... Если бы не тот проклятый день, когда он уговорил ее сделать аборт! Рано, мол, нам еще детьми обзаводиться (как будто дети – обстановка!), давай-ка комнату сперва получим. Сделала, и комнату тут же в общежитии дали. Но в хорамах этих не звучать уже никогда детским голосам. Никогда... А ему и все равно. У него, видите ли, другие цели и задачи. Зачем замуж потянул тогда, женился бы

на своем предназначении? Ни детей, ни семьи толком, и ее выжег всю. Ударился в живопись, а заодно и во все тяжкие. Впрочем, от его тяжелых самой как-то легче стало. Не так совесть мучит и сердце болит. Идет и идет все само собой. Куда-то вдаль, где обещают всеобщее счастье. А он приходит, как в ночлежку. И то не каждый день. Хорошо, не бранится и не бьет. А то женской нашей доле и этого хорошо перепадает. Вот так раздастся однажды стук в дверь, зайдет, скинет пристальным художническим своим взглядом наше гнездышко, заберет чемодан и – поминай как звали! Кукуй и сопли размазывай.

Раздался стук в дверь. Нина Васильевна вздохнула и пошла отворять ворота ненаглядному.

На пороге стояла черноглазая молодая женщина с младенцем на руках. Глаза ее, как показалось Нине Васильевне, загорелись при виде убогости обстановки.

– Здравствуйте, – сказала она. – Николая Федоровича, значит, нет?

– Как видите.

– Мне он, собственно, и не нужен. Я кое-что занесла ему. Забыл.

– Давайте, я передам.

– Да, передайте, пожалуйста, – женщина вложила ребенка в руки остолбеневшей Нине Васильевне и вышла.

В дверях она столкнулась с Николаем Федоровичем. Тот отшатнулся, так решительно она шагнула прямо на него.

– Там передача вам, Николай Федорович.

Гурьянов взглянул на жену с младенцем в руках и победил за черноокой.

– Анна! Анна! Да постой ты!

Слышны были удаляющиеся голоса. Николай Федорович в чем-то убеждал незнакомку, восклицавшую: «Нет! нет! нет!» Казалось, бархат кромсают тяжелым ножом. Через несколько минут Гурьянов вернулся. Взбешенный, но и подавленный. Нина Васильевна видела его таким впервые. Она все еще стояла столбом посреди комнаты.

– Ну что застыла? – бросил зло Гурьянов. – Эта, – он кивнул головой назад, – давно тут? Нагородила, небось, с три короба!

– Она даже и не зашла.

– Ребеночек сам прилетел? Дай-кось взглянуть на дитятко...

Гурьянов подошел к Нине Васильевне, приоткрыл личико ребенку.

– Девочка? – с неожиданной надеждой спросил он. – Хотя...

– Не там смотришь.

– Знаю, не маленький.

– Да уж вырос, поди!

– Ой, Нина! Ну что ты дуешься? Дуется, дуется, как мышь на крупу! И так тошно!

– Это же я тебе настроение испортила, – Нина Васильевна

протянула ребенка Гурьянову. – Бери. Твой, чай.

– Чай-чай! Мой, чей же еще? Не твой же!

Нина Васильевна заплакала, упала на прибранную кровать и уткнулась лицом в подушку.

Гурьянов походил кругами, переводя взгляд с ребенка на вздрагивающую спину жены. Ребенок заплакал. Гурьянов растерянно глядел на живой сверток, который еще час назад не имел к нему никакого отношения.

– Нина, прости. Прости, ради бога! Не хотел я тебя обижать.

– Да не обижаюсь я, – всхлипнула Нина Васильевна. – Ни на кого я не обижаюсь. Долго будешь так стоять? Ребенок-то, наверное, мокрый? Так и есть. Мальчик, – почему-то обрадовалась она. – Лешенька.

– Что, Лешенька? – вздрогнул Гурьянов.

– Будет он у нас Алексеем, – категорически заявила Нина Васильевна и сама удивилась собственной решительности. Гурьянов удивленно глядел на жену. Ну и ну, женщины такой странный народ! – Алексеем Николаевичем! – для убедительности раза три произнесла Нина Васильевна. – Хорошо звучит. Великое будущее за ним! Зодчим будет или... архитектором!

Гурьянов присосался к чайнику и выпил, не отрываясь, не меньше литра воды.

– Ребенок теперь моя забота, – сказала Нина Васильевна. – А вы, папаша, оформите, не мешкая, полагающиеся до-

кументы на него.

– Как?

– А это уж я не знаю, как. Сумел одно, сумеи и другое. Не хитра наука!

Нина Васильевна никак не предполагала в себе не то что материнских чувств к чужому ребенку, а даже маломальских чувств к розовому комочку мяса, ежеминутно требующего к себе любви и заботы. Муж ей был в эти дни омерзителен и гадок, а женщина, о которой она думать не хотела, но думала, – мамаша, бросившая сына с порога в чужие руки, – вообще ужасала ее.

Гурьянов все вечера проводил дома. Неужели отказался от «художеств»?

– Что, вдохновение покинуло? – хоть раз в день спрашивала она. Уж очень он допек ее годом супружества.

Гурьянов отмалчивался, но через пару недель, похоже, стал тяготиться воспитанием подрастающего поколения и, сначала робко, а потом решительнее прежнего, продолжил прервавшуюся так неожиданно творческую жизнь. Творческую натуру, увы, не переделать. Особенно, если это мужчина полный замыслов и вдохновения. Деньги, правда, от своих заработков он все приносил домой. А улады по части плоти и брюха потреблял, не делясь с женой, на всех своих живописных местах.

– Я так благодарен тебе, Нина! – говорил он в редкие минуты отдыха от напряженной творческой работы. – Ты так

заботишься о нашем сыне!

Документы, впрочем, он оформил на Алексея Николаевича Гурьянова, не мешкая. Глядишь, правда, зодчим станет. Или «архитектором»!

Нет, у Инессы такой тонкий ум при всем таком прочем! Между прочим.

Чтоб культурней стать, чем Филдинг, занимайся бодибилдинг!»

«Это же почерк Алексея. Найденыш, – пронзило ее воспоминание, – Найденыш, между прочим. Я так и знала, я подозревала это!»

Мимо скользнула вывеска «Ломбард».

«Эх, мама! Эх, папа! Что же вы наделали с нами и сами с собой?! Как будто и не дети мы ваши, а вещи, которые вы сдали друг другу на время в ломбард! И вместо одной семьи... четыре обмылка!»

В окне трамвая, как черно-белое кино, тряслась и тархтела жизнь. И там не было ни отца, ни мамы, ни мужа, ни Дерюгина... Там же скрылся и брат за углом. Что, и он – к ним?..

Трамвай вынесло на площадь, заставленную лавками и столами. В стороне стояли «ПАЗики», «Газели», несколько грузовиков. Ветер трепал транспарант «Осенняя ярмарка». Под ним тянулся ряд металлических столов, заставленных лотками и пакетами с птицей. На плакате нарисован зем-

ной шар – в виде яйца, которое снес не способный нести яйца бройлер. Прав был Женя: человечество превратилось в бройлера! И теперь бройлер породит новое человечество.

Сергей лежал в палате психиатрической больницы, закинув руки за голову, и старался не думать о том двойнике, которого встретил в собственной тьме. Каким бешенством горели его глаза!..

Всегда резкий и сильный, он ощущал себя мешком ваты. Может, лучше были бы решетки на окнах, чем пригоршни лекарств и вон те березки, под которыми зачем-то сгребают листву. Адвокат поработал на совесть. На чью?

Кто же ответит, почему он оказался здесь? Почему не на кафедре, с которой заклинаниями можно материю возвысить до духа? Почему не у доски, на которой можно написать систему уравнений жизни и формулу смерти отца? Неужели попасть туда можно только перепрыгнув пропасть? Пропасть, которая поглотила отца? Пропасть, которую он, отец, сам и создал?.. Неужели я не найду в себе сил, чтобы перепрыгнуть ее? Чтобы доделать то, что он малодушно свалил на меня? Чтобы успеть сделать то, что предназначено сделать только мне?..

Сейчас должна прийти мама... Он попытался вспомнить ее лицо – тщетно. Вновь вспомнил отца. Повернулся лицом вниз и сильно, как от яркого света, зажмурил глаза. Ему очень хотелось увидеть отца. Просто увидеть. Со стороны.

Не разговаривать. Пусть бы прошел он среди березок, поднял голову и сквозь решетки моей души увидел бы меня...

Человек, который уходит навсегда, уходит навсегда из этого времени, в котором я, но он существует в другом времени, не совпадающим с моим. В конце концов, он вечно пребывает в своей последней секунде. Конечно, трудно направить свое безумно несущееся время к огромной равнине, в которую разлилась та секунда на неведомой над уровнем моря высоте. Но кто ж его знает, может, и моя последняя секунда разольется на той же высоте? Наши отметки совпадут, под нами будет бездна, и над нами будет бездна, и наша долина будет самой большой и самой прекрасной долиной земли? А дальше – пропасть.

2001 г.